

ВЫШШГОРОД

3-4'2009

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ОБЩЕСТВЕННО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ



Издается с марта 1994
Выходит 6 раз в год

ТАЛЛИНН • ЭСТОНИЯ
2009

ЖУРНАЛ

ИЗДАЕТСЯ
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

**МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ
ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

ФОНДА KULTUURKAPITAL



Ирина БЕЛОБРОВЦЕВА • Майму БЕРГ
Арво ВАЛТОН • Тийу ВАЛЬМ
Рейн ВЕЙДЕМАНН • Лариса ВОЛЬПЕРТ
Людмила ГАНС • Екатерина ГЕНИЕВА
Лола ЗВОНАРЕВА • Тээт КАЛЛАС
Любовь КИСЕЛЕВА • Михаил ЛОТМАН
Александр МЕЛИХОВ • Юхан СИЛЛАСТЕ
• Юло ТУУЛИК •

Благодарим за помощь при выпуске этого номера
Посольство Литовской Республики в Эстонии,
а также Татьяну Ясинскую (Вильнюс)

©
Журнал «Вышгород» № 3-4, 2009

©
Оформление В. Станишевского

©
Компьютерная графика О. Костанди

©
Название журнала - «Вышгород» - Ю. Зотова



слышу про что молчите
вы голословные многословные

Юстинас Марцинкявичюс
С. 7

Это было свойственно едва ли не всей России - сталинский и послесталинский режимы сорвали в ней с мест миллионы людей, искалечили их судьбы, невзирая на все патриотические заклинания, искажали и замалчивали прошлое.

Томас Венцлова
С. 204

“Человека можно искалечить, - вспоминается. - Его можно убить, но искусство все перетерпит и все победит”.

Даля Кыйв
С. 190





ЮОЗАС
БЕРНАТОНИС
БРАТЯ
ПО СУДЬБЕ

Уважаемый читатель!

С большой радостью я открываю этот номер журнала “Вышгород”, который посвящается знакомству с литовской литературой. Характерно, что он выходит в свет в очень важный год для литовского народа.

В этом году вся Литва празднует свое тысячелетие.

В 1009 году в Анналах германского города Кведлинбург описаны события на границе с Литвой. Тогда наши предки-язычники не пощадили святого Брунона, который нес в наши края католическую веру. Вот в каких трагических обстоятельствах впервые названа в исторических источниках Литва.

За это тысячелетие литовцы стали известны не только как превосходные земледельцы и отважные воины. Неотъемлемой частью развития нашего края была народная культура, а позднее и литература, и письменное слово.

Сегодня у Вас есть прекрасная возможность встретиться на страницах журнала “Вышгород” со знаменитыми мастерами современной литовской словесности.

Искренне надеюсь, что публикуемые здесь произведения заинтересуют многих читателей Эстонии.

Можно сказать, что эстонский и литовский народы - братья по своей судьбе. В истории XX века мы прошли похожий путь, одновременно переживая и радости, и невзгоды. Первая мировая война, обретение независимой Республики; Вторая мировая война, свыше пятидесяти лет оккупаций - многое выстрадали наши народы. Но мы всегда жили с надеждой и верой в достойное будущее, и эта вера восторжествовала.

В марте 1990 года Литва, а вслед за нею, в 1991-м, и Эстония, восстановили свою независимость, стали демократическими государствами. Свобода и справедливость победили. И все эти годы мы во всем поддерживали друг друга.

Юозас Бернатонис - Чрезвычайный и Полномочный посол Литовской Республики в Эстонии.

В этом году мы вместе отмечаем двадцатилетие уникального события - Балтийского пути. В преддверии открытых требований государственной независимости наши люди взяли за руки и образовали живую цепь - от Вильнюса до Риги и до Таллинна. Это было символической демонстрацией нашей дружбы и решимости законно считаться свободными гражданами демократической Европы. И сейчас мы продолжаем всесторонне поддерживать друг друга. Между нами расширяется экономическое и политическое сотрудничество. Мы часто согласовываем свои шаги на международной арене, помогаем друг другу защищать интересы наших государств.

Прекрасные отношения сложились и в сфере культуры, где происходит все более заметное и тесное общение. Я уверен, что мы всегда сумеем найти точки соприкосновения, взаимовыгодные для обеих сторон и взаимообогащающие обе страны своими традициями и современными достижениями.



ЮСТИНАС
МАРЦИНКЯВИЧЮС
**НОЧЬЮ,
ЗАСТИГНУТ
МОЛНИЕЙ**

ЭПИГРАММА

слышу про что молчите
вы голословные многословные

знаю чего не надо
вам переобременяющие

понимаю как нелегко
вам завидующие загребущие

но как же вы ловко складываетесь
и вкладываетесь

во внутренний карман пиджака

* * *

Небо предзакатное поспело,
озарилось где-то впереди
и пшеничным золотом истлело,
чтобы утром за спиной взойти.

ИЗБА

Стонешь окнами, дверью -
подслеповата, седа.
“Верю, - бормочешь, - верю,
а ты все реже сюда”.

Старенькая, своя,
смотришь, как в мутный омут:
как схоронить себя -
там, где чужие не тронут?

Юстинас Марцинкявичюс, может быть, самый популярный из нынешних литовских поэтов старшего поколения. Это - стихотворения последних лет.

Дорога людьми богата,
всех попробуй согрей -
идут с восхода, заката,
с танцулек, из лагерей.

Я совсем не о том,
что мы повязаны кровно...
Слышал, продаете дом:
весь или только бревна?

Воздух острой ножа,
запах немощи стоек...
Там не моя душа
пьет среди новостроек?

* * *

в судный день
свидетели против меня
будут
 дерево трава и ручей
и еще кто-нибудь
 кого я по ходу жизни
вообще не заметил
 а замечу
 и мне конец

* * *

- и день опять в смеркании невнятном.
И клён знакомой желтизной запятнан.

Под ним от ливня мы тогда спасались.
И чьи-то пальцы свыше нас касались.

Как будто птичья речь подтачивала душу,
не выпуская из дождя наружу.

Напомнить нас под этим клёном? Тщетно.
А он желтел. И зеленел зачем-то.

* * *

заберите вот это дерево
отдаю
а вернее сказать возвращаю
оно мне уже не нужно
красивое доброе щедрое
кипящее летними птицами

где-то там посреди ветвей
заплутали среди ветвей
глаза мои
пусть они там и будут я говорю
если вам не мешают

ТУСКЛОЕ УТРО

Ночью стеснена душа живая.
Снова из беспамятства зову
и молюсь, чего-то ожидая,
солнцу - золотому божеству.

Всех, кого душа моя впитала,
оживи - не то во тьму уйдут!
Из какого отольешь металла
несколько часов или минут?

Может быть, я выйду из боренья,
как огонь, могучим и благим,
и сдержу нахлынувшее время -
ведь оно смертельней всех лавин.

Кажется, как будто воздух тает.
Листья, капли, дни летят с высот.
Медленно, мучительно светает -
Господи, а вдруг не рассветет?

ПОКАЯНИЕ

Томительная тающая тайна,
крылатый вечер и звезда над ним.
Волнистый лес, теряя очертанья,
сливается с дыханием равнин.

И, словно колокол над мраком храма,
восстала боль - и стонет глубина.
Как черная пугающая рана,
теперь моя душа отворена.

Откуда этот неутешный голос?
Чей это перст возносится, грозя?
И свет мгновенный - небо расколосось?
И жить нельзя? И умереть нельзя?

Над серым пеплом радостей и плачей
звезда мерцает в бездне голубой.
Печальный влажный сумрак - над горячей
поникнувшей, повинной головой.

Перевел с литовского ГЕОРГИЙ ЕФРЕМОВ

**ВАЛЕНТИНАС
ГУСТАЙНИС**

**"ПУСТЬ
ДАЖЕ
НЕПРИЛИЧНЫЕ"**

**ВОСПОМИНАНИЯ
БЫВШЕГО
ССЫЛЬНОГО**

Книга "Без вины" была написана В. Густайнисом в 1965 году. В литовской советской энциклопедии можно прочесть всего лишь несколько строк о Валентинасе Густайнисе: родился в 1896 году, умер в 1971 году; в 1928-32 был главным редактором правительственной газеты "Лиетувос айдас"; в 1939-40 возглавлял ЭЛЪТУ (телеграфное агентство). А что потом? Уходить на покой еще рановато - нет и сорока пяти. Книга как раз и повествует об этих годах жизни автора.

Валентинас Густайнис изучал философию в университетах Гейдельберга и Сорбонны, прекрасно владел пятью языками, в качестве журналиста свободно разъезжал по Европе, общался с виднейшими европейскими политиками, дипломатами, учеными, художниками. А 14 июня 1941 года он отправился, правда, уже в шелоне для ссыльных, в еще один путь протяженностью в пятнадцать лет...

Вернувшись в Литву, этот благородный человек не озлобился и не затаил обиду, нанесенную ему и его семье. Он радовался, что осужден культ личности, что пусть и посмертно, с честных людей снято клеймо "врагов народа", что напечатана повесть А. Солженицына "Один день Ивана Денисовича", повествующая о концентрационных лагерях эпохи Сталина-Берии... В своем вступительном слове автор писал: "Сотни тысяч дочерей и сыновей Литвы вынуждены были пройти тот же путь, что и я... Сегодня, когда лик эпохи прояснился, подверглись осуждению многие события прошлого, история не должна отрицать факты их существования, как нельзя выкинуть слова из песни, пусть даже неприличные... Мои воспоминания являются историческим документом определенной эпохи. Я писал их, руководствуясь именно этим доводом, не желая кого-то оправдать или осудить, не испытывая ни к кому мстительного чувства. Писал, как говорится, *sine ira et studio* (лат. - без злобы, беспристрастно)".

Отрывок из 4-й главы книги В. Густайниса "Без вины" (1965).

ВИЛЬНЮС БЫЛ ВОЗВРАЩЕН ЛИТВЕ при очень непростых обстоятельствах. 12 июля 1920 года, по мирному соглашению в Москве, были признаны суверенитет и независимость Литовского государства от России на все времена. На первой странице этого соглашения было написано: “Россия безоговорочно” признает “самостоятельность и независимость Литовского государства со всеми вытекающими из такого соглашения юридическими” последствиями и “по доброй воле на все времена” отказывается от “всех притязаний России по отношению к суверенному праву народа Литвы и ее территорий”. Участники соглашения (П. Климас) утверждали, что этот текст Ленин написал собственноручно. По отношению к литовцам он был необычайно добр, поэтому и содержание статьи не вызвало никаких возражений. Этим соглашением Вильнюс и его территория были четко закреплены за Литвой. Советский Союз никогда не менял своей позиции в отношении принадлежности Вильнюса. Поэтому было естественно, что в конце сентября 1939 года, когда была одержана победа над Польшей и Вильнюсский край оказался в руках Красной Армии, Москва в первую очередь выдвинула вопрос об урегулировании этой ситуации. Мой близкий приятель Ладас Надкявичюс был в то время уполномоченным представителем одного литовского министерства в Москве. Его пригласили участвовать в обсуждении этого вопроса и предложили связаться с правительством Литвы и попросить о срочной присылке правительственной делегации, уполномоченной вести переговоры о возвращении Вильнюса. Получив такое предложение, Надкявичюс прибыл в Каунас в хорошем расположении духа. Он оптимистично разъяснял, что при таком международном положении Советский Союз вряд ли будет стремиться к советизации Литвы. Возможно, поэтому возвращение Вильнюса, как ему казалось, должно пройти безболезненно.

Вскоре была собрана представительная делегация, в которую вошли заместитель председателя Совета министров Бизаускас, Верховный главнокомандующий генерал Раштикис, министр иностранных дел Урбшис и уполномоченный представитель Литвы в Москве Надкявичюс. Во время московских переговоров в Каунасе стало известно, что Советский Союз требует разрешения разместить в Литве несколько военных баз с гарнизонами Красной Армии. Я поинтересовался у В. Чарнякиса, который в ту пору был директором департамента Иностранных дел, как он к этому относится.

- Крайне отрицательно! - коротко ответил Чарнякис. - Военные гарнизоны - это конец суверенитету.

Вскоре из Москвы вернулась литовская делегация, которая договорилась о возвращении Вильнюса Литве и размещении четырех военных баз, или о формировании гарнизонов на территории Литвы. Возвращение Вильнюса всех радовало. Но

гарнизоны? Они допустимы на короткое время, пока идет война, - утешали мы сами себя. Хотя в соглашении было четко оговорено, где эти гарнизоны будут расположены и как они будут действовать, все же было всеобщее предчувствие, что это некое инородное образование. Но мы делали хорошую мину при плохой игре. Гарнизоны впустили к себе Эстония и Латвия, ничего конкретного за это не получив. А Литва как-никак обретала Вильнюс. С другой стороны, в Москве заверили, что никаких вмешательств во внутренние дела Литвы не последует, будет соблюден государственный суверенитет. Об этих переговорах и последовавшем затем банкете интересно рассказывал участник делегации К. Бизаускас, который много беседовал с самим Сталиным. По окончании банкета он сидел за чашкой кофе со Сталиным. Сталин похлопал его по плечу и весьма дружелюбно заявил:

- Это счастье для малых народов, что во главе великой нации стоит представитель малой нации... Надо сказать, что эти великороссы так и тянутся прихватить чужие земли. Вот хотя бы и Жданов... (тот сидел напротив). Требуется: "Давай Прибалтику, давай то и это". Но пока я жив, этого не допущу (тут Сталин погрозил пальцем Жданову), вы в своем доме можете преспокойно хозяйничать, как вам будет угодно...

Эти слова Сталина Бизаускас не раз цитировал, сам не зная, верить Сталину или нет.

Военные гарнизоны Советского Союза преспокойно расположились в условленных местах. Их военные связные нормально и даже дружественно сотрудничали с нашими, вели переговоры о необходимых строительных и прочих материальных нуждах. Никакого вмешательства во внутренние дела Литвы не наблюдалось. Не только правительство, но и широкие круги общественности явно не проявляли беспокойства по поводу этих гарнизонов, словно к ним привыкли...

Странная война на Западном фронте продолжалась всю зиму. Казалось, что она не достигнет значительного масштаба и мы вскоре услышим о мирных переговорах. Война Советского Союза с Финляндией завершилась довольно благополучно, может, и немцы договорятся с англичанами и французами? Но с приходом весны немцы активизировались во всей Западной Европе. Они атаковали и без боев заняли Данию, вторглись в Норвегию, вскоре заняли Осло и даже Нарвик, который помогали защищать английские военные корабли и остатки переправленных сюда воинских частей из Польши. Обо всем этом мы ежедневно слушали сообщения по радио из обеих воюющих стран, и были очень хорошо информированы.

В мае месяце немцы напали на Бельгию и Голландию, безжалостно разрушили Роттердам и неуклонно двигались по направлению к Парижу. Таким образом, когда все взоры были устремлены в сторону боев под Парижем в ожидании воен-

ной развязки, Восток остался без внимания. К московским военным гарнизонам мы привыкли, не было ни единой жалобы в связи с их пребыванием в Литве. Помнится, что в то время не многие слушали московское радио. Но неожиданно кто-то услышал по московскому радио, что во многих городах Советского Союза рабочие собираются на митинги, чтобы выразить свое возмущение в связи с убийствами в Литве военнослужащих Красной Армии, и требуют принять строгие меры по отношению к Литве. Такое известие нас страшно взволновало. Мы стали наводить справки. Министерство внутренних дел сообщило, что это исключено, в Литве не было никаких убийств военнослужащих Красной Армии, не было и нападений, кроме одного случая в Вильнюсе, где при еще невыясненных обстоятельствах в увеселительном доме был убит или покончил с собой один военный. Мы поняли, что это серьезный инцидент.

Председатель Совета министров Антанас Мяркис решил отправиться в Москву и прояснить обстоятельства с самим Молотовым. Молотов принял его очень холодно, решительно не желал слушать его аргументы и дал понять, что уже настало время в корне менять правительство Литвы. На мой взгляд, ни Мяркис, ни прочие министры не обратили внимания на формулировку “в корне менять правительство”. С вернувшимся из Москвы Мяркисом мы беседовали в тесном кругу, и Вацловас Сидзикаускас поинтересовался, угощал ли его Молотов хотя бы чаем? Мяркис ответил, что не было предложено даже минеральной воды.

- Это очень плохой знак! - оценил ситуацию Сидзикаускас.

Мяркис и сам почувствовал, что непрочно сидит в правительственном кресле.

Кажется, на следующий же день в Москву был вызван министр иностранных дел Литвы Ю. Урбшис. Поскольку дело было неотложным, ему пришлось лететь на самолете. В то время в Литве имелся единственный пассажирский самолет гражданской авиации, пилотируемый летчиком Дженкайтисом. Было решено лететь в Ригу, а оттуда на рейсовом шведском самолете добираться до Москвы. На каунасский аэродром министра Урбшиса проводил я. Наш с ним разговор был невеселым. Он предчувствовал, чем на этот раз кончится визит в Москву.

В этот же день после обеда мне позвонили в ЭЛьТУ из советского посольства в Каунасе и передали, что из Москвы получено сообщение, которое необходимо огласить в литовской печати через ЭЛьТУ. Это было коммюнике об убийстве в Вильнюсе военного начальника Красной Армии. У меня волосы встали дыбом, когда я услышал текст - вину за это убийство возлагали на правительство Литвы. К тому же мне пришлось консультироваться со специалистами, как правильнее перевести предложение “и спущен по водосточному трапу”. Скрепя

сердце я отдал это сообщение для обнародования через ЭЛТУ. Однако мне неизвестно, появилось ли оно в нашей прессе: на меня обрушились новые неожиданности.

В тот же вечер, 14 июня, едва я улегся спать, из Министерства внутренних дел позвонил Тураускас, тогдашний директор политического департамента.

- Ты еще не спишь? - поинтересовался он. - Немедленно приезжай в министерство: есть очень важные дела!..

В министерстве я застал Тураускаса и Бизаускаса. Они сообщили, что в Москве Урбшису и Надкявичюсу предъявили ультиматум; во-первых, требуют арестовать министра внутренних дел Скучаса и директора департамента безопасности Повилайтиса как лично ответственных за убийство в Вильнюсе, во-вторых, в корне поменять и само правительство Литвы. Об этом в зашифрованной телеграмме сообщили из Москвы Урбшис и Надкявичюс. Телеграмму тут же отвезли в канцелярию президента, где вскоре собрался весь кабинет министров, чтобы обсудить положение.

Ознакомившись с этими ультимативными требованиями, руководство распорядилось огласить, что правительство, руководимое Мяркисом, подает в отставку. Зашифрованной телеграммой запросили, кого Москва желает видеть во главе правительства. Наши оттуда ответили, что Молотов упоминал генерала Раштикиса, с которым он познакомился во время переговоров о военных базах в Литве. Услышав это, наши тут же решили вызвать Раштикиса и поручить ему формирование нового правительства...

Когда выяснилось, что кандидатура Раштикиса Москве не подходит, мы тут же заявили, что он отказывается формировать новое правительство, и стали ждать, какие из Москвы последуют новые сообщения. Но связь почему-то прервалась. Только некоторое время спустя от Урбшиса и Надкявичюса мы узнали, что, несмотря на их правовую аргументацию и напоминания о соглашениях, Молотову наскучило вести переговоры, и он строго заявил: "Будете вы сопротивляться или нет, все равно Красная Армия сегодня двинется на Литву, уже невзирая ни на какие границы!"

Тем временем пограничники со стороны Варены и других юго-восточных населенных пунктов активно звонили в военный штаб и Министерство внутренних дел, сообщая, что по ту сторону наблюдается большое скопление военной силы, которая медленно движется в сторону литовской границы. Интересовались, что делать. Однако в Каунасе уже никто не мог им дать четкий ответ. Правительство развалилось.

Солнце уже было в зените, когда и меня вызвали в президентский дворец, где я застал утомленного от бессонной ночи президента Сметону и нескольких министров. Сметона предложил мне составить соответствующее письмо председателю

Президиума Верховного Совета Калинин, которого, с дипломатической точки зрения, воспринимали как президента Советского Союза, то есть в правовом смысле равного нашему Сметоне. Поскольку тогда действовала куртуазная традиция, - главы суверенных государств переписывались каждый на своем языке, - то и письмо Калинин было решено писать по-литовски. В том письме Сметона писал Калинин, что готов встретиться с ним в любом подходящем для того месте и путем переговоров решить все возникшие недоразумения. Письмо такого содержания я быстро отредактировал, дал перепечатать на роскошной "дипломатической" бумаге и отправил его на подпись Сметоне.

Мы очень переживали из-за прерванной связи с нашими представителями в Москве, тем более что из пограничной зоны поступали все более тревожные сообщения - многочисленные военные отряды Красной Армии с мощной техникой вплотную приблизились к границе. Мы все еще ждали какого-то чуда. Помню, Сметона проговорился: "Русские пользуются тем, что немцы заняты под Парижем. Придет время, когда им придется ретироваться на Восток. Не мы приглашали русских в Европу, не нашими силами их отсюда и выставлять..."

Около 14 часов, наконец, раздался звонок из Москвы. Трубку взял сидевший рядом директор департамента В. Чарняцкис. Его обступили Бизаускас, Тураускас и я, слушали напряженно. Было очень плохо слышно. Чарняцкис громко повторял услышанное. А услышал он, что уже сегодня в 15 часов начнется вступление частей Красной Армии (неограниченной численности) в Литву, что главнокомандующий Литовской армии Виткаускас должен встретиться с советским командующим генералом Павловым в Гудогай и вместе с ним согласовать продвижение Красной Армии. Прослушав это сообщение из Москвы, В. Чарняцкис вытер пот.

- Это оккупация! - зло заявил Тураускас.

Он тут же распрощался с Бизаускасом и Чарняцкисом, взглянул на меня и спросил:

- Остаешься или уедешь?

- Останусь! - ответил я.

- Ну, тогда держись! - произнес Тураускас, пожимая мне руку и обнимая...

...Вскоре я понял, что в министерстве Иностраннных дел из ответственных лиц я остался один. Звонили телефоны, я отвечал, вначале не понимая, что мои ответы уже не имеют никакой силы, потому что и у Литовского правительства уже не было власти, а сама независимая Литва прекратила существование. Моральная установка не позволяла мне бежать - надо оставаться со своим народом, разделять со всеми тяготы и радости. Должен откровенно признаться, что позже, намного позже, 14 июня 1941 года, а особенно в 1945 году, я много

раз горячо сожалел, что не последовал примеру Тураускаса и многих других и не бежал из Литвы. Ведь в своем родном краю я все равно не задержался, потому что был депортирован, заключен в тюрьму, едва выжил в сталинских лагерях, вверх в нищенство свою ни в чем не повинную семью.

Итак, если бы понадобилось, я был готов вместе со всеми переживать тяготы в родном краю. К тому же я думал, что если буду реалистом и не стану пробивать лбом стену, то и в новых жизненных условиях найду себе место. Был же я знаком со многими советскими людьми: дипломатами, артистами, журналистами, военными - все были милы со мной, хлебосольны, всюду меня привечали как представителя дружественной страны. Много раз меня гостеприимно принимали в посольствах Советского Союза в Париже, Варшаве, Каунасе.

В министерстве было беспокойно. Часто звонил из советского посольства сам посол Поздняков или кто-нибудь из его служащих, интересовались, как подготовлена встреча уполномоченного из Москвы Деканозова, который должен был вскоре прилететь. Интересовались, арестованы ли Скучас и Повилайтис. Я ответил, что не знаю, но поинтересуюсь. Я позвонил в канцелярию президента, желая узнать, что мне отвечать о Скучасе и Повилайтисе. Бизаускас посоветовал:

- Скажи им: "Отдан приказ арестовать Скучаса и Повилайтиса".

Я так и ответил, когда вновь позвонил Поздняков. Но я был уверен, что это всего лишь дипломатический ответ, и вряд ли кто-либо из переставшего существовать правительства мог на самом деле отдать такой приказ, еще менее я верил в то, что его кто-либо будет исполнять в таких условиях.

Вечером мне позвонил командующий авиацией генерал Густайтис, с которым я поддерживал дружеские отношения. Он просил совета, как встретить Деканозова, когда тот приземлится на каунасском аэродроме. Увы, я не мог предложить никаких протокольных правил для такого непредвиденного случая.

- Поскольку дуть против ветра мы не можем, - успокаивал я его, - надо все устроить лучшим образом: возможно, нам что-то зачтется в кредит?..

На заходе солнца мне сообщили, что по укмяргскому шоссе к Каунасу приближается авангард советских танков. По телу пробежали мурашки. В это время по литовскому радио передавали последнее обращение бывшего литовского правительства к народу. Отредактировать это краткое сообщение от бывшего литовского правительства было доверено мне. У меня не было времени обдумать и выправить этот текст. Я знал, что Сметона уже бежал из Литвы, а это мне тогда не импонировало, поэтому в конце обращения я выразил сожаление по поводу бегства президента Республики. Перепечатанное на ма-

шинке “Обращение к народу” я прочитал по телефону дежурившему А. Мяркису и получил его разрешение обнародовать обращение в том виде, как написано, но без упоминания в конце о бегстве Сметоны. Текст воззвания был отправлен в радиорубку, и было дано указание читать его неоднократно. Должен признаться, что свое мнение по поводу бегства президента я изменил. Оставшиеся на посту президенты Латвии и Эстонии были насильно отторжены от своего народа и зверски уничтожены. Сам я, вернувшись после долгих мучительных лет в Литву, слышал в свой адрес упреки, почему в последнем обращении правительства не вписал слова: “Спасайтесь, как можете!” Сейчас, как мне кажется, есть достаточно доводов в пользу того, что в тот роковой для Литвы момент надо было приказать армии сражаться, и столько же доводов в противовес этому, поскольку не имелось никакой реальной перспективы для победы...

В моей памяти запечатлелось поведение Антанаса Мяркиса. Он, будучи юристом, в первую очередь заботился о поддержании непрерывности государственной власти. Даже когда страница истории независимой Литвы на этом этапе захлопнулась, Мяркис в первую очередь думал, кому передать управление литовским государством. Он твердо придерживался юридических правил, хотя события складывались губительно для правовых отношений. В 72-ой статье Конституции того времени было сказано: “В случае смерти или отставки президента Республики, пока новый президент Республики не будет избран и не примет руководство государством, страной руководит премьер-министр”. Таким образом, после бегства Сметоны, Мяркис юридически исполнял обязанности президента. Когда выяснилось, что обязанности президента должны быть переданы Юстасу Палецкису, Мяркис подготовил соответствующий торжественно оформленный акт передачи, позаботился о том, чтобы с юридической точки зрения были соблюдены официальные формальности передачи власти. Кстати, когда нам стало известно, что руководить Республикой назначен Юстас Палецкис (в Каунасе он слыл добропорядочным литовцем), мы с Мяркисом облегченно вздохнули.

16 июня я отправился в министерство, побывал в ЭЛБТЕ, которая выполняла свою обычную работу: сообщала новости о Париже и дальнейшем продвижении немецкой армии вглубь Франции. Я заглянул в помещение кабинета министров на улице Донелайтиса. Всюду ощущалась болезненная перемена. Однако на улицах Каунаса я увидел и людей с иным настроением: грудь нараспашку, лица счастливые. Видно, подумал я, для одних катастрофа, для других - спасение!.. Лайсвес аллея была запружена кавалерией. Эти чужеземные всадники казались мне грозными, я боялся приблизиться. Я видел, что многие местные горожане дружески беседуют с ними, женщины

некоторым вручают красные цветки. Сколько в ту пору в Каунасе людей, настроенных так, как я, и сколько с иным настроением, - какая правдивая статистика могла нам тогда преподнести эти факты?

Над городом гудели бомбардировщики, мелькали истребители. Мне было ясно, что это демонстрация военной мощи Советского Союза. Люди глазели на небо, пораженные невиданным зрелищем. Я успокоился, когда заметил, что литовские военные вежливо здороваются с советскими воинами. Это, видимо, был приказ тогдашнего руководства армии. И понятно, поскольку осенью 1939 года в Москве между Литвой и Советским Союзом было подписано совместное соглашение о дружбе и взаимопомощи. Значит, официально обе армии были союзническими. 15 июня литовское правительство также приняло ультиматум об отказе от вооруженного сопротивления, поскольку заранее знало соотношение сил и понимало, что сопротивление бесполезно.

На следующий день я заглянул в Совет министров. В малом кабинете я застал Юстаса Палецкиса, редактировавшего декларацию нового правительства. Частично он мне ее прочитал. В памяти осталось: "Литва должна будет покраснеть, уж очень она была бледной"... Тут к нему вошел... представитель Советского Союза в Литве Николай Поздняков, с которым я был хорошо знаком: не раз он угощал меня в посольстве. Я протянул ему руку как старому знакомому и был удивлен, когда тот задержался с рукопожатием на несколько секунд, словно размышляя, можно ли еще со мной здороваться. Я почувствовал, насколько радикально изменилась не только политическая ситуация, но и личные отношения...

На следующий день я был вызван в президентскую канцелярию докладывать Юстасу Палецкису о международном положении... Через некоторое время появился незнакомый мне человек, некий товарищ Виктор, и Палецкис простился со мной, попросив и далее информировать его о событиях в мире. Мне, однако, более не пришлось исполнять эту обязанность: ЭЛЬТУ я передал Костасу Корсакасу, с которым лично не был знаком, хотя и читал в журналах несколько его статей под псевдонимом Раджвилас...

Распрощавшись с ЭЛЬТОЙ, я не стал искать какой-либо работы в Каунасе, а отправился по реке в Панямуне. Здесь я надеялся переждать, пока окончательно не прояснится судьба Литвы. Думал, раз я не стану нарушать законы нового порядка, то и меня никто не тронет. Увы, я горько ошибался...

Перевела с литовского

ТАМАРА ПЕРУНОВА



Беседу ведет публицист ТАТЬЯНА ЯСИНСКАЯ

КАК ЛЕВАЯ И ПРАВАЯ РУКА

- Как я вижу, одновременно Вы читаете - раз, два, три... шесть книг, причем половина из них на литовском, остальная - на русском и французском. Две - прямо-таки напольные, у самого изголовья.

- И еще читаю Франкла "Человек в поисках смысла". Очень его люблю.

- В чем сейчас потребность больше: читать или перечитывать?

- И то, и другое. Потому что я никогда не читаю одну книгу. Три-четыре одновременно - это совершенно нормально.

- Сколько из них поэтических?

- Два-три стихотворения в день. В моем кабинете у меня под рукой вся Цветаева, книги о ней, автобиографическая литература. У мужа Юозаса - вся поэзия. Беру у него то, что хочется. Это может быть Гумилев или Радаускас, Браздженис или Мандельштам, но 2-3 стихотворения почти каждый день мне прочесть необходимо.

Рамуте Скучайте - известная литовская поэтесса и переводчица с русского, французского и немецкого. Недавно - впервые в Литве - вышел двуязычный сборник с ее переводами на литовский стихотворений Марины Цветаевой "Письма в никуда". Мое интервью - о возникновении этой книги, о том, как Рамуте впервые познакомилась со стихами М.Ц. будучи юной школьницей, в сибирской ссылке, как 50 лет шла к этому сборнику. "На полях" этого интервью есть еще один малоизвестный литовский "цветаевский" сюжет. В конце 90-х на чердаке одного из домов старинного вильнюсского района Ужупис были случайно обнаружены 12 писем М.Ц. 1934-1935 к ее дальней родственнице, почти ровеснице и, судя по письмам, вполне достойной собеседнице, Наталье Гайдукевич, с которой они так никогда и не встретились... - Т.Я.

Татьяна Ясинская (Вильнюс) - литератор, театровед, переводчица. Общественный деятель.

- Судя по вашему рассказу, русский и литовский для вас - как левая и правая рука.

- Пишу я, конечно, больше по-литовски, а читать мне совершенно все равно на каком из этих языков, но если читаю переводную литературу, чаще всего ищу ее прежде всего по-русски, правда, посмотрю при этом, кто переводил. Русские переводы с английского, французского - по крайней мере, раньше, лет десять тому назад, как правило, были намного лучше литовских. Сейчас и у нас появляются достойные переводчики, но все же надо смотреть, кто именно перевел.

Недавно, скажем, взяла в руки современный перевод "Здравствуй, грусть!" Франсуазы Саган и ужаснулась. Нашла старую книжку на литовском и сразу ощутила всю ее поэзию. И вновь подумала: как легко плохим переводом не просто исказить, но даже полностью уничтожить автора. И знаете чем? Я нарочно положила рядом два перевода - современный и двадцатипятилетней давности - и стала их сравнивать. Так вот смысл перевода не в дословности, а в том, чтобы передать дух произведения. Хотя в обратном переводе с литовского на французский этот плохой современный перевод в дословном смысле - тоже правильный. Но книги-то нет.

- Честно говоря, сама этого не знаю, поэтому спрошу у вас: в каком состоянии находится современная школа литовского перевода?

- Боюсь, в этом деле царит полная суматоха. Есть издательства и редакторы - скажем, Нийоле Кварацете, которая редактировала мою книгу - совершенно удивительные. Когда мы вместе работали над переводами Цветаевой, я старалась даже паузы оставлять в тех местах, где они и у Цветаевой. И Нийоле меня в этом, по-возможности, поддерживала, хотя это не всегда напрямую соответствовало нормам современного литовского языка. А есть издательства, которым все равно, им нет дела до таких тонкостей. Впрочем, и российских издательств такого рода немало теперь. И я часто думаю: Господи, при такой громаде книг, кто может точно выбрать и знать, окупаются ли такие книги? Понятно, что за всем стоят прежде всего деньги. Значит, наверное, окупаются....

ПОЭЗИЯ НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ ТОВАРОМ

- Лет десять после распада СССР мы искали и читали "взахлеб" многие книги, которые не могли быть изданы ранее.

- Но мы, как правило, точно знали, что искали!

- А сейчас, в этом книжном половодье, уже не рыщем-ищем - это почти невозможно физически, а пере-

даем друг другу какого-то автора, какую-то потрясающую или просто порадовавшую нас книгу, что называется, из рук в руки. Потому что рекламе - в том числе и литературной - доверять нельзя. Ее изготавливают по принципам обычного ширпотреба, намеренно преувеличивая достоинства, часто вообще искажая смысл произведения - лишь бы было хватко, броско, заманчиво. А потом берешь книгу в руки - так, ничего особенного, если вовсе не очередной "мыльный пузырь". Какие-то огромные сверкающие фантики, в которые завернуты вполне скромные конфетки или даже полная отравка.

- Пару лет тому назад в одном литовском культурном еженедельнике была опубликована рецензия на поэтический сборник. Ее автором была не профессиональный рецензент, а женщина-поэт. И она прямо написала: поэзия сейчас - товар невостребованный, и в ближайшие годы ситуация вряд ли изменится. А я думаю: и слава Богу! Потому что невостребованный товар перестает быть товаром. Поэзия и не должна им быть. Ни в коем случае! Моя дочь Юрате, художник, говорит: "Мне нравится, когда книги лежат. Долго. Год. Два. Значит, кто-то, кто захочет их купить, долго может к ним присматриваться, дозревать. И самое страшное, когда книги уценяют. Но ведь это - не пирожки, они же не портятся. Пусть себе лежат! Когда смогу - куплю. В конце концов, может, я сам сегодня еще не созрел для этой книги. А года через два - будет в самый раз".

- Увы, пока наши книжные магазины работают по тем же правилам, что продавцы модных колготок или горячих пирожков.

- И самое страшное - современная детская литература. Вот для нее - не побоюсь этого слова - должна быть цензура. Сегодня это совершенно бесхозное производство. Даже в предвоенной Литве у министерства просвещения была специальная комиссия по апробации детских книг. Как она работала? Скажем, я перевела или написала какую-то книгу. Несу ее в эту комиссию. Но не обязательно. Если найду издательство, которое ее и без этого опубликует, - пожалуйста. Можно напечатать книгу и за свои деньги. Но если я несу ее в ту требовательную комиссию, книга проходит тщательный анализ филологов, стилистов, педагогов, писателей и т.п., и они сообща могут вынести вердикт: "подходит для всех школьных библиотек". Вот тогда я спокойно несу ее любому издателю, который с удовольствием возьмется ее печатать, зная, что все библиотеки потом непременно приобретут эту книгу. Значит, тираж будет выкуплен почти полностью. А я как рядовой гражданин, видя на книге штамп апробации специальной ко-

миссии министерства, куплю такую книгу своему ребенку, что называется, с закрытыми глазами. Сегодня же никто не озабочен духовным ростом читателей. Хорошо, если родители сами читают и что-то могут порекомендовать детям. Но, как правило, общая картина сегодня иная. Как-то в небольшом книжном магазине я смотрела книги, и туда же зашла мама с ребенком лет шести. И я стала свидетелем такого диалога. “Хочешь, купим книжку стихов? - Нет! - Может, сказки? - Нет!” И тут продавщица, которая стоит в книжном магазине, за прилавком с книгами, советует: “Купите ему лучше пазл. У нас они тоже есть”. Что эта мама и сделала.

- Думаю, такие неквалифицированные советчики побуждают родителей, бабушек и дедушек, искать помощи друг у друга. Есть масса интернет-сайтов, где они подсказывают, как отыскать умные, талантливые, развивающие книжки и игрушки в этом море разливанном пестрого и зачастую даже вредного ширпотреба. По интернету я лично познакомилась с творчеством прекрасных современных русских детских поэтов - Ренаты Мухи, Олега Григорьева, Марины Бородинской, Григория Кружкова, Юрия Ефремова... Правда, когда пришла за их книгами в один из лучших книжных магазинов Санкт-Петербурга (а на одном только Невском проспекте три огромных книжных магазина работают круглосуточно!), мне сказали: “К сожалению, книг этих авторов сейчас в продаже нет”. Значит, были, но раскуплены. Выходит, люди знают, что на самом деле ценно, и делятся этой информацией.

- Дай-то Бог! Но вообще дети не очень любят читать, если родители у них такие, что им все равно. Я бываю в школах и вижу это. Бывает очень грустно. Система тестов испортила детей и образование в целом. Приведу пример для наглядности. У меня есть такое стихотворение-загадка “Arie bebro raštą ir brastą”, в четвертом классе одной школы лишь один мальчик знал, что такое brastą (брод), да и тот мальчик был явно не литовцем - говорил с акцентом. Загадка же стихотворения состоит в элементарной арифметической задаче, на которую еще десять лет назад мне отвечали второклассники-третьеклассники, а теперь не отвечают и в шестом, и в десятом классе. Да и учителя часто верного ответа не знают...

- Почему, как вы полагаете?

- Думаю, тесты все испортили. Дети стали не думать, а угадывать. Приходится идти к доске, рисовать, наглядно разбирать задачу. Тогда всем все становится ясно. Даже учителям.

- Да, грустная история...

ДО ЖИВОЙ ГОЛОВЫ...

- Не думаю, что и наш разговор в целом будет веселым.

- **Да уж, рядом с Мариной Ивановной не повеселишься - это факт. Давайте к ней ближе и подбираться. Сначала спрошу несколько странно: как в вашу жизнь пришел русский язык? Как я понимаю, при вполне трагических обстоятельствах, ведь так?**

- Вполне. Впервые я его услышала в 1941 году. После того как 12 июня 1941 года отца арестовали, маму, так сказать, понизили по службе - перевели в школу в городке Науяместис недалеко от Паневежиса. До этого мы жили в самом Паневежисе. Оба родителя были учителями, но отец до ареста работал инспектором начальных школ. Так что впервые я услышала русский учась в 3-м классе в Науяместисе, в песнях по радио. Было там и несколько военных, от которых я слышала эту речь. Впрочем, русский слышала и раньше. Дело в том, что отец с матерью закончили учительскую семинарию в царские времена (мама, между прочим, училась до этого в мариямпольской прогимназии, где директором была нынешний классик литовской литературы - Шатриес Рагана), и если родители хотели, чтобы мы с братом не понимали, о чем они говорят, они беседовали между собой по-русски. Скажем, ключевая фраза "Пойдем погулять" означала, что они пойдут куда-то в гости без нас, детей. Вот это я уже понимала. Остальное - нет, впрочем, и говорили они по-русски достаточно редко. Хотя в Науяместисе мама преподавала русский на вечерних курсах для взрослых. И иногда брала меня с собой, если не с кем было оставить. Тихонько сидя в углу, я рисовала, и как-то этот язык проходил мимо меня. Затем русский пришел уже в 1945-м.

- **А войну где пережили?**

- Мы вернулись в Паневежис. Там прожили всю войну и немецкую оккупацию.

- **И видели, должно быть, как начинался театр Мильтиниса?**

- Да, именно в эти годы он показал первые спектакли. И актерский дебют Баниониса на театральной сцене тоже видела. В 1942-м году, когда я поступила в 4-класс паневежской гимназии, нас начали водить в этот театр. И самый первый спектакль помню - "Атжалинас" К. Бинкиса. А сознательно русскую речь услышала уже после оккупации, потому что этот язык стали преподавать в гимназии. Но тут возник один парадокс: мне очень легко было осваивать французский, а русский не давался совершенно, и я уже было решила, что совершенно не способна к языкам, особенно к кириллице. Вплоть до того, что когда нам задавали читать тексты, я поверх них карандашом записыва-

ла все латинскими буквами. И кое-как все же дотащилась до 6-го класса гимназии. А потом меня выслали в Сибирь.

- **Одну?... Шестиклассницу?...**

- Да, одну. Мне к тому времени уже было 17 лет, а маму осудили на 10 лет лагерей еще раньше, в 1945-м. Незадолго до этого мы узнали, что отец во время войны умер в лагере от голода. И брат в 1945-м скончался от тифа. Ему было всего 18, он только успел кончить гимназию.

- **Страшным выдался для вас “победный 45-й”...**

- Да. Причем маму арестовали 11 ноября, в день ее 46-летия. После этого я четыре года прожила у тети. Но настал и мой черед.

- **Какое обвинение вам предъявили?**

- Я точно помню, что подписала, когда мы прибыли в поселок Зима Иркутской области. Примерно на второй неделе всех высланных из Литвы собрали (мы уже жили в бараках, меня приняла одна семья, т.е. меня к ней просто подселили, т.к. я была одна), и каждый из нас должен был подписать нечто вроде приговора. И я слово в слово помню, что подписала. Не так давно вновь убедилась в этом, когда пересматривала свое личное дело в архиве КГБ. Сделать это надо было для того, чтобы подтвердить, что моя дочь Юрате, родившаяся в Зиме в 1955 году, упомянута в этом деле, дабы она теперь получала пенсию ссыльного. В архиве я и нашла ту бумагу, что подписывала. До сих пор не знаю, была ли это копия, сделанная с оригинала, или на самом деле в Литву отсылали на хранение эти листы, но послушайте, как это звучало: “Скучайте Рамуте, Йоно, родившаяся в таком-то году, в таком-то городе, высылается в г. Зима Иркутской области, поселок Перевалочный, пожизненно как член семьи, принадлежавшей к фашистско-националистическим бандам”. Это я и подписала. Все, кого, как и меня, высылали в 1949-м году - акция называлась “Прибой” - были осуждены пожизненно. А те, кого арестовали в 1948-м, на какой-то определенный, меньший срок. Но главное - то, что подписала, я почему-то не воспринимала трагически. Вероятно, молодой человек как-то иначе чувствует. Конечно, я размышляла: пожизненно - по-литовски “iki gyvos galvos”, буквально “до живой головы”. Что это может значить?.. Но долго об этом почему-то не думала. Тоска грызла, конечно, плакала много - что было, то было. Но, тем не менее, сейчас, когда мне осталось жить, быть может, совсем немного - кто знает? - это слово “пожизненно” воспринимается куда страшнее, чем в юности.

ССЫЛЬНОЕ БРАТСТВО

- В ссылке мы жили не в лагере, а на поселении. Сначала я работала, как и все. Там были две фабрики. Одна - "Перевалочная" - вырезала шпалы для железной дороги, на ней я и работала. На другой фабрике - "Лесозавод" - сушили древесину и делали из нее заготовки для обшивки сельскохозяйственных машин.

- Вы уже могли договариваться по-русски с окружающими, ведь там были ссыльные не только из Литвы?

- Да, там дело как-то быстро наладилось, я вполне разговаривалась. Но вскоре тяжело заболела: как следствие перенесенного вместе с братом тифа у меня начался туберкулез костей. Работать на фабрику меня уже не гнали. Тем не менее, зарабатывать на жизнь как-то надо было. И хотя тетя посылала мне из Литвы посылки с продуктами, этого было недостаточно. Бывало и очень трудно... Заболев, я снова начала учиться в школе. У руководителя нашего класса - Александры Павловны Гудаевой, учительницы химии, муж был главным инженером на "Лесозаводе", и так как мне очень хорошо давалось в школе черчение, я через свою учительницу стала получать от него заказы на дом - копирование чертежей. И платили совсем неплохо по тем временам. А может, он просто меня жалел... Но важно, что это дало мне профессию, по которой я продолжала работать и вернувшись в Литву, в Геологическом управлении. И летом, и зимой в ссылке я себя помню вместе с этими чертежами. И в 9-м, и в 10-м классе. И мой дневник сохранился, взгляните: Лесозаводская средняя школа. Училась уже достаточно хорошо, в аттестате нет ни одной тройки.

- Были ли в вашей школе другие выходцы из Литвы?

- В нашем классе учились еще два мальчика. Один был очень способным математиком и пошел после школы по этой линии, другой позже закончил Горный техникум.

- Говорили ли вы между собой по-литовски, или это было запрещено?

- Нет, запрещено не было. Но как-то некогда было, по крайней мере, в школе. После уроков - уже другое дело. В первый год учебы, в 9-м классе, я все учила наизусть: историю, географию, словом, все тексты, что нам задавали. Импровизировать, рассказывать что-то по-русски своими словами я еще не могла. Но однажды я вдруг поняла, что говорю по-русски лучше своих земляков-мальчиков. Тот, что позже закончил Горный техникум, так толком и не научился говорить по-русски, хотя техникум успешно закончил.

- Расскажите о людях, с которыми вам довелось бок о бок жить в ссылке.

- Это были хорошие люди. Но они были выходцами из клайпедского края, из тех мест на границе с бывшей Пруссией, где в речи употреблялось много немецких слов. И мои соседи говорили на этом особом языке. Они и были отчасти немцами, по вероисповеданию, скажем, не католиками, а лютеранами. Это были две женщины - бабушка и ее невестка, и с ними двое детей. Меня к ним подселили. И когда я заболела туберкулезом, и нога у меня целый год была в гипсе, эта невестка по имени Ольга была ко мне очень добра, много мне помогала. Например, вечером выводила меня на улицу, чтобы я, ковыляя на одной ноге, немножко подышала свежим воздухом.

- Сколько вы проболели?

- Не меньше года. Потом туберкулезный процесс удалось приостановить. Мне прислали из Литвы какие-то мамины вещи, чтобы продать и на вырученные средства приобрести ампулы стрептомицина. И, представьте себе, эти уколы мне делала медсестра-литовка по имени Броните, которая специально для этого каждое утро перед работой проходила пешком по шпалам 6 километров туда и обратно. Так продолжалось недели три. Потом я узнала, что эта женщина была монашкой. Сейчас ее уже нет в живых. Когда мы вернулись из ссылки, она долгое время работала в Каунасе, в гомеопатической аптеке.

ОБОЮДООСТРАЯ МАРИНА

- Так постепенно, окольными путями, мы с вами приближаемся к Марине Ивановне Цветаевой.

- Да. Впервые листки с переписанными от руки ее стихами мне показал тоже ссыльный литовец, агроном, который тогда казался мне стариком, хотя на самом деле ему было около сорока. Это был чрезвычайно образованный и начитанный человек, говоривший на нескольких иностранных языках. В его сундуке, привезенном из Литвы, помимо литовских, были немецкие, французские, русские книги. Особенно часто он читал мне Ламартина, т.к. знал, что я увлекалась французским языком. В школе в то время я изучала немецкий, там просто не было педагога по французскому. Но после школы я все же поступила в заочный институт именно на французское отделение. Кстати, недавно перевела на литовский сказки Шарля Перро...

- Как вы познакомились с этим ученым агрономом?

- Да чего там знакомиться - мы в одном бараке жили. Там жило много народа, много семей. И как-то слово за слово, в бытовых разговорах, он меня заметил, выделил, потому что немного среди нас было тех, кто учился и к чему-то стремился. И вот однажды вечером этот человек принес несколько листков и прочел мне "Цыганскую

страсть разлуки” Цветаевой. Я уже была в десятом классе и хорошо понимала по-русски. Между прочим, когда в институте я впервые в жизни писала диктант, то не сделала ни одной ошибки и единственная из всех получила пятерку. Может, музыкальный слух тому причиной, может, еще что-то, но трудные слова - “палисадник”, “деревянный” или “серебряный” - были мне уже совершенно понятны. Русский язык как-то вдруг для меня открылся, вся его грамматика, и стало совсем легко.

- **Читали, наверное, много.**

- В первый год - нет. Но в десятом классе, как говорится, пошло-поехало... И вот в тот памятный вечер агроном прочел мне несколько стихотворений Цветаевой. Кажется, это была машинопись, третий-четвертый экземпляр, на очень ветхих листочках. Он принес их вместе с какой-то книжкой “серебряного века”, листки были в нее вложены. Он прочел стихи и спросил: “Ну как? Тебе это нравится?” Я сказала, что очень нравится. Тогда он рассказал о ней, о ее трагической судьбе.

- **Он ее уже знал в подробностях?**

- Да, да, во всех подробностях, и что дело закончилось самоубийством. Единственное расхождение этого рассказа с реальностью, которая обнаружилось намного позже, состояло в том, что, по его словам, Цветаева покончила с собой в полуразрушенной церкви. Вероятно, такие разговоры передавались из уст в уста, и для пущей романтики церковь подходила больше, чем обычный дом. По-видимому, были всякие версии, пока елабужская история Марины Ивановны не стала совершенно ясной до конца. И вот с того памятного вечера Цветаева накрепко вошла в мою жизнь. На какое-то время я ее как будто слегка подзабыла, но это стихотворение помнила все время.

“Цыганская страсть разлуки!

Чуть встретишь - и рвешься прочь!

Я лоб уронила в руки

И думаю, глядя в ночь:

Никто, в наших письмах роясь,

Не понял до глубины,

Как мы вероломны, то есть -

Как сами себе верны”.

Хочу попутно обратить внимание вот на что. Казалось бы, совершенно личное стихотворение, переживание личное-преличное, вроде бы. А на самом деле - огромное обобщение человеческой жизни.

- **Но ведь так у Цветаевой всегда.**

- Да! Она пишет как будто о том, что переживает только она сама в конкретной ситуации, а оказывается - это применимо ко множеству людей и судеб. По-видимому,

она и сама не знала, что на самом деле - пророк. Иначе не скажешь.

- **Это и есть гений. Она видит и описывает переживания, которые могут быть приложимы и к любовным отношениям между мужчиной и женщиной, и к разрыву между матерью и ребенком..... Универсальные чувства.**

- Да-да. Взять, к примеру, стихотворение “Соперница, а я к тебе приду...” Я даже выбросила это слово - “соперница”, потому что оно мне не подошло, и вообще стихотворение не о том, не о банальном любовном соперничестве, поэтому совершенно неважно, к кому лирическая героиня обращается. Я впервые встречаю такое в поэзии.

- **До Цветаевой ничто в русской поэзии вас так не пронзало?**

- Ничто. Она была первой и самой яркой. Ведь я и с Пушкиным встретила в то же самое время, и увлекалась “Евгением Онегиным”, и по сей день многое помню из него наизусть. И Некрасова тогда же прочла, и многое из лучших произведений русской литературы, которые мы изучали в школе. Тем не менее, Цветаева оказалась выше всех. Отмечу, кстати - прочтя мне ее стихи, агроном предупредил, что об этом говорить не надо.

- **Как звали этого человека?**

- Генрикас Урбонавичюс - человек высочайшего интеллекта.

- **И это были ваши домашние университеты.**

- Да, с Цветаевой, Ламартином...

- **О Ламартине вы говорили, наверное, по-французски...**

- Он в основном читал мне его вслух.

- **А о Цветаевой - по-русски или по-литовски? Свой родной язык поддерживали?**

- Конечно. Говорили мы между собой только по-литовски, цитируя разных авторов на их родных языках. Но я что-то не помню, чтобы Урбонавичюс читал мне что-нибудь по-литовски. Гёте точно читал по-немецки, говорил: “Смотри, как это сделано...” Наверное, потому, что я ему уже показывала кое-какие свои стихотворения. Но какие беспомощные они были - Господи!....

- **Вы начали писать в ссылке?**

- Нет, еще в Литве. Но это были вполне обыкновенные рифмованные строки, которые слагают в юности многие. Потом в ссылке к обычным юношеским темам прибавилась, конечно, тоска по родине. И эти стихотворения, написанные в 17-18 лет, сохранились до сих пор. Но глядя на них сейчас - через Цветаеву - я поняла вот что: “Медный ангел”, например, - это будто не мои стихи, они похо-

жи на те, что мне иногда приносят сейчас почитать, и на которые я смотреть не могу. А у Марины Ивановны и в 18 лет мастерство такое же, как в последних стихотворениях, только жизненный опыт - другой. И все. Но литературное выражение - совершенное.

- Видно, это и есть свойство гения. И у Пушкина многие лицейские стихи не хуже тех, что написаны в зрелости.

- Кажется, Бродский сказал о ней, что ее голос выходит за рамки общеупотребительного тона - это фальцет. Я с ним согласна. По-моему, даже в рамки "серебряного века" Цветаева не входит, она намного дальше. Такой огромный прыжок сквозь время. Сравнивая ее поэзию с Ахматовой, скажу: стихи Анны Андреевны, безусловно, красивы, сильны, но это не такое потрясающее явление, как Цветаева, которую встретишь однажды, вдохнешь - и уже не сможешь выдохнуть.

- Они просто разные. Очень разные. На мой взгляд, и Ахматова - явление огромной величины.

- Я понимаю, что это очень хорошо. Но она говорит понятным голосом, не таким, что тебя убило бы наповал. И даже несмотря на "Реквием" и другие гениальные стихи, это все-таки другое. Ну кто еще может сказать: "И были слезы больше глаз"? Ну кто так скажет?! А у Цветаевой много таких сравнений.

- Вы сразу ею "задохнулись"? С первого прочтения?

- Сразу. Урбонавичюс пару раз мне прочел "Цыганскую страсть", и я сразу ее запомнила наизусть, ведь он эти листки мне не оставил. Не помню, какие еще стихотворения я узнала в тот момент... Лишь потом, спустя много лет, стали понемногу появляться книги Марины Ивановны.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

- Когда вы вернулись в Литву?

- Когда пришел Хрущев и разоблачил Сталина, народ постепенно стали выпускать. Но делали это под разными предлогами. Я, например, вернулась как учитель, преподаватель черчения - я уже работала по этой специальности, учась заочно в институте. Все та же Александра Павловна устроила меня работать в другую школу, на гидродлином заводе.

Но вдруг оказалось, что я не имею права жить в Литве. Правда, обнаружилось это, когда я уже вернулась и жила в Литве. Когда получила двухкомнатную квартиру на Антоколе, в 1961 году, меня не хотели в ней регистрировать. Вернулась я в 1956-м. Муж мой, отец Юрате, был аспирантом, и жили мы сначала в аспирантском общежи-

тии. Потом разошлись, и я жила по квартирам. Но потом оказалось, что из общежития меня выписали, а я об этом не знала. Т.е. шесть лет я жила в Литве безо всякого права, сама того не ведая. Пришлось писать прошение, чтобы меня признали. Видимо, служба помогла - я уже работала переводчиком в “Вечерних новостях”.

Поначалу, вернувшись из ссылки, я работала чертежником в геологическом управлении. А в 1959 году готовилась к выходу ежедневная вильнюсская газета “Вечерние новости”. И однажды я прочитала объявление в литовской газете “Тiesa” о конкурсе на должность переводчика для новой “Вечерки”. Конкурс проходил в Доме политического просвещения (позже в этом здании на улице Шермукшню была медицинская библиотека). Требовались два переводчика на русский и два - на литовский язык. Я пошла туда в 9 часов утра. Очередь была, как в том старом итальянском фильме “Рим, 11 часов” - люди стояли в длиннющей очереди. Представьте, мой черед войти в заветные двери настал лишь в половине девятого вечера! Дали небольшую статейку на литовском, перевод которой надо было сразу диктовать машинистке. На следующее утро, как ни странно, из всей толпы, ожидавшей решения, вызвали именно меня. И уже проработав недели две в газете, я случайно узнала, что на самом деле в тот день отбирали не четверых переводчиков, а только двух, двое уже были приняты на службу и работали. Словом, мне повезло.

- Честно говоря, качество переводов ежедневных изданий хоть с русского на литовский, хоть наоборот, тогда и сейчас отличается разительно. Конкурсов давно никто не устраивает, ну и результат - соответствующий.

- Вы правы. Совсем не осталось изданий без переводческих ошибок, и каких ошибок - не дай Бог!

Я покажу вам книгу своих переводов Шарля Перро. Оказывается, он писал не только прозу. Вот, глядите, три сказки - “Смешные желания”, “Тризальда” и “Ослиная шкура” - написаны в стихах. Вот еще одна книга - уже моя, включающая стихи и прозаические отрывки. Юрате оформила, используя бумагу ручной работы. Еще книга - “Тропинка”, в ней мой детский портрет, тоже дочь оформляла. Портреты отца, матери, брата, мамы до моего рождения, ксёндза Казимераса Прополяниса, который меня крестил и дал мне имя. Меня ведь хотели назвать Руттой. Но этот ксёндз учился в Италии и сказал, что там с помощью руты делали аборты. А в Литве, по словам ксёндза, военные этим именем называли кобыл. “Так что имя - неподходящее, - решил он. - А такая спокойная девочка пусть зовется Рамуте”. Мама хотела, чтобы было

еще одно имя, в честь какой-нибудь святой. Ксёндз был против и даже пошутил: “Может, она еще сама святой станет. Не надо девочке второго имени”.

Есть еще одно интересное дело... Совершенно неожиданно я узнала такую вещь. *(Читает свои воспоминания о семье Фридманов из Паланги. 1931 г. 27 октября - день рождения Рамуте.)*

- Вам часто приходилось потом вспоминать ссылку и все тамошние испытания? Вы это вспоминаете или никогда не забываете?

- И да, и нет. На этот вопрос я не могу ответить, так же как никогда не могу ответить ни в одной анкете на вопрос, который требует однозначного ответа: “да” или “нет”.

ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ МАРИНЫ

- Вернемся к Цветаевой. Одну из первых ее книг - самую первую - мне привезла из туристической поездки по Болгарии Бируте Петраускайте, моя коллега по редакции детского журнала “Генис”, где мы вместе работали. Вернувшись из поездки, она угостила всю редакцию какими-то заграничными конфетами, а мне говорит: “Теперь я зайду домой”. И приносит мне небольшую голубоватую книгу “Избранное” - это было первое советское издание Цветаевой после войны. До этого в разговоре Бируте обмолвилась, что книги в Болгарии довольно дороги. И тут протягивает мне томик Цветаевой, купленный в антиквариате. Я говорю: “Да, наверное, за эти деньги ты могла себе туфли купить?” Помните, каким дефицитом была в СССР обувь? Она отвечает: “Могла бы. Но я очень хотела привезти тебе эту книгу”. Наверное, так случилось потому, что до этого мы вместе с Бируте уже переписывали откуда-то стихи Цветаевой. Вот она мне ее и привезла - за такую баснословную по тем временам цену.

Потом, наверное, в 1980 году, я сломала руку и, навещая меня, Наташа Кобрина принесла однажды “Скращенные судьбы”. Какое это было для меня... наслаждение? подарок? Правда, у меня уже были воспоминания Анастасии Цветаевой. Прочитав книгу, я хотела ее вернуть Наташе, но она сказала: “Пусть она будет у вас, Рамуте”. Вот такие совпадения словно указывали мне путь, по которому я должна следовать. Муж, вернувшись однажды со Всесоюзного съезда писателей, привез мне двухтомник Цветаевой вместе с чудесными духами - и то, и другое было острым дефицитом в советские годы, которым писателей “оделили”. Потом дочь из Франции привезла Цветаеву по-французски. Теперь, когда она ездит делать кукольные спектакли в Россию, непременно привозит мне новые издания из Дома Цветаевой в Борисоглебском переулке

Москвы. Я ничего не прошу, но как будто все знают, что мне это нужно.

- А когда вы-то сами поняли, что вам это нужно?

- С первого стихотворения. Сразу поняла, что это мое. Что это недостижимо для меня никогда, что это такое же совершенство, как в литовском - стихотворения Генрикаса Радаускаса, хотя это совсем другая поэзия, хрусталь.

- А Марина тогда - кто?

- (после длительной паузы) Думаю, лучше всего подойдет сравнение Маяковского: она - обоюдоострая. Не змея, конечно, но что-то обоюдоострое, что сломать нельзя, но и взять никак нельзя, не поранившись. Но когда берешь и действительно ранишься, происходит что-то важное, ты про жизнь понимаешь что-то главное, существенное.

- Судьба Цветаевой или ее мироощущение с вашими совпадают?

- Отчасти совпадают. Конечно, я не могу с ней равняться. И тем не менее. Ей было 14, а мне - 13, когда у нас обеих не стало мам. Вот, взгляните, мой дневник, в котором я давным-давно записала: "Я о Вас знаю много, Марина. Я люблю Вас. Может быть, все это - уже письмо в пустоту". Я не знаю, когда я это написала, наверное, лет пятнадцать назад. Словом, давно. Читаем дальше: "Но какое-то время пустота была заполнена нашим бытием. Какое-то время Ваше и мое дыхание - были. Какое-то время мы в одно время были на этой Земле и вместе еще будем - под". Наверное, я записала это после очередного соприкосновения с этим обоюдоострым предметом. Нет, не предметом... не знаю, как сказать.

ПИСЬМА В НИКУДА

- А потом настал день, когда вам сказали: "Рамуте, а не переведете ли вы Цветаеву на литовский?"

- Так и было. Сначала в 1999 году меня попросили перевести пять стихотворений Пастернака и несколько - Цветаевой для литовской школьной двухтомной антологии по мировой литературе. Прошло после этого еще несколько лет. И мне уже самой захотелось переводить Цветаеву. Я перевела для себя стихотворений десять. Нийоле Кварацеюте опубликовала их - вместе с этой "ссылочной" историей - в журнале "Krantai" (предпоследний номер за 2008 год). В редакции приняли стихи и очень радовались, что наконец-то Цветаева вышла по-литовски. И теперь впервые вышел целый сборник: "Письма в никуда".

- Как он рождался? Почему в нем именно 47 стихотворений?

- Я хотела перевести около 30 стихотворений. Но смот-

рю, а у меня незаметно уже и 50, и 60 переводов накопи-лось. Но я понимала, что все их брать в книгу не стоит. До-говорилась с издательством “Kronta” о книге. Они тоже очень обрадовались моему начинанию. Потом я посмотре-ла, как переводила хронологически: вот стихотворение 1913-го года, а следом за ним - 1931-го, потом 11-й и 12-й год, а следом - 15-й. Когда переводила одно стихотворе-ние, я не знала, какое будет следующим. Просто открыва-ла все семь томов Цветаевой, которые у меня есть, и ис-кала, что меня зацепит. А в целом получилось, как заме-тила литературовед Виктория Дауйотите, “незначай, а может и осмысленно, но не стремясь к этому явно, выбра-но направление смерти, небытия”.

- Это действительно одна из ведущих тем Цветаевой - еще с юности...

- Вот что пишет Дауйотите: “Хронология Цветаевой - иная. Она может быть и такой, какую предлагает Рамуте Скучайте. Стихотворения - в направлении смерти, где время застывает у какого-то предела”. А 47 стихотворе-ний - по числу прожитых Мариной Ивановной лет на Зем-ле, каждое - как роза на ее несуществующую могилу.

- Ваше впечатление о первой презентации книги, состоявшейся в ноябре в Музее театра, музыки и кино Литвы.

- Я думала, придет от силы - два ряда слушателей, по-тому что лично пригласила лишь семерых. А оказался - полный зал, и литовцев, и русских, по-настоящему любя-щих поэзию Цветаевой и объединенных ею, даже шире - поэзией в целом.

- Хотелось бы вам продолжить эту работу, опубликовать еще неиспользованные или новые переводы, собрать их под другой темой или по иному признаку?

- Пока не знаю. Потому что в последний год, когда я интенсивно переводила Цветаеву, несмотря на то, что это было огромным наслаждением, но в то же время и той са-мой обоюдоострой раной. Долго с этим жить трудно. А ес-ли не жить - нечего и браться переводить такого поэта. Это вовсе не то же самое, что переводить, скажем, опер-ное либретто: сочинил арию и гуляешь себе... Впрочем, я зря грешу на оперу - она научила меня многому. Когда идешь рядом с музыкальным текстом, он тебя жестко ог-раничивает: мало перевести все в такт и в размер, самая высокая нота в арии должна совпасть с главным словом. А когда переводишь Цветаеву, пока ты с ней, то и она - с то-бой. А это тяжело. Так же, как при жизни с нею было тя-жело ее близким.

- Но зачем-то она нам нужна, Рамуте. Из меня после вашего вечера просто хлынул поток ее стихотворений, я

все время перебирала в памяти ее стихи, отдельные фразы, которые не перечитывала много лет. Разбирала чуть ли не по звукам и буквам. И оказалось - все живо. Вот оно - просто под рукой. Выходит, зачем-то она нам нужна, этот пульсирующий голос. Хотя многие годы не был нужен, казалось бы. И это поразительно.

- Так оно и есть. Я еще кое-что поняла из тех писем Цветаевой, что недавно неожиданно нашли в Вильнюсе в старом доме на чердаке на улице Паупио. Между прочим, одна русская, филолог, сказала мне несколько лет тому назад, что в них нет ничего особенного, в этих письмах, потому что там в основном быт, и Цветаева унижается до попрошайничества. Она и в самом деле просила у своего адресата и дальней родственницы - Натальи Александровны Гайдукевич - 50 франков на то, чтобы купить шведский примус. Потом, в ответном письме, которым мы не располагаем, Гайдукевич, по-видимому, как-то поиронизировала над этой просьбой, хотя 50 франков все же прислала. И Цветаева ей пишет: "Наталья, не смейтесь над примусом. Это друг". Сразу такая прозаическая деталь переводится из быта - в бытие. И в одном из последних писем Наталье Гайдукевич Цветаева пишет: "Мур не придет на мою могилу. Зачем? Не интересно. Кроме того, там все равно никого нет". Она это сказала в 1934 году. Значит, с этим предчувствием жила задолго до рокового 1941. Боюсь, это было не только предчувствие, но - ЗНАНИЕ этого факта. У нее есть свидетельства в стихотворениях о том, откуда мы приходим и куда уйдем. Как будто ей одной это известно, и она чуть-чуть приоткрывает для нас эту завесу: мол, смотрите... Она все время чувствовала, что ее телесная оболочка - ничего не значит, потому что любить она могла и мужчину, и ребенка, и примус, и дерево. Потому что действительно любила всей душой, а телом пользовалась лишь постольку-поскольку. И даже это ее высказывание ВСЕ РАВНО НИКОГО НЕТ можно истолковать двояко: или в самом деле об этом никто ничего не знает, или отбросить тело - все равно, что сбросить одежду. Она или предчувствовала или абсолютно точно знала. Но даже все ее предчувствия - обоюдоострые...

ноябрь 2008, Вильнюс

МАРЦЕЛИУС
МАРТИНАЙТИС
К.Б.
О
ВИРТУАЛЬНОЙ
РЕАЛЬНОСТИ
↑

Помнишь, тогда -
мы оказались в электронном пейзаже.
Всё там было такое же -
только мягкое и прозрачное.
Камни там были податливыми и тёплыми изнутри,
как водоросли,
а горы напоминали туман:
сквозь них пролетали большие светоносные птицы.

Окутаны электронным ветром,
мы попали в удивительное пространство -
невесомых и нереальных
нас транслировал неопознанный мощный источник.

Нас окружали прозрачные стены,
и ты была вся прозрачна,
как ранняя мгла:
ты двигалась, не задевая и не тревожа,
а намагниченные слова
были как дуновение:
они легко шевелили траву, и листву,
и твою одежду.

Мы испытали несказанную лёгкость:
мы смогли перейти,
перелиться друг в друга.
Но как только это случилось,
нас немедленно выключили.

Марцелиус Мартинайтис - один из самых интересных поэтов старшего поколения. Его цикл иронических стихотворений, раскрывающих литовский национальный характер, "Баллады Кукутиса", отчасти напоминают "курзюпский эпос" Самойлова-Абызова.

НЕПИСАНАЯ ПЕСНЯ

продам калитку
крыльцо и крышу
в любую бурю
тебя услышу

косу достану
топор добуду
в любой разлуке
я рядом буду

с такой любовью
ничем не сладишь
тебя баюкаю
а ты мне - плачешь

ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ

Женщина, сидящая рядом,
отодвигается, другая пересаживается так,
чтобы я не задел ее взглядом.
Спросишь дорогу - шарахается вечерний прохожий.
Кошка торопливо освобождает улицу, в поле
пугается лошадь, улетают пчела и бабочка,
юркает в подпол мышь.
Белка сверху косится так,
словно я тут не обязателен.

У меня документы, я не судим,
безоружен, почти без мыслей.

Только всякие паразиты, жуки,
мухи и черви ползают по лицу,
лезут в губы и ноздри,
ищут крови.

Где ни возьмусь, кто-нибудь сразу прячется, убегает,
придирчиво смотрит, вслушивается, делает вид,
умолкает:
я ведь могу поймать, растоптать, истребить.

Есть подозрение, будто я потрошитель,
наильник, составитель разных гербариев,
пьяница, психопат, маньяк, мелкий вор,
отравитель колодцев, извращенец, бывший агент,
беглый каторжник.

Бесполезно упрашивать,
чтобы не убегали, чтобы позволили приручить,
погладить,
поговорить, покормить.

А им - этим пчёлам, телятам, женщинам -
безразлично, что у меня документы,
что я ознакомлен с Писанием, мечтаю стихами,
вовремя возвращаю долги, вношу платежи
и ближнего обожаю как самого себя.

Вот я и таскаю никчёмную вину перед всеми,
кто живёт, кто приходит и гибнет,
кто поёт, грустит и страдает:
куда ни сверну - всюду пустошь,
всюду райское пастбище, облучённое сатаной.

ИСПОВЕДЬ ПРЕСТАРЕЛОГО ГОРОЖАНИНА ПОЖИЛОМУ КСЁНДЗУ

“...А ещё -
в прошлое воскресенье я тут встретил женщину”.
- Ну-ну!
“У неё были так пленительно обнажены колени...”
- Так-так, продолжай.
“Я за ней брёл, как на привязи, и не мог оторваться
от этого чуда...”
- Дальше, дальше.
“Потом она вышла из парка и села в машину...”
- А ты?
“А что я... Поглядел ей вслед и потопал домой”.
- Это - всё?!
“Всё, преподобный отец...”
- Всё?!!
“Да, преподобный...”
- За такое не будет тебе отпущения! Ступай прочь!

ПЕСНЯ ДЛЯ ГУБНОЙ ГАРМОШКИ ИЗ ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО МУЗЕЯ

Одну я помню
среди овечек,
ходил к ней в гости
я каждый вечер.

Носил ей письма
в худом кармане:
она все буквы
брала губами.

Бок о бок спали
в пахучем сене.
А что сегодня,
что стало с нею!

Пастух явился
чужей чужого.
Забрал родную
овечку в жёны.

И все дивились
тому порядку:
мою овечку
он мял, как тряпку.

Моя овечка
щедра слезами:
сперва плясали,
потом связали.

Ужасно ложе
ее сырое:
в постели брачной
хватает крови.

Я на воротах
в петле повисну:
застонет сердце
на всю отчизну.

За мной с ножами
придут подпаски:
и смерть такая
мне слаще ласки!

У ОГНЯ

ДОЛГИМ ОСЕННИМ ВЕЧЕРОМ

Обнимешь поленья - и к дому
прямоком через двор.

Топишь скупой и медленно,
не выпуская книгу, на чьих страницах
беглые разводы огня.

Листаешь и знаешь,
что ни завтра, ни послезавтра
прочитанного не вспомнишь

и не повторишь - это ведь никому не нужно, -
просто тебе тепло.

В стороне от вечера и дождя
у железной дверцы
думаешь неторопливо, долго
и ни о чем -
будто согрел кого-то,
кто не сейчас и не здесь.

И уверенно знаешь,
что хватит сухого тепла
даже на будущий вечер.

Потом засыпаешь, и только с книгой,
ее прижимая к груди
или к сердцу.

А ночью, проснувшись от страха,
тянешься незрячей рукой
к тому, кто не может вернуться.

ОПИСЬ ОБНАРУЖЕННОГО ПРИ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТАХ

Череп, зубы. Сохранились не полностью.
Позвонки, один из которых раздроблен.
Большая берцовая кость. Без пары.

Суставы... Комплектность не установлена. Пясть.

Кисть руки...

Стопа... Локоть... Лучевая кость, заметно искривлена.

Рёбра. Со следами сросшихся переломов.

Типичные признаки воздействия внешней силы.

Ещё. Несколько волосков и лоскутьев ткани.

Пряжка неясного происхождения.

Из вещей не найдено более ничего. Профессия,

возраст,

вероисповедание - неизвестны.

Находка не представляется важной.

Подобные в этих местах обычны: ни в одной
ничего уникального или ценного
для истории нашего государства.

Дальнейшие раскопки решено прекратить.
Земляные работы продолжить.

ВОСПОМИНАНИЯ (КНИГА)

Мы вместе читали книгу.
Я взял за руку.
Обнял.

И вдруг
в книге всё изменилось -
она осталась распахнутой.

Мы потом
не смели дальше ее читать -
как будто в ней кто-то умер, в той книге.

К ВОПРОСУ О БЛАГОНАДЕЖНОСТИ

При содействии матери и отца
я был завербован жизнью в 1936 году.
С тех пор не прерываю сношений с действительностью,
особенно с ее тайными сторонами,
которые доступны только поэзии (и то не всегда).

При помощи тайнописи я вербовал возлюбленных,
секретными взглядами я влиял даже на их походку,
на состояние кожных покровов, тембр голоса,
запах и вкус.

Используя скрытое наблюдение, я накапливал данные
об их полусне и полуяви.

Я добился доверия, искусно применяя подтекст,
прикрывая истинные намерения любовью к природе,
нежностью к бездомным собакам, книгам и музыке.
Всё это - при постоянной оглядке, боязни провала,
забвении любимых умений, смене мест,
подозрительности, лицедействе.

В номере паспорта зашифрован мой генетический код.
Знаю, что по нему я буду опознан только Всевышним.
База моих генетических данных хранится в родных могилах,
Литва, Расейнский р-н, дер. Калнууй, 1.5 м ниже
уровня жизни...

Там ключ ко всему.

Мои пособия - души умерших,
чьим прикрытием выступали бродяги и женщины;
их шифровки
я находил в стихах, словарях и картинах.

Мои стихи - идеальный способ вербовки, -
у меня имеются связи в Стокгольме, Осло, Таллине
и Москве
(слово “Кукутис” - типичный шпионский шифр)...
Суду я готов сообщить подлинные фамилии, адреса,
как и когда стихи работали с агентурой.

Как вам известно,
я поддерживал тайные контакты с животными -
с целью воздействия на повадки людей.
Практикуя посев, поливку, подкормку,
я сообщал растениям сведения о зарождении, развитии,
росте,
приобретенные мною в процессе зачатия, воспитания,
размножения, потребления и т.д.

Уже обнаружено, что в подполе я укрываю картофель.
Каждой весной я прячу в землю горошины,
которые, прорастая, повинуются лунному свету -
их чувственные мембраны реагируют на разговоры мёртвых.

Вот так, господа.
Что же касается мелких провинностей,
я бы просил беспокоить лично Господа Бога.
Там самые верные сведения.

*Перевел с литовского
Георгий ЕФРЕМОВ*

МАРЮС

ИВАШКЯВИЧЮС

**ЗЕЛЁНАЯ
ЧЕРТА**

*Границы все равно останутся, ибо
они украшают мир...*

Томас Венцлова

Роман М. Ивашкявичюса “Зелёные” опубликован в 2002-м. Полемика, которую он вызвал, не утихла почти три года. Вот фрагменты двух наиболее характерных откликов на появление этого романа (материалы взяты с интернет-сайта газеты “Республика”).

“В романе “Зелёные” Ивашкявичюс глумится над тем, что было и будет самым болезненным и дорогим для народа - героическим партизанским сопротивлением оккупации... Ивашкявичюсу неважно, что освобожденный народ, благодарный защитникам своей свободы и чести, воздаст запоздалые почести павшим героям, воздвигает им памятники, называет их именами военных гарнизоны, школы и улицы... Мы надеемся, что... общественность будет проинформирована, чьими усилиями и на какие средства было издано это произведение, порочащее Литву, ее честных граждан и, не в последнюю очередь, Союз литовских писателей”

(Из Обращения к писателям Литвы, подписанного ветеранами антисоветского партизанского движения)

“...Талантливый автор приносит... гораздо больше вреда, чем какой-нибудь бездарь. В отдельных столицах, я полагаю, существует явная политическая заинтересованность в безотлагательном переводе хотя бы авторского вступления к этой книге... В ней сконцентрирован не “инопатриотизм” (по собственному выражению Ивашкявичюса), а “иновосприятие” истории... Нет

Марюс Ивашкявичюс - самый яркий и к тому же молодой (нет еще и 40) литературный феномен современной Литвы. Автор множества эссе, а также нескольких великолепных пьес (“Ближний город”, “Мадагаскар”) и романов. Ни один из них не был опубликован по-русски полностью, поэтому мы предлагаем фрагменты романа “Зелёные” (о лесных братьях) в переводе и с предисловием Георгия Ефремова - Т.Я.

смысла дискутировать с политическим... недорослем, слишком их много не только в Москве, но и у нас в Литве... Проблема тут - во вкусе и такте. Она сопряжена как с неординарной темой, так и с ракурсом изображения, с авторским методом, который я мог бы назвать псевдофактологической провокацией. Если бы не имена литовских борцов за свободу, остался бы только один вопрос: как автор понимает нашу партизанскую войну и почему он видит ее такой - грязной и во многом бессмысленной?.. Я уверен: об этой книге говорили бы много меньше, если бы не спекуляция подлинными именами. Переименуем генерала Йонаса Жямайтиса в некоего Шимаса Йонайтиса, - и почти весь газ улетучится, шарик сдуется. Издатели могли бы с позволения автора провести такой эксперимент, и всем тогда стало бы ясно, что относится к сфере коммерции, а что нет..."

(В. Ландсбергис, "Джордж Вашингтон мочится в ведро")

Сам автор на вопрос корреспондента "А не стоило ли заменить фамилию Йонаса Жямайтиса?" ответил: "Полагаю, это не уберегло бы меня от скандала. Сейчас прозвучит смешно, но я не менял фамилию Йонаса Жямайтиса потому, что считал себя автором патриотического романа. Хотел реанимировать в литературе послевоенную тему, хотел, чтобы об этом снова заговорили..."

Критик Лаймантас Йонушис в статье "Когда рана еще открыта" так охарактеризовал книгу: "Это произведение, как и всякая добротная литература, шире и глубже любой рациональной оценки. Иначе говоря, искусство выше идеи... Это книга не о послевоенном сопротивлении, это современный роман, ось которого - один-единственный послевоенный день, 21 августа 1950 года. Медленный, оцепенелый ход этого дня, вместе со всеми сюжетными вкраплениями, передает безнадежную вязкость войны в преддверии неминуемого поражения. Но главное в другом. Поход Литвы к свободе (где заслуги Витаутаса Ландсбергиса весьма велики) оказался гораздо успешнее, чем кому-то казалось. Мы уже достаточно зрелый, защищенный и крепкий народ (по крайней мере, та его часть, к которой принадлежит М. Ивашкявичюс и его читатели) и поэтому можем на язвы прошлого глядеть без конвульсий, без кликушества, а иногда и с улыбкой... Рана... уже зажила, и читателями Марюса Ивашкявичюса не надо объяснять прописные истины. Не надо требовать, чтобы автор расшибал себе лоб, раболепно доказывая собственную благонадежность. Не надо цепляться к словам, придирается к выводам, ведь, "если брать широко, литовцы сражались с русскими" (это и происходит в романе), хотя "не государства воевали друг с другом", ибо Литовское государство упустило возможность к сопротивлению еще в 1940 г. В. Ландсбергис задается вопросом, "как бы выглядел в Соединенных Штатах роман о войне за независимость, где Джордж Вашингтон мочился бы в мусорное ведро, а остальную часть книги занимали бы эротические видения руководителя государства?" Ответ: выглядел бы совершенно нормально. Несколько лет назад в Америке появился роман Поля Люсье (Paul Lussier) "Последнее прибежище негодяев", где Джордж Вашингтон вспоми-

нает на смертном одре, какой была “на самом деле” та война - оргией мерзости, алчности и распутства. В романе М. Ивашквичюса ничего подобного нет...”

Наверное, не так уж важно, что рептильные патриоты назвали Ивашквичюса чуть ли не “литературным ждановцем”. Такой пафос характеризует не книгу и автора, а уровень критики.

Дело, мне кажется, в другом.

Мой школьный учитель литературы, известный критик Виктор Камянов, давным-давно сказал (пусть и по другому поводу): “Анджей Вайда поднялся на такую высоту обобщения, с которой обе стороны баррикады выглядят одинаково мелкими”.

По-литовски одинаково пишутся и звучат слова - “мелкий” и “подробный”.

О Марюсе Ивашквичюсе можно сказать, что он воспринимает события с такой глубины и с такой остротой, откуда все выглядят одинаково крупными.

Хотелось бы (но сейчас не стану) говорить о стиле. О том, как замысловато устроена в романе “мелко рубленая” фраза. Можно рассмотреть, как работают в этой прозе глаголы. Важен итог: Ивашквичюс не позволяет действию заслонить человека. Не разрешает цвету уничтожить оттенки.

Как тут не вспомнить, что зелёный цвет - значим и страшен не только для литовцев и не только для той поры.

Перед нами хроника безумия и любви. Роман о вине. Великой и малой. О том, что “если найти подходящую точку обзора - с одинаковой ясностью станут видны все стороны времени.” О том, что “всегда кого-нибудь предаешь”.

Можно сказать, что автор книги одержим истреблением стереотипов. И в этом смысле он, несомненно, смягчает нравы.

Тут нет гениев и злодеев, ни тт. Сталина и Гитлера, ни гг. Черчилля, Рузвельта или Сметоны. Есть результат их кипучей деятельности.

Никто ничему не удивляется. Даже земля. “И она заплакала, потому что была бесплодна”.

Один из персонажей книги спрашивает: “Жямайтис, как это можно - предать и при этом не изменить?”

Это рассказ “о двадцать первом августа пятидесятого года. Таковым был этот день, когда ничего не случилось. Когда никого не убили”.

Так что роман этот отчасти фантастический.

Это роман не военный, - гражданский.

Если позволено допустить, что люди все-таки братья, тогда неминуемо обнаружится, что любая война - гражданская.

ГЕОРГИЙ ЕФРЕМОВ

ВСТУПЛЕНИЕ

С какого конца ни возьми, все равно запутаешься. В природе - бесчисленны цвета и оттенки. И каждый достоин битвы. Так и в этой войне, если брать широко, шла борьба за зелёный. Цвет наших лесов. Люди шли против *красного* - это цвет вражеской крови. Хотя случалось оборонять *желтое* от *зелёного*. Было и так.

Еще они бились за свое убеждение, что обязаны быть свободными, против чужой уверенности, что - не обязаны. Но это уже чересчур широко.

Это была самая середина двадцатого века. Некоторые называли его золотым. Но иногда у того, что блестит - сияющая поверхность и совершенно гнилое нутро. Они были внутри ослепительного - двадцатого - века и ничего не знали о блеске.

И география поначалу была широкой. Ту же войну вели многие - от Украины на юге до Эстонии где-то на севере. Но под конец они остались одни.

Ими просто-напросто овладела навязчивая идея - иметь собственную державу. Она была у них двадцать лет, между двумя мировыми войнами, они согласились тихо перетерпеть Вторую и горестно изумились, когда война эта кончилась, а державу им не вернули.

То же самое, если позволить волнам перекатиться через настил моста. Ты ведь знаешь: волны отхлынут, а мост никуда не денется.

В узком смысле были они литовцы - народность севернее поляков, южнее Риги. И все они делали поперёк. Сдавались, когда требовалось воевать. А наступала пора перемирия - все как один хватались за ружья.

Характер у той войны - вертикальный. Обычно как люди воюют: они выставляют свои дружины под собственным цветом и шлют их на вражеский цвет, на чужие дружины. Но это - война горизонтальная. Вот если дружины располагаются внутри небоскреба, скажем, с тридцатого по пятидесятый этаж, и, завидев вражеский флаг между первым и двадцать девятым, получают приказ наступать, вот тогда это будет война, именуемая вертикальной. Местом сражений станут лестницы и пролеты.

У них не было небоскребов. Но армии в этой войне располагались на разных уровнях, на двух этажах. Неприятель базировался на привычной для армии высоте, на такой высоте люди сеют и пашут, устраивают свидания и даже любят друг друга, если нет свободной постели. Литовцы разместили свои дружины там, где никогда не любят, не ходят, а если ходят, то лишь раз и уже навсегда, под гром гробового днища.

“Вертикальная война” - редко употребляемое понятие.

Много чаще такая война называется партизанской. Но это определение - слишком широкое.

В смысле военной цивилизованности это был шаг назад. Европа, избалованная новейшим вооружением и гениальными полководцами, вряд ли могла предполагать, что на ее окраине расплеснется такая неправильная война, которой плевать на самые передовые изобретения. Легкое оружие, оставшееся от всех прошагавших армий, было тщательно собрано, вычищено и применено. Этой войной руководил человек, прошедший в Европе артиллерийскую выучку. Но не было под рукой ни одного орудия. О нем эта книга.

На что эти люди рассчитывали? Поначалу, наверное, думали сами что-то такое выиграть. Потом они надеялись переждать под землей, пока кто-нибудь явится и поможет им победить. Главной из этих надежд была, конечно, Америка. Под конец они вряд ли во что-нибудь верили, просто некуда было деться.

Ни один из них не согласится, что Вторая мировая война была выиграна. В лучшем случае где-то вдали была добыта ничья, но здесь, где они рыли свои бункера, не было даже ничьей.

Такую войну допустимо назвать гражданской. Ибо не государства воевали друг с другом, но одно огромное государство воевало с самим собой, и оно, естественно, полагало своим личным, внутренним делом: какими средствами изгонять солитера.

Это было болью, какую испытывает большая рыба, проглотившая маленькую и начавшая переваривать ту - живую. Или болью маленькой рыбы, которую разъедает желудочный сок.

Проще всего сказать, что литовцы воевали с русскими. Но среди русских попадались литовцы. И в рядах литовцев легко обнаруживается тот или другой русский, тот или другой немец и еще кто-нибудь тот-другой. Мир захлебнулся изменами и злодеяниями, поэтому для большинства его граждан война стала единственным условием существования. Им было неважно, за что и с кем воевать.

Но, если брать широко, литовцы сражались с русскими. Так было в тринадцатом веке, в четырнадцатом, в пятнадцатом, иногда в шестнадцатом и позднее. Но этот их бой (на сегодня) был самый последний и самый отчаянный.

Десять лет - и для войны серьезное испытание. Правда, история знает войны тридцатилетние, даже еще более долгие и седые. Сначала это была интеллигентская, довольно цивилизованная война, хотя все равно вертикаль-

ная. В ней командовали образованные офицеры, а воевали студенты, поэты, медики, все, кто не сбежал на Запад - в надежде, что сам этот Запад когда-нибудь сюда прибежит. Об этом сложены песни. Вскоре поэтов, медиков и блистательных офицеров война повыбила, а новые интеллигенты были излишне образованы для того, чтобы жертвовать жизнью за цвет. И война начала дурнеть. В нее влились деревенские парни, глухо слышавшие о чести и человечности. Для начала они переняли методику и стратегию неприятеля. И эта война стала жестокой уже обоюдно.

Человеку пробило осколком живот, он лежал и рычал от боли. Другие привели голодного борова. И тот, ничего не зная о чести и человечности, обнюхал пробитый живот и сожрал все внутренности.

Это лишь маленькая деталь войны, правда, способная потрясти сознание тех, кто знаком лишь с блестящей поверхностью золотого века.

Кто бы ты ни был на этой войне: простой колхозник или даже глава колхоза, лоялен к кому-нибудь из воюющих или ни к кому не лоялен, - война все равно бы тебя нашла. Ибо все, кто привык спокойно возделывать землю, наплевали на убеждения и жили, попросту говоря, на одной из лестничных клеток этой многоэтажной войны. Там, где временами происходили битвы.

Лишь города стояли, как неприступные крепости. Война в города не лезла, ибо мостовые нарушали ее вертикальность.

Но городов было немного.

В эту войну было вовлечено около двадцати тысяч литовских бойцов. Иногда столько, иногда меньше. Но ни разу они не собирались кучно, ни разу не встретились, жили под печками, под церковными алтарями, строили бункера и на кладбищах.

И все-таки это была война, как бы странно она ни смотрелась. Самая большая война золотого века - для этой народности.

И люди, выбравшие эту войну, когда-то водили автомобили, видели Бельгию и Швейцарию, держали сбережения в банках и делали многое, чего не смог бы вообразить встретивший их под землей.

Если глядеть с поверхности золотого века, - занятная это была война. Хотя ничего она не решила - как и другие войны.

Занятный был век, только и скажешь. И эта книга вовсе не о войне и литовцах, она - позолоченный век глазами одного человека, которому чаще случалось глядеть на него сквозь прицел винтовки.

Йонас Жямайтис - так человека звали. Все остальное, что тут написано, является чудовищным измышлением.

И еще. Взгляд на эту войну - совершенно с другой стороны.

Рядовой человек, невиноватый в том, что родился русским (хоть это - не только национальная принадлежность), четыре года служил пушечным и танковым мясом. И он, этот русский, это вот мясо, пытается снова стать человеком. Он победил в величайшей всемирной битве, он идет по своей, отвоеванной у врага земле. И вдруг до него доносится слух, что где-то на окраине этой земли объявились выродки, стреляющие в его соратников.

Я, на месте этого человека (но только - если бы я был русский), ни о чем бы уже не думал, поскорей уложил бы ранец и отправился кончать негодяев. Русский - он так и сделал. Но нашел совсем другую войну. Вялую, тягостную, истощающую терпение, - ибо таков литовский характер.

И внезапно этот невиноватый русский, бывший пушечным мясом, чувствует страшное утомление. Но то же самое утомление чувствуют и подонки, что бросили русскому вызов. И все это очень напоминает схватку двух чернокожих боксеров в двадцатом раунде. Трудно уже - не ударить, а просто двинуться со своего истоптанного пяточка.

Вот о чем еще эта книга. О безмерной усталости. Последнем, смертельном броске из глухого угла.

Я бы на месте русского никуда не ездил, а на месте того литовца - поглядел бы на золоченый век сквозь мутный от молока стакан. Но я это все говорю, пребывая в покое и безопасности за границами золотого века.

Война, Литва, сороковые-пятидесятые. Что тут еще прибавишь. Жизнь - вертикальна. Чувства - горизонтальны.

Вообразим себе лес, где, кажется, нет никого. Или часы с кукушкой. Ее голова всегда появляется неожиданно. А теперь - часы без кукушки. И свою спокойную жизнь под тиканье этих спокойных часов. И свою оторопь, когда в этом до боли родном механизме вдруг раздастся кукушка.

Мы и сами шутили, что постороннему это наверняка показалось бы адом. Если он в детстве слышал от бабки, как разверзается ад, - теперь, в августе 1950-го, мог бы сам убедиться. Юозас Каспяравичюс лез нарочно первым из бункера, отшвыривал крышку и высовывал голову так резко, будто за всем этим и впрямь наблюдал посторон-

ний, которого бабка пугала рассказами, как разверзается ад.

Что мы там делали?

- Тихо, как после потопа, - это Барткус. - Юозас всех напугал.

Мы жили.

- И жарко, в пору прыщи подсушивать.

А наверх выбирались, чтобы проверить - правда ли.

- Достанусь тому, кто меня вытащит, - говорит Молочница. - Даже прышавому.

Руку ей подает Барткус, ведь Каспяравичюс ищет тех, кому бабка рассказывала, как разверзается ад. Только Молочница никогда не достанется Каспяравичюсу или Барткусу, ей нравится быть со всеми. Она "Молочница" - из-за грудей. Большущие. И почти всегда работают по назначению. Сколько детей у нее - не знаю. От кого и когда они у нее заводятся - тоже тайна для всех. Известно, что она делала до войны, наверное - ребятишек рожала. Во время войны - то же самое. А вообще-то она связанная. Пусть меня Бог разразит, что хвалю негодную мать, но связанная она - Его милостью.

Мозура - немая гора. Выкарабкивается быстро. Он еще - терпеливый, упорный. Разве что исполинский рост помешает ему изображать примерного земледельца межвоенной поры - в будущих школьных учебниках. Трех немцев уложил пустыми руками. Когда пришли за его коровой. Закопал их на глубине два метра, поверху уложил скотину. С того злополучного раза лучше всех роет яму под бункер.

- А мне руку?.. - это уже Палубяцкайте.

Выставила над люком ладонь. Зря надеется в этом солдатском братстве найти галантного кавалера.

- Лезь наружу, - ворчит ее брат. - Шевелись, люди ждут.

"Люди" - это он, Палубяцкас. Еще я - Йонас Жямйтис. Отчасти и Зигмас - сапожник без ног. Но Зигмас не ждет, куда ему торопиться.

- Если услышишь шаги, - предупреждаю. - Тссс! - Я имитирую тишину, приставив палец к губам.

- Тссс, - повторяет Зигмас.

Вряд ли он понял.

- Если *тссс* не сделаешь, будет *буф*.

- Буф, - он смеется, довольный.

- Ведь они на тебя только *тьфу*. Тссс, чтобы не было буф. Повтори.

- Тссс, чтобы не было буф. Тьфу-тьфу-тьфу, - повторяет. - *Дунн*, - говорит уже сам себе, когда я с грохотом задвигаю крышку и отъединяю его от всех.

Да, забыл представиться: я командир.

Зигмасу не удается переварить, что ему было сказано: ведь шаги приближаются, не успев отдалиться. Это все еще мы. Лезем обратно, как мыши.

- Переждем, - отвечаю изумленным глазам сапожника.

- Надо присесть на дорожку.

Чувство такое, как будто выпало лишнего полчасика с любимой девчонкой. Потому что *за окнами* дождь. Нет, за окнами шпарит солнце, и я оправдываюсь перед сапожником.

- Ведь если подумать, Зигмас, - я говорю, - мы тебе оставляем такую вонь.

Вряд ли он что-нибудь понимает.

- Если подумать, то да, - сам отвечаю вместо него.

И показываю на ведро в углу. Два дня оно там стоит, и никто его не выносит. А в нем - наша вонь, мужская и женская, которой мы все давно перестали стесняться.

Мы были снаружи, потому-то нам вонь противна, даже невыносима, но она не противна и выносима для Зигмаса, ибо он свыкся с ней, как собака, сующая под себя хозяйские тапочки, когда в доме пусто.

- Хорошо посидели, а? - убеждаю себя и других, но ответа не слышу.

Когда кукушка кричит из часов, где ее никогда не бывало, вместе с ней кричит само беспокойство. Ведь вокруг уйма людей, знающих, как им себя вести, если развернется ад. С ними-то мы и воюем.

Я всех загоняю обратно, потому что мне беспокойно. Лучше сто раз ошибиться из-за этого мерзкого беспокойства, чем однажды подставить себя и всех, наплевав на предчувствие.

Им так не кажется.

Но я ведь предупреждал, кто командир.

- Всё, встаём, - поднимаюсь с места. - Палубяцкас, за бери эту вонь, - показываю на ведро. - Если увидишь, что окружают, выплесни. Тогда им конец: задохнутся.

Снова лезем наружу, только в другом порядке. Впереди - Палубяцкас, с нашим "флагом" в руке.

- Как мы условились, Зигмас, - напоминаю. - Если шаги - *тссс*, а не то *бум*.

Палубяцкас отходит подальше и обстоятельно, небольшими порциями опорожняет ведро. Пусть никто не поймет, что это - испражнения восьмерых, прячущихся в аду.

- Не то *бум*, - вторит Зигмас и показывает, чтобы я пригнулся.

Все равно я должен еще спуститься. Палубяцкас принес мне ведро, и я его ставлю на место.

- Зигмас, говори, только быстро.

Но Зигмас, вместо ответа, хитро зажмуривает глаза и приподнимает одно полушарие тошей задницы, которая для него является нижней конечностью. Потом раскатисто пукает.

Я взлетаю по лестнице.

- Не то бум, - повторяет он с удовольствием. - Не сердчай, командир, это шутка.

“Дурень”, - шепчу про себя и с грохотом задвигаю крышку.

Сегодня у нас воскресенье, двадцать первое августа.

Идем с Барткусом впереди. Он мне - по плечо. Протирает очки и осторожно их водружает на место. Он смахивает на круглого идиота, вернее - отличника. Правда, когда мы однажды прилично его одели и снарядили в Клайпеду, даже Молочница стала шлепать в ладоши и поглаживать то ли его самого, то ли костюмчик. “Барткус, миленький, - прослезилась она, - к такому я приползла бы и на коленях. Плевать, что война, ты слышишь”.

Но надо же знать Молочницу.

- Я и Барткус - финишная черта, - кричу остальным, отстающим, хотя еще четверть часа назад молчком загонял их в бункер. “Сегодня всё как-то не в фокусе, - сказал я тогда вдобавок. - Мы финишная черта, и никто не хочет проигрывать. Знаете, что таких ждет в понедельник, если сегодня действительно воскресенье. Стираное белье и кофе - каждому в отдельную койку. И всем по ведерку”.

- Ведро-то пустое.

- Наполним.

Это наша утренняя зарядка.

Вот Палубяцкасы. Палубяцкас, разменявший четвертый десяток, пышнобровый, черноволосый, с ярко-бледным лицом неизлечимо больного, и рядом с ним такая же бледная Палубяцкайте, только без проявлений болезни, младше брата на десять лет. Дальше - Мозура. Огромный, светловолосый, скуластый, - он бежит, будто гонит впереди себя мяч. Оборачивается и замедляет шаг. Он-то не проиграет.

Молочница, поскользнувшись, валится на Каспяравичюса. Поднимается и бежит в нашу сторону, груди ходят как поршни под офицерским кителем и криво застегнутой блузкой. Бежит и кричит:

- Молочница не проиграла!

Такая у нас война. Великие войны наверняка бы ее пригвоздили к столбу позора. Обыкновенные жизни ее бы всю оплевали.

- Я не должен был проиграть, - говорит Каспяравичюс.

Он даже не тормозит у финиша, идет мимо нас. Скоро пригонит повозку. Садимся и ждем у самой опушки. Дальше - только большое поле.

- Скажите, а мыло-то где? - спохватывается Барткус. - Мыло забыли?

- Мыло там, - говорит Молочница.

- Где там?

- У меня, в дырке зашито. Где там?.. Под деревом мыло. Возле запруды.

- Ладно, - он успокаивается. Достает папиросу, закуривает. - Хорошо, что под деревом возле запруды, правда? - оборачивается ко мне.

- Замечательно, - отвечаю я.

Мы ждем и молчим. Что еще делать. Сидим, как будто перед нами болото. Или трясына. Только не поле. Скорее, море. И смотрим, как удаляется Каспяравичюс. Не провалится?

Так же сиживал граф. С двенадцатого по пятнадцатый год весной, летом, а иногда и осенью, если не было сильного ветра. До двенадцатого болтался по свету, после пятнадцатого болел. А с двенадцатого по пятнадцатый весной, летом, осенью, а иногда и зимой полюбил так вот сидеть. Иногда приходил один, в другой раз с женой, но всегда приносил с собой кресло. И хороших сигар. Кроме него, никто у нас таких сигар не курил. Кресло раскачивалось в песке, покуда не застревало намертво. Тогда он неподвижно глядел перед собой. Но перед графом тогда возникало море, а перед нами - всего лишь поле.

Но Каспяравичюс, кажется, успешно его перешел, ни разу не провалился.

Когда хочу побыть графом, иду и сижу вот здесь. Правда, он (с двенадцатого по пятнадцатый во все времена года) сюда приходил, чтобы почувствовать себя *крайним*. Крайний человек в государстве - берегущий его от моря. А у меня желание - побыть рядовым. Прихожу сюда, к этому полю, чтобы лично проверить, как меня бережет страна.

Граф еще любил хвастать своим новым мостом. Длинный мост, вонзившийся в море. Как благородный перст, указующий неблагородной природе, кто тут кому подвластен. У меня моста нет. Нет ничего в доказательство, что из этого леса к этому полю иногда приближаются люди. Я за этим особо слежу.

Граф еще учинял громовые концерты, в назидание морю. Грянет сокрушительную симфонию, да так, что вол-

на онемееет. И мы иногда устраиваем концерты. Горланим какую-нибудь завалиющую песню нестройными голосами. Но для этого необходима буря. Чтобы гремело, трещало, выворачивало деревья, - словом, в гуле стихии не было пауз. Тогда у себя в подземелье смело можешь орать во все горло.

Граф - тот человек, из-за которого все началось. Человек, который не уберег сограждан от моря. Природа возысилась над людьми.

Это было в пятнадцатом, летом, после обеда, в один из рядовых дней рождения графа. Когда оркестр объявил, в чью честь исполняется Моцарт. Просто сидели в шаге от моря, перебирали свои партитуры и объявили: "Моцарт - в честь графа". И о море - ни слова.

Я тогда прятался в дюнах, пробежался глазами по морю, взвесил графские силы и понял детским умом: море вытерпит увертюру, но графу грозит финал.

Мне было шесть. Я видел море, оркестр, семью графа, бревно и Каспяравичюса. И Елену - девочку в пляжном костюме, под которым еще нечего было прятать. Ничего вызывающего - ничего такого, как сообщение, что оркестр сыграет Моцарта графу. Из-за чего рассердилось бы море.

Она выводила круги на песке. Только это она и умела. Большим пальцем ноги обводить вокруг себя линию - ее личное изобретение. Одна нога неподвижна, а другая - как циркуль. Это она - Елена.

И все это граф не сберег. Сделал одну-единственную ошибку, был слишком в себе уверен.

Поэтому я теперь прихожу на побывку к этому полю: хочу исключить такую ошибку.

Юозас Каспяравичюс, который уже возвращается к нам с подводой, был тогда безымянный сопляк с неприкрытым задом и передом. Там он залез на бревно, выброшенное морем. Долго водил руками по сторонам, как морская курица, пока не грохнулся носом в болотце, намытое штормом. Вскочил - и опять на бревно, и опять руки в стороны, и опять - мордой в песок. Морская курица - Каспяравичюс. Как будто он мог вместе с той лужицей просочиться сюда - в двадцать первое августа пятидесятого года. Там исчезнуть и вынырнуть здесь, на широком поле, идти по которому много проще, чем по воде.

Голый сопляк без штанов... Но он уже здесь, и мы встаем, чтобы лезть в повозку.

- Что слышать? - говорю.

- Стрельба, - с важным видом отзывается Каспяравичюс, - и какая-то корейская ругань. Представляете, так спокойно, что слышно войну в Корее.

- А о чем ругаются? - забирается в телегу Молочница.
- Про тебя ни слова.
- Про Молочницу что они могут: хорошо или ничего,
- она устраивается посередине, лицом к Каспяравичюсу.
- Вот поэтому - ничего... Ты дала хоть одному узко-
глазому разобраться, чем хороша Молочница?
- Корейцу не дам, - она застегивает рубашку, как буд-
то те, что воюют в Корее, могут ее разглядеть. - Говорят,
они никуда не годные.
- Кто это говорит? - Каспяравичюс машет кнутом. - В
Корею? - оборачивается ко мне.
- Барткус с Мозурой устраиваются по левому борту, Па-
лубяцкасы - по правому. Я сажусь на корме.
- В Корею, - отвечаю Каспяравичюсу, - если там есть
запруда и под деревом припрятано мыло.
- Там война как война, - он снова стегает коня, и тот
пускается вскачь. - В Корею? - все повторяет Юозас.
- Да, - отвечаю. - В Корею.

Мы едем купаться в речке.

К одному тележному колесу кто-то приколотил мото-
циклетную шину.

- Красавец, - Молочница восхищается кем-то там,
впереди.
- Конь, что ли? - спрашиваю.
- Точно.
- Нехолощенный, - отвечаю ей.
- Нехолощенный, - зачарованно повторяет она.
- Что-то еще она говорит, только я не слышу.
- Не расслышал, - я говорю.
- Мужик - хорошо, когда холостой, а патрон? - для ме-
ня повторяет.
- Не ори, - просит Барткус, потому что Молочница
раскричалась посреди того самого поля, которое только
что перешел Каспяравичюс, а мы следили, провалится
или нет.

Но это еще сильнее распяляет Молочницу.

- Хо-ло-стой! - она встает и скандирует.

- Крепкая баба, - говорит Каспяравичюс.

Это значит: "Сможет за всех постоять, если вдруг
припрёт".

- Пускай все эти крепкие соберутся после войны и
тогда дерут глотки, - отвечает Барткус.

После этого Молочница меняет пластинку.

- Хрен верстой! - выкликает она теперь, а что мы ей
можем сделать. - Попался бы холостой вот с таким бы
хреном, - тыкает пальцем в коня.

Ничего мы не можем.

Потом она падает в сено на дно телеги.

- А вы? - смотрит мне прямо в глаза.

- Я? - дожидаюсь ее вопроса.

- Возле реки для меня разденетесь?

Ее голова в тени моего локтя. Всегда отыщется кто-нибудь, опоганенный ее грязным ртом. Но всегда найдутся другие, которые защитят ее безупречное тело. Она кукушка, разбазарившая детей, и лает она, как последняя уличная собака, и носит вымя на зависть любой корове. А мужчина жаждет ее сильнее, чем любую другую, и груди ее - огромные и стоячие - его горячат как свобода, о которой можно болтать, но нельзя прикасаться. Слова у нее простые и грязные, через них передается зараза.

Хорошо спросила: разденусь я или нет. Как будто мы каждый день не сидим на одном и том же ведре друг при друге.

- Разочаруешься, - отвечаю, глядя то на нее, то на предмет, который она назвала "красавцем".

- Нет, - отвечает она задумчиво. - И знаете, почему?

- Не знаю.

- Потому что столько раз уже видела, а все равно хочется.

В 1938-м в Фонтенбло знал я другую Молочницу, Наталию, стригся у нее.

- Стригетесь у меня уже год, Жямйтис, - говорила она. - Это что-нибудь значит?

- Все еще нет.

То же самое она ворковала нашему преподавателю по истории артиллерии. Часто так совпадало, что я стригся после него.

- Мсье Жювали, три года вашей головой занимаюсь я, а не какая-нибудь другая. Для вас три года - пустяк, но мне - только двадцать один. Седьмая часть моей жизни, мсье Жювали.

Она была Молочница, только еще юная и наивная. И более хрупкая, потому что жила во Франции и не знала войны.

- Год за годом расчесываю загривки, отгибаю уши, чтобы ножницами не задеть, утопаю в их волосах, а это - все еще ничего не значит.

- Я стригусь только полгода, - поправляю ее.

- Я о мсье Жювали, - она оборачивается посмотреть, ушел ли мсье Жювали. Уже в дверях мсье Жювали ей делает ручкой. - Пока, мсье Жювали. Не перестарайтесь с бриллиантином. Раньше времени обзаведетесь лысиной.

- Натали, почему ты здесь, в Фонтенбло?

- Я Наталия, - уточняет она. - Это - два разных имени.

- Так почему, Наталия, здесь, а не где-нибудь?..

- Вы говорите, Жямайтис, как по прямому проводу из Парижа. Вы почему не в Африке?

- Там не преподают артиллерию.

- Почему не в Африке, а тут - в Фонтенбло, у бедной Наталии, которая для вас до сих пор ничего не значит?

Мы переглядываемся в зеркале. Она упрекает, она состраивает недовольное личико, закусывает губу.

- В Африке нечего делать.

- Для вас там самое место. Они страдают без талантливых полководцев.

- Кто? - я спрашиваю.

- Откуда мне знать - бедной цирюльнице из Фонтенбло. Наверное, обезьяны. Есть у них способные командиры?

- Не думаю.

- Какая-нибудь обезьянка Наталия стригла бы вас годами и не спрашивала, что это значит.

Она сдувает упавшие волоски с моей шеи.

- Так постригу, что и в Париже никто не подумает, будто вы год провели в Фонтенбло.

Подмигивает со значением и продолжает меня общелкивать ножницами.

- Фонтенбло недалеко от Парижа, - она отвечает на давний вопрос. - Но не настолько, чтобы цены были, как там. Вот за что я его люблю и терпеть не могу. Господа, вроде вас и мсье Жювали, платят мне только треть того, что выкладывают в Париже. Все еще удивляетесь, почему я здесь? - опускает руки и выдыхает: - Кому вечно не терпится знать: это что-нибудь значит или не значит, - те в Париже не получают работу даже в дешевом борделе.

Она улыбается белоснежными зубками. Таких зубов и война не портит, достаточно через двенадцать лет заглянуть в рот к Молочнице, удостовериться и, бросив премудрости артиллерии, записаться к дантисту.

- В Париже никто ничего не значит. Езжу туда каждый день и вечером возвращаюсь. Люблю Париж.

- А живешь в Фонтенбло, - говорю.

- И вы за это должны целовать мне ноги. Разве та, которую вы заберете с собой в Париж, вас так пострижет, чтобы никто не учуял, что ваши вещи пылятся в занюханном Фонтенбло?

Я ничего не ответил Наталии, потому что та, которую я заберу в Париж, сначала должна приехать оттуда и оставить багаж у меня.

- Ночуйте в гостинице, - поучает Наталия. - И не возвращайтесь назад в Фонтенбло ни за какие коврижки.

- Какая разница, где ночевать?

- Переночуйте в Париже, а тогда спрашивайте, есть ли разница. Париж надо весь вдохнуть. Если вдыхать его с Фонтенбло, Фонтенбло пересилит.

- Не так страшен чёрт, как его Фонтенбло, - усмехаюсь я.

- Спасибо, - она роняет ножницы и подхватывает расческу. - Ваш - тоже. Можете сделать приятное мсье Жювали, только не мне. Для меня, как для вас, Жямайтис, это лишь временное пристанище.

Наталия берет бритву и, наморщив лицо, бреет мне шею. Ее это старит.

- Она француженка? - спрашивает подчеркнуто резко.

- Это моя сестра.

- Тогда вы должны побояться Бога и кровосмешения. И кровосмешения, - подчеркивает она. - Вы пришли раньше обычного.

- Она не француженка, - отвечаю я. - И мне она как сестра.

- Это другое дело, - она улыбается. - Ей еще неизвестно, что за левым ухом у вас небольшая родинка?

Она отгибает мое левое ухо и всматривается так, словно видит улику против той, что поедет со мной в Париж.

- Думаю, что уже известно.

- А я не думаю, потому что три недели назад ее здесь не было. Да, Жямайтис. Нефранцуженка поедет с вами в Париж, ничего-то о вас не зная.

Говоря по правде, Наталия - подлинная отрада после мужской компании курсантов-артиллеристов. Она - родоначальница артиллерии, бьющая далеко и почти без промаха. Наверное, за это ее так любит мсье Жювали.

- Родинки так быстро не вырастают, - говорю я.

- За левым ухом у вас родинка, - возражает Наталия. - И там она будет всю жизнь.

- Не слишком тяжелая ноша, - я прикасаюсь к левому уху, давая понять, что беседа о родинке завершена.

- Она нефранцуженка и, конечно, безумно красива, - гадает Наталия. - Она молода, только что кончила школу и еще не видала Парижа. Для нее в Париже вы будете богом.

- Не очень тепло, - я пытаюсь ее охладить.

- Ага, она не слишком красива и сейчас проживает в Париже...

- Она на десять лет тебя старше, - я обнадеживаю Наталию. - Превзошла все науки и ни разу не бывала в Париже.

- Жямайтис, вы не сказали главного, - ее ножницы застывают у меня над макушкой.

- Она красива.

- Красивей, чем я? - ножницы в ее руке неподвижны.

- Она нефранцуженка.

- И я нефранцуженка.

- Она красивее, чем мсье Жювали, - кажется, я нашел выход. - Красивей в пять раз. Даже в шесть...

- Не юлите, Жямайтис.

Ножницы все еще висят над моей головой.

- У нее Зелёные глаза и рыжие волосы. В ней нет ничего романского. И славянского ничего.

- Мне наплевать, чего у нее там нет, - не унимается Наталия. - Я спрашиваю, кто красивей?

- Чёрт возьми, Натали, я пришел сюда стричься...

- Я вам не Натали и мне все равно, для чего вы пришли.

- Ладно, Наталия. Она красивей тебя в семь раз.

- Ну и отлично, - она опускает ножницы и стрижет меня дальше. - Та, что красивей меня хотя бы на родинку, может везти вас в Париж.

Какое-то время она молчит и торопится, эта спешка - не на пользу моей шевелюре.

- Вы в Париже редко бываете, - наконец говорит она.

- Почти совсем не бываю.

- Там никто ничего не значит, - повторяет она. - Славянки, романки, обезьянки. Если обезьянка Наталия будет красивей меня, - она в Париже найдет работу.

- А если будет парикмахершей в Фонтенбло, не найдет ни одного клиента.

- Правильно, - она растирает в ладонях бриллиантин и смазывает мне волосы. - Как зовут эту нефранцуженку?

- Елена.

- Ну, Елена - нет, не француженка.

- Нет.

- Хороша?

- Божественна.

- Старовата.

- Тридцать один.

- Национальность?

- Литовская. Как у меня.

- Редкая нация.

- Не такая уж редкая.

- Сбоку от Польши?

- Сверху.

- Не бывала в Париже?

- Ни разу.

- Теперь она где?

- В Париже.

- Вы лжете, Жямайтис.

- В Париже. Прямо сейчас - ее поезд. В пятнадцать тридцать. Из Берлина.

- Сейчас ровно пятнадцать тридцать, - она смотрит на часы.

- В пятнадцать тридцать - ее поезд.

- В пятнадцать тридцать вы сидите в Фонтенбло и стрижетесь у бедной Наталии.

- В пятнадцать тридцать она должна сойти в Париже.

- Уже пятнадцать тридцать одна.

- Значит, она сошла.

- Поезд опаздывает, раз вы тут сидите.

- Она в Париже, - упорствую я.

- Тогда мчитесь в Париж, на перроне полно бродяг.

- Она доберется до Фонтенбло.

- Она впервые сошла в Париже!

- Да, - говорю. - И скоро сядет в поезд на Фонтенбло.

Наталия откладывает расческу и смахивает волосы с моего лица.

- Сверху от Польши - наверняка - самое грандиозное Фонтенбло на свете.

- Фонтенбло только здесь, - отвечаю. - Сколько я тебе должен?

- Пять франков. В Париже было бы целых пятнадцать.

- В Париже я дал бы двадцать. Здесь выложу семь.

- Пять франков, - повторяет Наталия. - Запаситесь деньгами, Жямайтис. Она не сядет в поезд на Фонтенбло. Вам придется ее искать по всему Парижу.

- Семь, - я отсчитываю семь франков. - Сверху от Польши никто не знает, что Фонтенбло - это не Париж.

- Сверху от Польши, наверное, свищут ветры и ходят белые мишки.

Я так и держу семь франков.

- Она не такая красивая, как я думала, если едет в Фонтенбло поездом.

- Разве мало красивых женщин ездит в Фонтенбло из Парижа?

- Но не так, - упорствует Натали и не берет с меня даже тех пяти франков, бросает работу, потому что клиентов нет, и идет со мной.

- Не приедет, - твердит она уже на вокзале.

Но Елена уже спускается из вагона.

- Это она? - спрашивает Наталия.

- Елена, - говорю я.

- Ничего, - признается она. - Ну и что вы стоите, неотесанный солдафон? Дама приехала из самого Парижа!

- Через Берлин, - добавляю я.

- Несите куда подальше от станции свое чудо и больше не путайтесь у меня под ногами. Я вас не стригу, Жямайтис. Вы габуица. Бездушный снаряд.

- Красивые? - говорит мне Молочница и показывает зубы, в них зажата соломинка.

Едем мимо Америки, обыкновенной деревянной избы с такой кличкой, и наш конь косит на нее глазами: там его стойло.

Внутри есть древний приемник “Филипс”, его в незапамятные времена хозяин получил из рук самого президента, но эта история - слишком долгая. Сэр Вашингтон - такой псевдоним у хозяина - держит аппарат под кроватью. И каждый раз, когда мы приходим, вытаскивает. И тогда рапортует: “радио президента Гринюса*, переданное взамен двух коров Сэру Вашингтону, стороннику земельной политики, на последней неделе говорило о том-то, тогда-то обещано вмешательство Запада, был такой-то намек между строчек, утаено: то-то и то-то”.

- Красивые? - слышен упрямый вопрос Молочницы.

Она выволакивает меня из-под кровати Сэра Вашингтона и тащит обратно в повозку.

- А как же, - я говорю.

Но тогда она спрашивает:

- А как же?

Мир заунывно сам себя повторяет.

- Очень. Красивей не видел.

Вместо шумных парижских улиц предлагается растрепанная стерня и подвода с прибитой мотоциклетной крышкой; вместо гостиницы, позволявшей вдохнуть Париж без примеси Фонтенбло, - бункер, в котором краснеешь, если твоя персональная вонь перебивает чужую; и никого взамен бедной Наталии, пусть под другой фамилией и национальностью.

- Кто она? - Елена, застыв посреди Парижа, глядит на меня, и за ее спиной начинают сгущаться прохожие образца 1938-го.

- Бедная парикмахерша.

- Вот как, - она убыстряет шаг.

- Это она сама без конца повторяет, - оправдываюсь я.

- А ты ее утешаешь.

- Я стригусь. И она нефранцуженка, - добавляю.

- А говоришь о ней всю дорогу.

- О чем же мне говорить, Елена? Об артиллерии?

- Об артиллерии, - последнее слово она говорит по слогам, веско и плотно, словно выкладывает фундамент для возведения артиллерийской беседы.

* Казис Гринюс (1866-1950) - выдающийся деятель национально-освободительного движения, выпускник медфака Московского университета, президент Литовской республики в 1926. Свергнут в результате военного переворота (здесь и далее прим. пер.).

- Эта Наталия каждый вечер ездит в Париж, - невольно объясняю я. - Она форменное противоречие. Укоризна - себе и другим. Она любит только Париж и не хочет, чтобы в Париже кто-нибудь полюбил ее. Поэтому каждый вечер она возвращается.

- Ты говоришь о ней без остановки, - Елена беспомощно разводит руками.

- Обыкновенная парикмахерша из Фонтенбло, - объясняю я. - Не годится, чтобы в Париже из-за нее разгорались такие страсти. Никто ей не нужен. Хотя, по первому впечатлению, она претендует на всех. Кроме того, она назвала тебя чудом.

Елена прикрывает глаза. Она не близорука, просто смежает глаза, чтобы ясней разглядеть: что там прячется за словами.

- Она что имела в виду? - спрашивает Елена.

- Поезд Париж-Фонтенбло.

- Поезд? - повторяет, как будто я подтвердил все ее догадки.

Но едем мы не купаться в речке.

Тут дело довольно запутанное.

Мы уьем одного человека. А искупаемся по дороге.

У этого человека в кармане мой паспорт. И он всегда там лежал. А у меня - его паспорт, если так можно сказать. Хотя, по правде, у каждого паспорт свой. Даром, что одинаковые.

С этими паспортами хватало мороки еще до войны. Мне приходилось доказывать, что я не владелец полугектара леса и налоги ко мне не относятся, а он объяснял, что не годен для армии и почему это вдруг он должен идти командовать арполком.

Но это была довоенная путаница, я не платил налоги, потому что он их платил, а воинское начальство оставляло его в покое, едва появлялся я.

Просту говоря, он - Йонас Жямайтис. Не такое уж редкое имя, не такая редкостная фамилия, и ничего удивительного, если так совпало - и у нас похожие сложности.

Он старше меня года на три. Ростом не с Мозуру, но все-таки. Кость у меня пошире, и его я, наверное, перевешу.

Как-то мы встретились. Это было еще до войны, и за долго. Потом раза два, уже во время войны. И теперь вот снова готовимся.

В телеге ни для кого не тайна, куда мы едем, но все об этом молчат, потому что никак не скажешь "прикончу Жямайтиса Йонаса", когда Йонас Жямайтис сидит и тря-

сется рядом, он командир для тебя и таких, как ты - их еще двадцать тысяч. Сказать надо так: “Прикончу другого Жямайтиса Йонаса, который не командир, нет у него подчиненных, кроме собственных грязных рук”. Когда тебе надо столько сказать, лучше вовсе не заикаться.

Я не поверил рассказам, что Йонас Жямайтис вернулся. Отправил Молочницу, она разузнала и подтвердила.

- Говори, - я велел ей тогда.

- Про кого? - у нее получился умный вопрос.

- Про Жямайтиса Йонаса.

- Он наш командир, - был ответ. - Герой, если не больше. Легенда.

- Помолчи. И давай сначала.

И она начала сначала.

- Сволочь, если не больше. Выродок. А живет - хоть бы что.

И пускай она не прибавила ни одного незнакомого факта, ни одной потаенной вины, просто пересказала то, что мы уже знали, - у нас налились кулаки и вскипела кровь. Живет - хоть бы что. Вот источник нашей злобы, хотя и так хватало причин укокошить беднягу.

- Это же он тогда их привез прямо русским в лапы.

- А живет - хоть бы что.

- Хоть бы что!

- И еще под такой фамилией. Он изгадил вашу фамилию.

- А живет - хоть бы что.

- Хоть бы что!

- Жилка не дрогнула. Вёз - как молоко сдавать.

- А живет - хоть бы что.

- Хоть бы что!

- Мы по Вильнюсу его искать собирались. Говорили, в Вильнюсе будем искать.

- А живет - хоть бы что.

- Хоть бы что!

- Она и винтовку толком держать не умела. Жила - хоть бы что.

- А он ее - как дровину, под корень. И сгрузил, как на бойню.

- И живет - хоть бы что.

- Хоть бы что-нибудь!

Его смерть нам была нужнее, чем свежий воздух. Как будто мы многие годы загибались в невозможном чаду. А кто-то шел мимо и закричал: “Откройте окно”. - “Оно заколочено, - сказали бы мы. - Снаружи. Наглухо”. - “Что вы, - нам бы ответили с улицы. - Дураки. Ну какие же вы дураки!”

И этот свежий глоток был нашей сегодняшней целью.

День был - двадцать первое августа. Ехали мы к тому, кто научился жить - хоть бы что.

- Если я вгону вам в ногу расческу, - говорит мне теперь Молочница, а мы едем по полю. - Вы расческой до головы достанете?

- Редкая гадина, - говорила она тогда, когда вернулась и подтвердила слухи. - Этот Жямайтис Йонас. Но люди уже перестали вас путать.

- Я бы могла, - теперь говорит и улыбается. - Но у меня все внутри бы лопнуло. Я бы вся треснула пополам...

- У вас бы тоже не получилось, - сомневалась тогда. - Это его имя-фамилия...

- Мало ли кто бродит по свету в башмаках твоего размера, - я ей ответил. - Прикончу и не задумаюсь.

- Башмаки - дело другое, - сказала она.

Она хотела сказать, что непросто прикончить того, в чьей голове твое имя с фамилией получают совсем другой смысл. Его смысл.

- Но вы же ногу на ногу как следует не закинете, - говорит она мне теперь. - Вы совсем нескладный.

- Неправда, - я отвечаю. - Я даже люблю так сидеть.

- Видела я, как вы двигаете ногой, - она говорит. - Иная баба рожает проще, чем вы ногу на ногу...

- Интересное совпадение, - сказал я ему двенадцать лет назад. - Кое о ком приходилось слышать, но встречаться не довелось. Йонас Жямайтис.

Он что-то буркнул в ответ. Только потом я понял, что он ответил: "Жямайтис Йонас". Он это произнес по-своему. Был январь восьмого, я не женат, за порогом ливень, на сердце пусто, а я, однако, не поленился, и все потому, что он - Жямайтис, он - Йонас.

- Материнская пенсия. - Он помахал банкнотами у меня перед носом. - Плохи дела с позвоночником.

Я спросил, как ее имя.

- Анеле. А вашей?

- Нет, - я сказал. - Не Анеле, - и добавил: - Повоевали?

Потому что увидел тот его ужасающий шрам под правым ухом.

- Неужели у вас такой же? - спросил он меня.

- Такой же, - ответил я. - Но на ноге. И не шрам, а родимое пятнышко. Серое, все в волосах. Такое имею отличие.

Правду сказать, две машины одной модели вызовут больше сплетен, чем заслужили мы.

Я дотронулся до его шрама. Он отскочил, как-то странно встряхнулся.

- Совпадение, - сказал он. - Мать - не Анеле. Так и будем стоять?

Он ушел, не оборачиваясь.

- Странно, - сказала Молочница. - Столько времени прятался, а теперь вдруг вернулся.

- Устал, - я ответил тогда.

- Не верю, - она не поверила.

Я хотел объяснить, что от этого устают сильнее, чем от физического труда, что она принесла известие не о нем, а от него, что не мы решили его прикончить, а он хочет, чтобы его прикончили. И что имя-фамилия, применяемые к нему и обретающие новый смысл - его смысл, утомляют его сильнее, чем нас. Я хотел объяснить, что предать кого-то не так легко. Много чего я хотел объяснить, но мы пошли спать.

Он был рядом на нарах, мы все улеглись и пожелали друг другу:

- Доброй ночи.

- Спокойной ночи.

Пожелали - и хоть бы что.

К нему мы теперь и едем.

ИЗ ПОКАЗАНИЙ ВАСИЛИЯ СИНИЦЫНА

Меня часто ругают, что говорю не от того лица. Например: Василий Сеницын - сибиряк. Из Омской области. Они спрашивают, почему в третьем лице? А это не "в третьем лице". Это первое лицо, которое знает, что "Василий Сеницын, сибиряк, из Омской области" будет вписано в скобки или пробелы: Имя, Фамилия, Национальность, Местожительство. Это почти от первого, но по-другому, для всякой там бухгалтерии. Никакое не третье лицо.

Еще говорят, я болтун.

Теперь - откуда я взялся. Сеницыны там живут сотню лет. Часто так говорят "сто лет", чтобы сказать "давно", но не сто лет ровно. "Сто лет не видались" или "сто лет дома не был". Я и сам сто лет не навещал родителей в Омской области, в селе Ворошилово, но это значит, что не был я там девять лет и сколько-то месяцев. Но Сеницыны появились в окрестностях Ворошилова ровно сто лет назад. Это значит, что в сентябре 1851 года по указу царя Николая Анатолий Иванович Сеницын был сослан в деревню Старостойцкую. Это семь километров от Ворошилова. Но за сто лет село разрослось.

Русский. Есть примесь бурятской крови. Совсем немного, если капнуть в стакан воды, вода не порозовеет.

Мне двадцать восемь лет, у меня родители, я изредка им пишу, у меня хороший знакомый в Москве и есть еще единственный лучший друг. Иногда говорят "единственный друг", когда друзей много, но хочется одного выде-

лить. А у меня ровно один друг, он сидит за стеной, его одиночка такая же, как моя, и человек, который пишет эти слова, только-только пришел оттуда. Моего друга зовут Афанасий.

Обещают нас отпустить, как только все выложим.

После войны я служил надзирателем в лагере для военнопленных и каждую неделю посылал письмо товарищу прямо в Москву. Мой товарищ в Москве, мой добрый знакомый Лебедев, - мы с ним до этого виделись всего один раз. Говорю "один раз", потому что он как ушел из моей палаты, так больше не появлялся. Это было еще во время Большой войны.

В письмах я только напоминал о себе, что еще есть в России такой Синицын, работает надзирателем в лагере для военнопленных и, если вдруг подвернется случай, желает увеличить население лагеря - своим персональным участием.

Письмо от полковника Лебедева мне лично вручил начальник. Вот случай и подвернулся. И оба мы с Афанасием отправились напрямиком в Москву. Он остался внизу, а я поднялся наверх и полчаса беседовал с Лебедевым у него в приемной. На стене там висела картина, и Лебедев попросил, чтобы я ее хорошенько запомнил. Думаю, что картина висела на той стене ровно столько, сколько мы говорили. Потом ее сняли. На той картине два витязя скакали навстречу друг другу. Когда я потом вернулся за кепкой, картины там уже не было.

Через неделю нас привезли сюда.

Так что для Лебедева я был желторотым выскочкой, на которого такая картина должна производить впечатление.

Теперь это все позади, и должен признаться, что даже Лебедев удивился, если б узнал, как точно он подобрал картину. Но надо, наверное, по порядку...

Не казалось, что этот день будет какой-то особенный. Было обыкновенное утро, мы получили кое-какие сведения, указания сверху и поехали выполнять задание. Рядовой Афанасий, наверное, показал, что грузовик нам не дали. Наверно, тут и была причина, почему после самого неприметного утра такой дурной получился день.

Были мы четвером. Фёдора встретили уже здесь. Он тоже был человек новый, присланный несколько дней назад, исполнительный, но тупой. О Раполасе - четвертом - могу рассказать немного. Он за мной, как теперь понимаю, присматривал, точно я был новобранец, или контуженный, или вообще без царя в голове. Но сначала он мне даже понравился. Он говорил как будто моими губами, я только хочу открыть рот, а он уже успевает сказать. За всю Большую войну я встретил одного настояще-

го друга - Афанасия. За целых четыре года. Раполас мне попался уже на второе утро этой новой войны. Это было такое знамение.

Мы выехали, только еще начинало светать. Раполас знал дорогу, и бой продолжался каких-нибудь пять минут. Иногда говорят “пять минут”, когда имеют в виду что-то очень короткое, что должно было длиться долго, но заняло, скажем, всего час. Если клюет, говорим “пять минут” - и все ясно. “За пять минут” значит - удачно и быстро, но сами-то пять минут ни при чем. Наш бой длился пять минут. Я смотрел на часы. Это значит, что он был удачный, быстрый и продолжался столько, сколько тут сказано.

Если честно, боя там никакого не было. Мы окружили клочок земли, о котором любой сказал бы: клочок земли. И стали кричать, что он окружен. Кричали, пока он не взорвался.

Раполас помянул Марью Петровну сразу же после взрыва. Не знаю, кто его тянул за язык, но это был случай, когда его губы говорили моими словами. Будто бы этот взрыв разразился тут, наверху, и разбрызнул ошметки моих мозгов ему на язык.

Мы влезли внутрь этого земляного клочка. Их там сидело трое. Иногда говорят “их сидело трое”, когда имеют в виду, что три мужика сидят за одной бутылкой, и тут появляешься ты четвертый, забрел случайно и на выход уже не торопишься.

Я не сказал бы про тех троих, что они поджидали четвертого. Они сидели так, точно трое - это уже чересчур. Как будто граната это такая вещь, на которой написано: подрываю только двоих. А их было трое, а граната была одна. Словом, они сидели так, будто взрыв был струйкой воды, под которую надо успеть подставиться. Они упали на эту гранату, вот и были теперь без лиц.

Не знаю, расслышал я за собой какой-нибудь звук, или это было предчувствие, что кто-то остался, на кого не хватило струйки. Я повел револьвером к лестнице, по которой мы туда влезли, и не ошибся. Напротив сидел четвертый и едва шевелил губами. Он себя вел точно окунь, выброшенный на берег. Раполас подскочил к нему и стал шарить в карманах. Оружия у четвертого не было.

- Посторонись, - сказал я. - Хотя бы плечо ему прострелю.

Я хотел поскорее вступить в такую войну. Это не значит, что мне, как животному, не терпелось пустить кому-нибудь кровь. Тут другое. Пусть кто-то начнет ненавидеть меня, я начну ненавидеть в ответ - и тогда мы будем на

равных в одной войне. Словом, пропало бы это мерзкое чувство, что мы в затхлом пруду ловим дохлых, уже кем-то взорванных окуней.

Но Раполас заслонил этого человека и стал вокруг меня прыгать с какой-то бумажкой в руке. Так пляшут на сельских пьянках.

- Ёжямайтис, - вскрикивал он.

В отверстие свесился Афанасий и странно на нас поглядел. Я отнял у Раполаса бумажку. Это был паспорт.

Фамилия, тем более имя того человека мне поначалу ничего не сказали. Йонас Жямайтис. Потом вспомнил Лебедева. Моего боевого наставника, шефа, патрона, или как там назвать... Вспомнил, что он говорил. Только это имя и эту фамилию он повторял в приемной, в Москве. Но эти имя-фамилия никак не шли к человеку, который сидел под лестницей и шевелил ноздрями. Раполас как безумный все скакал между ним и мной, повторял “победа” и всякие такие слова. Я спросил, все ли он правильно прочитал в той бумажке, и он ответил примерно следующее: “И даже все между строчками, друг Василий. Что пора тебе брать жену. Маринушку. Не было счастья Василию, два дня - и опять война. А нашел он победу под лестницей. Приложи сюда ухо, к стенке, когда Афанасий начнет поднимать вверх эту сволочь. И вздохнет земля. Может, и не вздохнет, ее не всегда услышишь, тогда я вздохну. Жениться тебе пора. Ибо рванет в другой раз и оттяпает то, без чего ты никак не женишься”.

Сами видите, какой это был человек.

Он и слепил все это дело с Марьей Петровной, Маринушкой. Тут, похоже, говорили его губами его же собственные мозги, добротные, но не слишком умные, потому что, как выяснилось потом, зря мы связали тот паспорт с Марьей Петровной.

Марья Петровна - следовательно, вот теперь я говорю в третьем лице. Она не дала нам грузовик. Я ее видел всего пять минут. За пять минут не влюбляются. Но всю дорогу, пока ехали на задание, Раполас говорил о ней, а мы ехали целый час. Получается, я видел ее пять минут и потом еще этот час. Марья Петровна - видная женщина, не такая, конечно, чтобы запомнилась в пять минут, но вообще-то в глаза бросается, если дольше смотреть, а оттуда, вы сами знаете, куда уводят все стрелки. Пока добрались до бункера, я уже почти полюбил Марью Петровну. А Раполас еще и Жямайтиса приплел под видом кольца, которое я надену на палец. Битый час говорил, а ведь она меня, можно сказать, не видала.

Трупы мы свалили в телегу. Потом Жямайтиса. У него с головой не то. У него там, видать, звенело, потому

что нас он не слышал, только двигал ноздрями и шевелил рукой, когда за победу мы пили спирт из одной склянки. Возле реки я велел: стоять.

- Река, - говорю.

В Ворошилове - точно такая же, и запруда такая же. Только земля там спокойнее. А речка, можно сказать, такая же. А земля тут злая.

Выпили. “Какая-никакая, - подумалось мне, - а все же победа”. Когда наши брали Берлин, я лежал в госпитале. Туда приходил Лебедев. “Сестричка, знаю, - я умолял, - наши в Берлине... Дай хоть ложечку спирта”. Говорит, “до голой ноги, если хочешь, дотронься. А спирта - не дам”. - “Тогда, - говорю, - дай лучше губы”. - “Э, - говорит, - наши в Берлине жизни кладут, а тебе бы только развратничать. Суй руку мне под халат, а спирта нету”.

Мы стояли на берегу. Я вспомнил картину, Лебедева, ткнул пальцем в Жямайтиса и сказал, что какая-то здесь ошибка. Лебедев говорил: “Там будет Жямайтис. Тебе про него прожужжат все уши - не бери в голову. Человек ничего такого особенного, мы с ним в Париже вместе учились и даже пили коньяк. Другие-то, может, и звери, но если их командир предпочитает коньяк...” Гляжу я на этого “ничего такого особенного” и пробую клеить к нему слова, которыми объяснялся Лебедев. Ничего не выходит. Тогда я велел его искупать.

Афанасий его поволок к реке. А я объяснил Раполасу:

- Тебе вот, Раполас, всё Маринка, жениться пора. Некогда было.

- Жениться самое время, Василий, - он опять за свое.

- Добрый ты человек, - похвалил я его.

Я поглядел, как Афанасий за ноги тащит к реке бандитского жоака. И подумал: еще утопит.

- Хватит, - кричу. - Вытаскивай. А то застудишь.

Я тогда опять на него поглядел. “Человек ничего такого особенного, мы с ним в Париже вместе учились и даже пили коньяк” - я пытался разъединить слова, поменять их местами, но ни одна комбинация не подходила к тому, кто весь мокрый лежал перед нами и раздувал ноздри.

Я тогда приказал:

- Поехали.

ИЗ ПОКАЗАНИЙ АФАНАСИЯ ДУШАНСКОГО

Мы с Василием Синицыным одного года рождения. Только я - по эту сторону от Урала, а он - по ту. Мы так и живем: встретимся где-то на свете, потом у какой-нибудь речки расстанемся. Встретились мы девять лет назад в пехотном полку одиннадцатой дивизии. Его ранило в

Будапеште. Он остался по эту сторону от Дуная, а я перебрался на правый берег. Потом я еще перешел Одер. После войны мы встретились в Орске. Он на правом берегу Урала охранял военнопленных, а я на левом - всякую мелкую контру. Урал - это вам не Дунай. Так себе речка. Мы иногда махали друг другу с вышек.

Он придумал, как вырваться. И меня прихватил.

В Москве он встречался с Лебедевым. И потом заметно повеселел.

По прибытии мы тут встретили еще Раполаса, Фёдора и Марью Петровну. Было несколько трупов и один, так сказать, "полу". Этому "полу" все почему-то особенно радовались. И еще по дороге от радости крепко выпили.

На это дело мужики у нас быстрые. А тут такое - победа. Я в то утро не пил, ну - повод и повод, для этого вечер есть. И от радости я захмелел не очень, потому что война была какая-то несерьезная, и тот, из-за кого вся карусель, показался мне слишком легким - я его к речке волок. Даже дыханье не сбилось, пока тащил его за ноги, а пока мы брали землянку, что-то я залежался в траве. Мог бы выкурить папиросу, перелистать газету, в деревню сходить, - ничего бы не изменилось. Победа. Когда товарищ командир в госпитале выпрашивал спирт, я пил в Берлине анисовку и выводил свое имя мелом на всяких развалинах. Так что дело знакомое.

Когда все в телеге уснули, товарищ командир обратился ко мне, но, поскольку я уже неоднократно слышал, как он трогал в больнице за ляжку, разговора не получилось. Тогда он стал говорить с тем полутрупом, и до того увлекся беседой, такие стал затрагивать темы, что и я захотел было встрять, но некуда было.

Товарищ командир с ним говорил дружелюбно и уважительно, радовался, что поймал, и обещал ему легкую смерть. Со слов товарища командира я понял, что полутруп и Лебедев помещались под солнцем Парижа, а вот полутруп и товарищ командир с Маринкой под этим солнцем втроем не уместятся. Спрашивал, видел ли тот Маринку, но - раз видел Париж - без труда ее себе нарисует. Только велел этот Париж увеличить в четыре раза и самому убедиться, что это уже не Париж, а она - Марья Петровна.

- Хороша Маринка, - качал головой Василий. - увезу ее на озеро. Там такие озера, - он говорил. - Буду тебя вспоминать. Как ты, падла, против такой женщины воевал. Перед ней на коленях бы надо ползать.

Слова у Василия были такие, как будто те двое сидели сзади меня в обнимку за общим столом прямо посередине телеги. Я даже обернулся рассмотреть, как это выгля-

дит. Но стола еще не было, товарищ командир наклонил стакан над этим, из-за которого вся карусель, и капал ему на лицо.

Потом вдруг велел ему удирать. Беги, говорит, даром, что ли, живой. Вдруг эти твои сбегутся. И когда полутруп не только не побежал, но даже толком не понял, кто и зачем к нему обращается, Василий нарисовал итог выдуманного боя. Как он, вроде, дает мне приказ - и горят, ну их к чёрту, все эти села, леса, всё их упрямство дымом уходит в небо. Вильнюс горит и Клайпеда, и тот город - в самой середине, поскольку я, получается, так сильно палю. А тогда он командует: "Стоп, Афанасий". И становится тихо-тихо. Земля вся выжженная, но уже не злая. И проходит по ней Маринка. Надо видеть, как она идет по пустой земле. Идет себе голая женщина, а чего ей прятаться под шинелью, когда Афанасий все пустил дымом.

Слишком долго мы проторчали с Василием на тех вышках по берегам Урала. На мой-то край с гор еще задувало ветер, а его лагерь был заслонен городом. Город не город, а ветра не пропускал. И я молча правил телегу к цели, а Василий вываливал все, что накопил на вышке.

- Не человек ты, Жямайтис, - он говорил полутрупу. - Когда Лебедев спросит, отвечу: товарищ полковник, коньяк ваш был настоящий, Париж - не знаю, а тот человек - нет. И весь край тут такой. Реки, земля, леса. Коньяку выпьешь - и снова он настоящий, а что пьешь ты его в лесу или возле реки - это все кажется. Больше тут делать нечего, только что пить коньяк да любить русскую женщину. И чтобы мебель была из России. И Афанасий стоял у дверей на страже, - он тогда поднял голову и кивнул на меня. - И мостовую чтобы стелил ты сам. И чтобы земля была досконально проверена. Потому что все остальное, товарищ полковник, тут одна злая выдумка. И еще много времени пробежит, пока мы эту выдумку сделаем бьелью.

И я уже стал кивать со своей вышки. Правильно. Край непривычный: огневые контакты - наполовину, трупы - тоже наполовину. Но Василий неожиданно вспомнил, что и он раньше был наполовину. Не человек, а орудие. Имя, фамилия - подлинные. "Василёк" - мама его звала. Детство подлинное. А потом - только орудие. "До голой ляжки, если хочешь, дотронься, а спирта не дам". Потому что зачем орудию спирт, а ногу через него перебросить - то же самое, что сесть верхом на перила. Никакого греха, только тихо, прохладно.

Вся эта половинность меня расстроила. Потому что, когда Афанасий весь, а все остальное - наполовину... Но тогда товарищ командир рыгнул и заявил, что с этого ча-

са он тоже будет весь целый. Что начинает жизнь. Что пьет спирт, которого не давали орудиям. Что собирается любить женщину. Везти ее на озера.

- Еще вчера я мог бы ее спросить, - говорил Василий.
- Позволишь, Маринка, притронуться к голой ляжке? Как орудию разрешила бы. И сегодня вечером тоже позволит. А как она задрожит! Когда мужчина трогает, женщина вся дрожит. Странно, Жямайтис, что два таких вот, как мы, два орудия должны столкнуться, чтобы от руки одного задрожала женщина.

- Город, товарищ командир, - упредил я.

- Город, - согласился Василий.

ИЗ ПОКАЗАНИЙ ВАСИЛИЯ СИНИЦЫНА

Первым моим оружием была охотничья одностволка. Я держал ее ровно десять секунд. Столько времени хватило отцу, чтобы дать ее мне, помочиться на мох, застегнуть ширинку и отнять у меня ружье. У отца маленький мочевого пузырь. Он опорожняется приблизительно каждый час - если не спит, если спит - каждые три-четыре часа, тогда уже полноводной широкой струей - на пятнадцать-семнадцать секунд. Вторым оружием был пистолет ТТ и, когда я менял его на револьвер, майор "В., не помню фамилию" удержал мою руку со словами: "Синицын, готовишься стать безоружным?" Тогда я взял у него револьвер, и ровно минуту обе мои руки были заняты. Через минуту я ТТ положил на стол. Когда я отдал оружие Марье Петровне, то вспомнил, конечно, слова майора "В., не помню фамилию", но в тот момент я и хотел стать безоружным. Как будто он мне сказал: "Синицын, хочешь стать голым?" И я как будто ему ответил: "Так точно, товарищ майор "В., не помню фамилию", имею план перед этой женщиной разоблачиться".

Но я с того раза сказал: никогда. Если бы даже я голым стоял на мостках, по одну сторону тонула Марья Петровна - и надо подать ей руку, а по другую отец - готовый схватить другую, а в зубах я держал бы такое, что, если выпущу, рухнет мир... Даже тогда я остался бы при оружии.

Но я не подумал, что на этих мостках мог стоять еще один человек - Афанасий. И - кому бы я руку ни протянул - он уцепится за мое оружие.

Первым делом он вцепился в свою винтовку, вместе со всеми лежал под телегой и совсем не казался опасным. И даже спросил у меня:

- Кто они?

Как будто я могу знать их фамилии, годы рождения, имена жен и детей. Они были они, а мы были мы, для

войны и этого хватит. Они были вооружены, мы тоже были вооружены, и они были точно не мы.

- Трупы, - определил я.

Они очень уверенно ехали берегом речки, и я уловил то последнее, без чего нет пропуска на войну. Это была угроза. И была она совершенно чужая, ничего общего со связанной Марьей Петровной. Как острая боль прямо в сердце, которая на секунду заставляет забыть, что у тебя неизлечимая венерическая болезнь. И мелькает надежда, что тебя накроет разрывом сердца, а не постыдной хворью.

Отцу, когда он служил при поместье, все говорили: там полно привидений. Он работал почти десять лет, и каждый день кто-нибудь говорил, что там полно привидений. И еще вот про рыбу.

Когда мы рыбачили на Урале, нам говорили: там полно рыбы. А мы с Афанасием знали, что рыбы там никакой нету. Сидели сутками, потому что те, которые приходили менять нас на вышках, воняли чешуей и повторяли, что рыбы полно. А мы как сидели, так и сидим впустую на берегу. Я даже сказал Афанасию, что наверное где-нибудь тут есть озеро или другая река и там полно рыбы, но не столько, чтобы на всех хватило. Поэтому ее от нас прячут и врут, что рыбы полно. А здесь ее вовсе нет. И как-то утром вдруг повалила рыба. Я Афанасию крикнул, чтобы сетку нес, а он говорит: "Вон, товарищ командир, дырявая лодка на берегу. Мы черпанем и - на берег. Рыбы-то столько, что вода кипит. Полный Урал - сколько глаз хватает". Мы наловили, сколько позволили удочки, и на другое утро - решили сетью. А рыбы нету. "Тут, - говорю, - Афанасий, отродясь рыбы не было". Он так странно на меня посмотрел.

Этот пустой с виду лес мне тогда показался таким же. Их сразу взялось много.

Еще меня поразило чувство, что я вижу исчезающую породу зверей, а они себе щиплют траву и не знают, что скоро исчезнут. Или какой-нибудь благородный металл, который запрятан глубоко под землей и его крайне редко находят в поле. Утром я эту войну представлял однозначно: враг под нами. Его следует окружать и взрывать. Не война, а разминирование.

Тут был другой уровень, я спешил его испытать. Поэтому и сказал:

- Огонь.

И в первый раз после этой моей команды настала такая тишь, что хотелось заткнуть уши.

Мой револьвер был у Афанасия.

Мгновение я молчал. Силился вспомнить, вдруг майор

“В., не помню фамилию” называл условия, при которых я могу расстаться с оружием. Но он никаких условий не называл. Я хотел оправдаться перед майором, что мы почти один человек - Душанский и я, но как один человек сам у себя выбивает оружие - я не сумел объяснить.

- Афанасий, - сказал я тихо. Я был ошарашен. - Отдай.

Он еще мог вернуть мне оружие. Я ведь не спрашивал, как револьвер у него оказался, я мог потерять, а Душанский шел и нашел. Но Афанасий одно за другим разбивал все укрепления нашей дружбы.

- Оружие я вам верну, когда будет дело сделано, - сказал он. - А потом, это не ваше оружие - Марьи Петровны.

Мне было грустно смотреть на него. Друга можешь бранить, если скоро простишь его. А тут ругать было глупо, надо было стрелять, только не из чего.

- Я умереть не боюсь, - он прочитал мой взгляд. - А Марью Петровну жалко. Как же вы так - командуете огонь, когда выше вас лежит женщина.

Тут была доля здравого смысла. Душанский остановил бой, потому что над нами лежала женщина, Марья Петровна. Связанная, на телеге. Но когда майор “В., не помню фамилию” спросил: “Синицын, ты разоблачился перед Афанасием?”, я твердо ему ответил: “Нет. Меня разоблачили. И за это кто-то ответит”.

- Не трибунал тебя будет судить, - я сказал Афанасию. - Я тебя буду судить, голой рукой утоплю в навозе. Выжму тебя всего и утоплю.

Афанасий согласно кивнул и протянул папиросу.

- Я вас понимаю, и что в навозе меня утопите, не сомневаюсь. Покурите, тогда верну револьвер.

- Повешу, - сказал я ему.

Чем дольше тот револьвер был у Афанасия, тем больше отчаяния копилось в его глазах. Каждый миг, пока я был без оружия, уменьшал для него надежду выжить, когда револьвер опять окажется у меня в руках.

- Повесите, товарищ командир, но сначала, пожалуйста, папиросу.

Я взял папиросу, прикурил и сказал:

- Теперь всегда, как стану курить, вспомню тебя, Афанасий. Как висишь на суку и просишь, чтобы я дымком затянулся.

Он бросил мне револьвер.

- Вспомните, товарищ командир, - выкрикнул он. - И еще вспомните, что указателей не было, что я бродил по Берлину и писал там свою фамилию, а над ней большими буквами - вашу. Поезжайте, вас там наверняка знают

- Синицына Василия Ивановича, лейтенанта, который брал Берлин. А если спросят, кто это написан малыми буквами, отвечайте, что это - Душанский, висит где-нибудь на суку, потому что указателей не нашел и женщину одну пожалел. Вот вам оружие. Вешайте. Или приказывайте - огонь, и вам будет огонь. Будет огонь...

Я взял револьвер.

С грустью глядел я на Афанасия: “Что теперь скажете, товарищ майор “В., не помню фамилию?”” Майор В. мне велел поглядеть вперед. Я поглядел и погрустнел еще больше. Урал был опять пустой.

ИЗ ПОКАЗАНИЙ АФАНАСИЯ ДУШАНСКОГО

Когда мы, наконец, встретили человека, товарищ командир и на него наорал. Можно подумать, все, кто знал дорогу к этому дому, были контуженные.

“Говори, только быстро”, - я мысленно посоветовал встречному, а он услышал. Показал какое-то направление. И говорил на своем языке. Василий всё кипятился: “Указатель будет?” - “Будет”, - повторял тот и опять бормотал свое. Я так понял, что никаких табличек не будет.

- Будет там указатель, - хлопнул в ладоши товарищ командир, будто с кем-то на что-то поспорил.

Я немного проехал и стал. Дальше некуда было.

- Некуда больше, - развел руками. - Мы же сами утром эту колею проложили.

Мы стояли примерно в пятнадцати метрах от бункера. Оттуда мы вытащили покойников и Жямайтиса Йонаса. Это все было утром. Троих выгрузили, а последний прижился - загадочным образом. Возим его, как будто он наш боец. Я подумал: будет разумно теперь его запихнуть назад.

- Я вас, товарищ командир, отвез бы куда угодно, - вылез и говорю. - Но под Рязанью. Я там еще пацаном всё облазил. Я всё помню зрительно.

Василий сидел и прикидывал, как бы теперь поменять эти леса на рязанские.

- Или я как-то столб увидел, - излагаю перед Василием наши возможности. - Вы потом ночью меня разбудите, подсуньте фото, и я вам в подробностях расскажу, этот столб на какой дороге, кто его еще видел, из какого полка и какой дивизии. Всех. Пофамильно.

Я замолчал, потому что никто не слушал. Василий встал, слез с повозки, походил и сказал:

- Теперь улавливай...

Мы все исполнили. Через минуту уже летели с Фёдором в город на полной скорости. Правда, только мы тронулись, я сразу остановился.

- А куда этого? - и показал рукой на Жямайтиса.
- Этого Фёдор посторожит, - ответили мне из кустов.
- Этого и цветы. Ты понял?
- Понял, - медленно отозвался Фёдор. - Цветы и этого.

По-моему, “цветы” и “этот” - довольно паршивое сочетание.

ИЗ ПОКАЗАНИЙ ВАСИЛИЯ СИНИЦЫНА

Иногда говорят - мёртвая тишина, хотя тишина эта самая обыкновенная. Настоящая мёртвая тишина бывает тогда, когда есть кому и о чем молчать. О тишине под озерным льдом не говорят, что она - мёртвая. Тишина случается на развалинах. Мёртвая и не мёртвая. Если стоит не твой человек и рот боится открыть - это мёртвая тишина. Могут летать самолеты, рваться снаряды, голова раскалываться от грома, а ты стоишь на этих развалинах, и он стоит на тех же развалинах. Вы друг друга убьете. Это мёртвая тишина.

В телеге тишина была мёртвая. Это значит, что фыр-кал конь, перестукивали копыта, бесились птицы, скрипело тележное колесо, казалось, что скоро лопнет, а все равно тишина была мёртвая.

Одно ненужное слово или движение - и все бы рухнуло. Афанасий как-то сумел докопаться до этого горемыки, чем-то тронул его, я не знаю, когда он этому научился, но было видно - умеет. То, что мы делали на подводе, не принадлежало этому миру. Не хочу сказать - Богу: Бога нет, но и не человеку, точно. Люди тут пассажиры, и только.

Если встретите Лебедева, пусть он знает: их вожак, скорее всего, человек, но все остальное тут - форменная чертовщина. Будете дорогу искать, полковник, наймите покойника, потому что живым тут положено только блуждать по кругу. И не очень обращайтесь внимание, если мурашки побегут по спине.

Жямайтис и его край были теперь заодно, и они вели нас куда-то вглубь. Самочувствие тут ни при чем: дорога, по которой мы ехали, была почти не дорога, лес густел, и я стал беспокоиться, куда она заведет? Это была не прос-то дорога с просеки в чащу, снова на просеку и тогда опять - в чащу. Чащи было все больше.

Потом впереди послышался шум, и мы стали. Афанасий как угорелый сбросил с колен Жямайтиса и прыгнул вбок от повозки. Стоял и бранился, и пытался сбросить еще кого-то: скреб руками всего себя. Поводья держал Жямайтис и он же производил этот странный шум. Он сказал:

- Госпожа следователь, я вас доставил, куда приказано.

Афанасий глядел на меня. Я - на него. Было ясно только одно - нас надули. Кто - еще не было ясно. Я вырвал у Фёдора автомат, потому что оружие Марьи Петровны нас тоже надуло. Сидящего Фёдора я пригнул, махнул Афанасию "лечь!", а сам, чуть не ползком, стал огибать повозку, глядя при этом в лес. Трудно было поверить, что Жямайтис привез нас прямо в засаду, которую заказала Марья Петровна в предвидении, что мы ее свяжем, когда мы об этом сами еще не знали. Однако его слова что-то должны были означать, как и весь этот лес - куда-то он вел нас. Ствол автомата обнаружил одно: мы вели собственную войну. Я просунул ствол автомата сквозь доски и ткнул Маринушку в щеку. Я сказал:

- Что это значит, Маринушка? Какой во всем этом смысл?

- Прикончи меня, засранец, - сказала она. - Больше ты ничего не умеешь.

Я провел стволом по ее лицу. Встал и схватился руками за голову. Как за мяч. За ее голову.

- Что ты с нами, женщина, делаешь? - закричал я, склонившись над ней. - На что ты весь мир подбиваешь, разве он твой?

Передайте Лебедеву еще: он-то видел Париж. А если бы он увидел озлобленную женщину: от ярости вздулась грудь, обнажились икры, потому что верх ее армейских штанов заглотала промежность, губы набухли, едва удержав предназначенный мне плевков, вывернутые ноздри с бешенством пожирали мой запах, а глаза ее слепли от моего ненавистного вида...

Он-то видел Париж. Это всего лишь город, полковник, по сравнению с жизнью, имя которой - Марья Петровна. Ради нее стоит начать собственную войну. И целить во всё, что движется, пока не останешься один на один.

- Афанасий, оттащи от меня засранца, - попросила тогда Марья Петровна.

ИЗ ПОКАЗАНИЙ АФАНАСИЯ ДУШАНСКОГО

Я слышал, что женщина может встать между двух мужчин, двух лучших друзей, и, чёрт ее знает, что натворить, чтобы остался один или ни одного не осталось. Тогда она радуется и встает между двух других, двух лучших друзей, так и живет, пока есть чем вилять. А когда уже нечем, всем рассказывает, как она красиво умела вилять. Я не думал, что так случится у нас с Василием.

Товарищ командир редко интересовался женщинами,

я - еще реже. Марья Петровна втиснулась между нами насильно. Меня Голубкова не привлекала, Василий по ней прямо с ума сходил. Она могла приказать ему: развяжи и вези на озеро, но она, похоже, была из тех женщин, которые копят занимательные истории для старости лет.

Марья Петровна меня позвала на помощь.

Я ждал. И Василий ждал. Первым словом или движением я должен был сообщить, кого кому отдаю. С одним мы прошли всю войну, другая была женщина и просила меня о помощи.

- Убери от меня засранца, - повторила Петровна.

Но он до нее не касался, прямо смотрел мне в глаза и ждал разрешения.

Я немного преувеличиваю, когда говорю, что выбирал между командиром и Марьей Петровной. Я делал выбор между его и своей жизнью. Надо сказать, что автомат в руках у Василия, хоть и не был нацелен в меня, однако удобно лежал на краю повозки, и тому, кто знает Василия, было ясно, чем это мне грозит. Говоря совсем откровенно, я делал выбор между женщиной, которая ничего для меня не значила, только звала на помощь, другом, который значил не многим больше, раз так себя вел, и собственной жизнью, которая кое-что еще значила. И, к общему великому удивлению, я никого не выбрал. Я подошел к Жямайтису и потряс его за плечо.

- Товарищ командир, этот жмурик нас всех попутал, - сказал я.

Товарища командира я произнес почти уважительно, чтобы успеть подвинуть Жямайтиса, который упал на мою винтовку. Секунду спустя я выбирал опять: Василий или Петровна. Третьей возможности не было, винтовка смотрела на командира и помогла мне его вычеркнуть.

- Фёдор, оружие свое забери, - сказал я.

Таким бледным Василий Иванович был тогда, когда его в Венгрии зацепил осколок.

- За десять лет не раскусил я тебя, Афанасий, - сказал он печально и отдал Фёдору автомат.

- Скажи мне кто-нибудь столько лет назад, товарищ командир, - поддакнул я. - Даже вчера. Ни за что не поверил бы. Фёдор, веревки у нас еще есть?

Были веревки. Но дело было не в них. Мне вдруг ударило в голову, что я, когда целился в Василия из винтовки, выполнял чей-то параллельный план. Точно так же Василий, когда приказывал связать Марью Петровну. Как и Фёдор, который свяжет меня, стоит нам немного отъехать. Тогда уже Раполас с ним сладит одной рукой. Но цепочка на нем не кончится. Слишком он слабый. И этот план - не его.

Мои опасения еще больше укрепил Фёдор:

- Веревки здесь о-го-го, Афанасий. Всем хватит.

Это его “о-го-го” меня очень расстроило.

- Ну и выкинь. Выкинь их все, - велел я.

Товарищ командир стоял там же, между нами была повозка. Я должен был определить его место.

- Веревки все выкинуть? - спросил Фёдор.

- Выкидывай.

Выполнять тайный план, когда я даже не знаю, чей он, я категорически отказался.

- И закопай, - сказал я.

- Чем я их тебе закопаю...

Но не выполнять никакого плана - значило только одно: стоять и целиться в своего командира.

Если бы людям было позволено селиться на перекрестках.

ИЗ ПОКАЗАНИЙ ВАСИЛИЯ СИНИЦЫНА

Я уже указывал, что Афанасий, вообще говоря, некрасивый? Мне еще в детстве казалось, что когда некрасивые люди красиво, правильно и спокойно обо всем говорят, - они только стараются подражать красивым. Они говорят: ах, какие красивые поляны, озера, горка красивая, но все это время их не оставляет мысль, что сами они некрасивы. Если их слышишь - ничего. Но, как только увидишь, сразу убеждаешься, что так не годится.

Если тебя природа произвела некрасивым, значит, ей это было нужно. И если будешь всю жизнь подражать красивым, после тебя ей придется произвести еще одного некрасивого. Некрасивый должен всю свою жизнь сквернословить, плевать и гадить где ему вздумается. Только тогда ему веришь.

Повстречав Афанасия, я долго не мог отделаться от догадки, что он подражает красивому. Потом позабылось. Но там, в лесу, я снова вспомнил и подумал, как же ему идет вскинутая винтовка. Первый раз в жизни Афанасий был настоящим.

Решение - выбросить все веревки - значило только одно: ему придется кончать со мной. Или я сделаю ноги.

Мне и нужно-то было одно или два мгновения. Только прыгнуть в чашу, она была в двух шагах за спиной. Но как же этот подлец хорошо меня знал! Сам удивляюсь, насколько я в жизни скован. Стоит какой-нибудь обезьяне прочесть мои мысли, как они достаются другому, и тот другой только что приказал закопать веревки. Стою весь в поту, а мысли переменить не могу, не могу ими заманить Афанасия, да и Раполаса, на край Сибири. Только думаю, как буду прыгать в чашу. А подлец это всё чи-

тает. И вдруг начинает опускаться его винтовка. Он опускает ее так низко, что, пока поднимешь ее опять, я давно буду в чаше. Что же я делаю? Я бегу. И когда чувствую себя в достаточной безопасности, оборачиваюсь к повозке. Винтовка опущена.

ИЗ ПОКАЗАНИЙ АФАНАСИЯ ДУШАНСКОГО

Она визжала.

- Он сбежал, Марья Петровна, - успокоил я. - Давайте я вас развяжу.

- Он убежал с моим револьвером, - сказала Марья Петровна.

- Я знаю.

Знал я не только, где именно револьвер Марьи Петровны, именно финский нож Василия был тоже при нем. Безымянный осколок, острый как бритва, извлеченный из тела Василия, лежал в кармане его пиджака - он хранился не только ради воспоминаний. И еще было бешенство, которому не придумаешь имени, попросту говоря, силы почти были равные.

- Теперь вы, Петровна, пардон, Голубкова, - сказал я, - нам расскажете всё. Почему он с вами не говорит, - я показал рукой на Жямайтиса, - а ваши приказания исполняет. И, будьте любезны, что вы ему приказали?

- Не умеешь ты врать, Афанасий.

- Что, Марья Петровна? - я даже зажмурился от удивления.

- Зови назад своего героя. Плохо вы оба изображаете.

Я бы к ней на коленях приполз, только бы убедить, что все это - представление. "Товарищ командир, рядовой вашего взвода Афанасий только что изображал с целью добытия тайны у следователя М.Г. Потрудитесь в меня не целиться и возвращайтесь в телегу. Представление не оправдало надежд. Дальше пробуйте сами".

Мне она говорит: "Не надо морщиться". Молочница изучает пальцами мой лоб, расправляет морщины и говорит:

- Не надо морщиться.

Но я вижу то место на окраине леса, мы там сидели, тогда приехал Каспяравичюс и сказал: "В Корею". Впустую прошли два с половиной часа.

- Ничего не случилось, - говорит Молочница.

- Неудобно, - я отвечаю.

- Подсуньте сена.

- Перед людьми, - объясняю я. - Что подумают...

Она отнимает руку и приподнимает бровь.

- Так странно...
- Очень, - я начинаю злиться.
- У вас орлиное зрение, я вот людей не вижу.

“Что подумают” - наверное, это не главная и не настоящая причина моего раздражения. Настоящая в том, что я, как рачительный сельский хозяин, в один несчастный день вышел осматривать собственную войну и ничего нового не обнаружил: с краю поля полсотни лет стоит лошадь, слева - картофельная ботва, справа - горох и овес, им тоже полсотни лет. И я ощутил, что за полсотни лет ни шагу вперед не сделано.

Хозяин одно мгновение чувствует то же самое, что и я, но уже в другое мгновение он успокоит себя, что это - земля, и ей к лицу постоянство. Но я не землю возделываю, и кто я такой, чтобы сказать: добрая у меня война, хватит еще детишкам и внукам, всем будет работа.

С другой стороны, за два с половиной часа мы потрудились неплохо. Поучаствовали в “бою”, лишились повозки, а где еще тот Украинец со звездой во лбу. Утро было горячее. “Молодцы”, - мог бы я всех похвалить, если б знал, что неприятель атакует нас там, где нас давно уже нет.

- Перед Сэром неловко, - я объясняю. - Телега и лошадь - его.

Сэр Вашингтон, чей желтый бревенчатый дом сливается с рожью, тоже военачальник - у него свой небольшой отряд. Это у него Каспяравичюс берет молоко, в котором плавает хвоя. Я командую на войне, но Сэр меня одевает, кормит, предоставляет лошадь, повозку, и мне перед ним неловко за эти шалости.

Мне тоже следует знать, за что, чёрт возьми, я воюю. Между “л” и “ю” пусто, у меня на земле нет дома, и в горький час я могу растеряться: зачем мне все это нужно? Я тогда вспоминаю усадьбу, залитую ржаной желтизной. И кто-то внутри у нее слушает радио. И я где-то близко.

С Сэром у нас - ничего общего. Только дом, залитый рожью.

- Как это понять, Сэр Вашингтон? - однажды сказал я, переступив желтый порог его дома.

- А что тут понимать? - растерялся он.

- Это что в углу? - я показал.

- Ну, то мое, - он ответил. - Купил.

Там стояли десять банок с красками, на каждой было написано: “Зелёные. Для наружных работ”.

- Плохо, - сказал я.

Он мне налил густой гороховой тюри, его дочь нам такую варила, и, пока я молча хлебал, он молча глядел на свои десять банок.

- Все же не красные, - наконец сказал он.

- Нельзя, - я отрезал.

В тот день мы впервые не пришли слушать радио.

- Ваша изба как называется? - спросил я.

- Ясно, как, - он ответил.

- Вы мне громко скажите...

- Я тридцать рублей выложил, - громко сказал Сэр Вашингтон. - И еще "пинзель"* купил.

Моя ложка громче нужного стукнулась о днище тарелки.

- Спасибо, - сказал я. - Вкусно у нее это получается.

Не такие у нас близкие отношения, чтобы из-за чего-то крепко повздорить.

- Я тридцать рублей... - начал было Сэр Вашингтон, но я его перебил.

- Америка он называется, - объяснил я. - Берлинов у нас есть несколько, Парижей - я помню три, а второго, как ваш, не найдется.

Он внимательно посмотрел на меня, потом на десять жестяных банок и не уловил, при чем тут Америка.

- Вы радио слушаете? - я попробовал вернуть его в колею.

- Понятное дело, - ответил Сэр Вашингтон и еще внимательнее пригляделся ко мне, потому что я третий год, дважды в неделю вижу, как он слушает радио.

- И что они там говорят? - интересуюсь я.

- Понятное дело, - повторяет Сэр Вашингтон. - Там кланутся красную чуму придушить. Но это же краска - зелёная.

Я попросил еще полтарелки. От одной начинает болеть голова, а от двух - чересчур тяжелеешь. Пока я ел, он терпеливо молчал, но стоило мне закончить, спросил:

- Может, это какие шифровки?

- Какие шифровки? - не понял я.

- Я в этих делах не смыслю, - он вдруг начинает злиться. - Если мне говорят: красных душишь, я иду и покупаю зелёную. Я этих шифров не разбираю.

Испугавшись отцовского крика, в комнату вошла дочь. Я показал большой палец в знак одобрения ее супа. Она поняла, что ничего страшного, и оставила нас одних.

- Я к этому два года готовился, - сказал Сэр Вашингтон и поднялся прикрыть за дочерью дверь.

- К чему готовились?

- Красить, - хлопнули двери.

- Нельзя, - как можно спокойнее произнес я.

Он подошел к жестянкам с надписью "Зелёные. Для

* кисточка (жаргонное слово, от немецкого Pinsel).

наружных работ” и ногой сбил их вместе, чтобы пустот не осталось.

- Кто будет красных душить, вы, наверное, знаете? - спросил я.

- Понятное дело, кто, - сказал он, не отрывая глаз от жестянок.

- Так скажите громко.

- Куда мне девать столько краски? - громко выдохнул Сэр. - Десять банок - не шутка.

- Америка и будет душить, - ответил я за него. - Весь Западный мир поднимется, но они еще не пришли в себя от войны, поэтому первой ударит Америка. А вы торгуетесь из-за тридцати рублей.

Я думал, мои слова произведут на него большее впечатление, но он только нагнулся, взял одну банку, подошел к столу и поставил рядом с моей тарелкой.

- Одна - два рубля девяносто пять копеек. “Пинзель” - рубль тринадцать.

- Куплю я у вас этот “пинзель”, - он вывел меня из терпения. - Наскребу и на краски.

- Я красками не торгую, - отрезал Сэр Вашингтон. - Но если вам “пинзель” нужен - берите. У меня еще старый есть.

У него был дом, радио, дочка, скотина и еще эта странная жямайтская слабость - упрямство. Он как-то сказал, что ни один человек при оружии не переступит порог его желтого дома, и ни один не переступил. Теперь он уперся, чтоб ни один человек при оружии не переступил порог его зелёного дома. Он решил расширяться.

- Сэр Вашингтон, - сказал я. - Известно ли вам, сколько рядовыми располагает американская армия? А еще капралы, сержанты, старшие офицеры, они также будут участвовать в нападении.

- Сколько? - спросил он.

Я не собирался ему отвечать.

- Много. Точное количество никому не известно. Когда закончат дела в Корее, их станет гораздо больше.

- Понятно, - соглашается он. - Хотя они там здорово влипли.

- Нападение начинается с авиации, - заверил я Сэра Вашингтона.

Он взял со стола банку с надписью “Зелёные. Для наружных работ” и хотел поставить ее под стол.

- Мне не мешает, - я попросил его не трудиться.

- Скатерть придется гладить, - ответил Сэр Вашингтон и стал разглаживать пальцами след от банки. - Когда оно еще будет - то нападение.

- Никогда, - я ответил, - если вы станете избу красить.

Банка была уже у земли, когда Сэр выпустил ее из рук. Вопрос он задал после изрядной паузы, уже будучи глубоко под столом, куда полез доставать банку.

- Как это понять?

Я нагнулся под стол, взял банку из его рук и отнес ее к остальным. Потом вернулся и помог ему встать. Он смахнул с себя катышки пыли, и мы оба вернулись к столу.

- Сперва авиация, - повторил я. Правой рукой я провёл над столом. - Бомбы, - я пальцами ухватил крошки и на глазах у Сэра Вашингтона высыпал их обратно на скатерть. - Чтобы избавиться от зениток.

Сэр кивнул.

- А после уже десант, - объяснял я. - Самолеты. Но уже не бомбардировщики. Вы хоть знаете, сколько стоит размножить тысяча одну фотокопию?

- Сколько?

Я не был готов к ответу.

- Много, - ответил я. - Точно никто не знает. Но каждый боец-десантник уже получил подобную копию. Когда он прыгает с самолета, - у него парашют, и еще один, если первый вдруг не раскроется, автомат и маленький кольт с единственным зарядом, если большое оружие не спасет. Консервов - на несколько дней, фотография с паспорта милой Джейн и та самая размноженная фотокопия.

Я перевел дух, и Сэр Вашингтон получил возможность спросить:

- Кто это - Джейн?

- Малышка с большими голубыми глазами, - ответил я. - Она сидит в Бостоне или Флориде, читает молитвы и живет надеждой, что ее любимый не потеряет ту размноженную фотокопию.

Мне вдруг показалось: я больше интересуюсь этой историей, чем Сэр Вашингтон. Потому что он снова разглаживал круг, оставленный днищем банки.

Он сказал:

- Понятно.

Я подумал, что всех моих сил не хватит на спасение желтого дома, залитого рожью.

- И вы предадите малышку Джейн? - я уперся в него глазами.

Мгновение он молчал. Потом буркнул:

- А та Джейн - его дочь?

- Жена, - крикнул я. - Она малого роста. Вот в чем ее несчастье. Но иногда такие малышки любят гораздо сильнее, чем великанши.

- А что ей за дело до моей краски? - осведомился он.

Я еще раз собрал крупинки и снова рассыпал их.

- Бомбы, - объяснил я.

Он покачал головой.

- Потом эти смелые парни, которых поджидают малышки Джейн.

Сэр Вашингтон дважды за один вечер наблюдал американское нападение.

- Их сбрасывают повсюду: севернее, южнее, к востоку, - я говорил все дальше. - Они тут наводят порядок, пока не закончится провиант и патроны.

Он прикрыл глаза.

- Так если я выкрашу дом...

- Они его не найдут, - я положил предел его обширным догадкам.

Он отвернулся и еще раз глянул на жестяные банки. "Зелёные. Для наружных работ" - была надпись на каждой банке той же зелёной краской. Цвет яркий, даже кричащий.

- Не найдут? - удостоверился он.

- Нет, - сказал я.

- Странно, - он дернул плечами.

Я попросил, чтобы он мне налил гороховой тюри на самое донышко. Он ответил:

- Суп остыл.

Хотел было разогреть, но я остановил его. Следовало завершить атаку.

- Сэр Вашингтон, - я подходил к концу. - Каждый парень, которого они сбросят, в детстве закончил школу. Уроки истории он, возможно, прогуливал, но, даже сбегаая с уроков, он должен был видеть памятник. Вашингтон там стоит каждые двести метров, хотя для них, может быть, он никакой не сэр. Это тоже часть нападения.

- Понятно, - он удовлетворенно кивнул.

- Когда закончится продовольствие и патроны, половина парней сохранит здравый смысл и, отложив в сторону малышку Джейн и маленький кольт, достанет размноженную фотокопию. А на ней, Сэр, - ваш дом.

Он что-то хотел сказать, но я вытянул руку и попросил, чтобы мне позволили договорить.

- Другая половина парней от голода и долгой опасности растеряет свой здравый смысл. Они забудут свериться с копией. Однако малышку Джейн они забыть не успеют. Им будет нужна Америка, и люди приведут их сюда.

Сэр Вашингтон, постукивая языком о небо, изображал копытное цоканье.

- Но, достав размноженную фотокопию и поглядев на вашу избу, они не найдут ничего общего. И останутся только две вещи, Сэр Вашингтон.

- Какие? - уточнил Сэр.

- Мысленно распрощаться с Джейн и пустить в дело кольт.

Я закончил. Сэр Вашингтон сидел против меня в совершенном спокойствии. Потом он поднялся, разогрел суп и поставил горшок на стол.

- Только на донышко, - предупредил я.

- Не располнеете, - успокоил он и налил доверху. - Сколько им стоили эти копии?

- Не знаю, - ответил я.

- Слабо я разбираюсь в этих ваших делах, - сказал он, глядя, как я дую на дымящуюся ложку. - Но тридцать рублей для них вряд ли большие деньги.

Так что зелёную краску для наружных работ у сэра Вашингтона купили малышки Джейн из Флориды и Бостона. Я на другой день отдал ему эти тридцать рублей. "Пинзель" он оставил себе.

Теперь у меня опять есть усадьба, залитая ржаной желтизной. Кто-то внутри нее тихо слушает радио. И я где-то близко.

ЕЛЕНА

- Все-таки до чего ж ты слепой, - напоследок сказал отец.

Был третий час пополуночи. Тридцать второй поменялся на тридцать третий. Мы не были склонны по-особому праздновать это событие. Ну и Бог с ним, с этим тридцать вторым. Тридцать три - номер ничуть не хуже. Мы погасили свечи и разошлись по своим комнатам. Отцовская комната уже и тогда была - просто угол гостиной, отделенный массивным шкафом.

- Тридцать третий, - сказал я Елене, когда ее встретил утром, потому что она ушла спать еще до полуночи. - Первый раз иду чистить зубы в этом году.

Она ответила: - Да.

В последнее время она, казалось мне, совсем поглупела. Я думал, вдруг тридцать третий как-то приведет ее в норму, но когда она мне ответила "да", я понял, что прошлогоднее состояние никуда не делось.

- Нет, - сказал я, чтобы ее позлить.

- Нет? - странно скривилась она.

И я, мысленно сплюнув, пошел чистить зубы.

- Граф здесь? - спросил я, войдя во дворец.

Был полдень, но недавнее торжество еще не полностью выветрилось.

- Обрезает розы в теплице, - ответила мне служанка, симпатичная светловолосая девушка в переднике с вышитой картой какого-то города.

- Париж? - спросил я.

- Рига, - ответила мне она. - Даугава, - она провела рукой по рисунку. - Здесь, вот, дорога на Вентспилс, - и, распавля меня, повела пальцем далеко за границы передника.

Дорога на этот Вентспилс проходила как раз между ее грудей.

- Холмистая твоя Рига, - сказал я. - Как его настроение?

- Поднимался с трудом, - ответила мне она. - Но после завтрака тихонько подкрался и шлепнул меня вон тут.

И показала чуть ниже места, где завязки передника образовали бантик. Это была плоская женская попка, которую граф привлек, чтобы развеяться на старости лет. Но я думаю, дальше невинных шлепков его покушения не шли. Потому что, когда мы встречали тридцать четвертый, этот передник украсил женщину явно не первой молодости. Эту не стоило спрашивать о дороге на Вентспилс.

- Граф, тридцать третий, - сказал я, открывая двери зимнего сада. - Вот прошлогодний долг.

- А, - отозвался он откуда-то из своего розария. - Сейчас подойду, не пропадай.

Не ожидая, пока граф подойдет, я сам двинулся на его голос. И обнаружил графа на корточках возле куста желтых роз. Он обрезал розам стебли.

- Тридцать два лита, - объяснил я. - За ноябрь и декабрь.

Это были отцовские деньги, арендная плата за сыроварню. У меня уже не было ничего общего ни с молоком, ни с этими деньгами.

- Ну что, детка, пусть этот год все для тебя решит, - сказал он, встал и расцеловал меня в обе щеки. В левую, потом - в правую. - Веселья, здоровья и многих успехов. Слышишь, как визжат эти сволочи?

Я вслушался, но, кроме шуршания своей кожи, когда я ногтем поковырял левый висок, больше ничего не слышал.

- Визжат? - спросил я.

- Ну, твои собственные детишки - в твоих собственных яйцах.

Он расхохотался, и весь розарий от этого смеха немного присел.

Мне уже было двадцать четыре. Он показал свои грязные руки и широкий карман, в котором тут же осели тридцать два лита за ноябрь и декабрь. Я сам их туда засунул.

- А серьезно, как там дела сердечные? Что-нибудь уже сдвинулось? - спросил он с улыбкой, глядя то мне в лицо, то - на ту область тела, из которой улавливал шум.

- Если по правде, пока ищу, - ответил я. - Тридцать третий. Может, что и получится.

- Не сдвинулось, - огорчился он. - Тогда отнеси ей вот это.

Он нагнулся и срезал длинную желтую розу, чье соцветье едва раскрылось.

- Кому это?

- А кому хочешь, - ответил он.

Я отнес эту розу в графский дворец и засунул за схему города Риги.

- Ай, - завизжала девушка, привычная ездить пальцем с передника в Вентспилс.

- Граф приказал вручить, - объяснил я.

- Мне? - спросила она.

- Да нет, - ответил я. - Верховному бургомистру города Риги.

Как этот цветок меня обогнал, и теперь не знаю. По пути из дворца я зашел на сыроварню и, никого там не встретив, отправился прямо домой. А когда мы в гостиной обедали, он был уже в вазе искусственного хрусталя, что стояла в центре стола.

- Был кто-нибудь из дворца? - я спросил у Елены, она сидела против меня и вместо ответа закашлялась.

И я ничего не узнал.

Вечером зашел Каспяравичюс. Но тогда у нас не было почти ничего общего. Мне он казался неоперившимся, тогда ему было двадцать, и меня немного бесило, что каждый раз на каникулах я вынужден уделять ему время.

- Запаршивел, - я показал пятнышко у него на губе.

- Дерьмо, - сказал он.

Мы вышли курить на двор, я нарочно ничего не накинул, чтобы сразу расстаться, как только догорит папироса.

- Еще побудешь? - спросил он.

- Семь дней, - ответил я, и он жадно сглотнул.

- Кто-то пустил слухок, что ты насовсем вернулся.

- Что мне тут делать, - ответил я, потому что слова "насовсем вернулся" прозвучали как приговор к унылой и долгой жизни.

- Я тут живу, - напомнил он, но мгновенно понял, что это обстоятельство меня не слишком обрадовало. - В конце концов, и она говорила, что отсюда никуда не уедет.

Я понял далеко-далеко не все, что сказал мне Юозас, но папироса уже обжигала мне пальцы.

- Беги, дружище, домой, - сказал я. - Холодно, завтра придешь.

- Ну, пока, - отозвался он. - Тогда привет, Йонас. Пока.

Но остался смотреть, как я с волной холодного воздуха вхожу к себе в дом. И только закрыв за собой дверь, я услышал удаляющийся скрип снега.

- Женили меня, - сказал я за ужином. - Графа и то втянули. Я не слепой, - я напомнил отцу упрек, услышанный утром. - Но такую ни за что не возьму.

- Какую? - отец перестал жевать.

- Мне кажется, - сказал я. - Но это всё между нами. Что даже граф с ней спит иногда.

Елена сидела напротив, она часто и глубоко закашлялась. Отец попытался ударить ее по спине, но это не помогло, и кашель затих, только когда она ушла в свою комнату. В тот вечер она уже не вернулась.

- Прогуляемся, - предложил я ей, это было на следующее утро.

Второго, стало быть, января.

Она разоделась так, будто нам предстояло ехать к завтране, а прямо оттуда - к графу на званый обед.

Но мы прошлись только до сыроварни. Туда - и обратно.

- Я с отцом не могу сговориться, - посетовал я. - Он что-то такое бубнит, а до конца недосказывает. Кто пустил этот слух?

Она замерла, вслушалась и сказала уже на ходу:

- Про что?

- Что у меня с той дворцовой блондинкой что-то возможно.

Она опять замерла, снова вслушалась и тогда спросила:

- А что?

Не будь она мне сестрой, не поклянись я оберегать ее груди, - я бы долго макал ее в снег, чтобы вышибить всё, что нашло на нее за последний год.

Но я же поклялся.

А с клятвой случилось вот что. В детстве я прятал грудь ее покойницы-матери и отдал Елене только, когда она выросла и окрепла.

Потому что сначала Елена не была мне сестрой. Она только мастерски выводила круги на песке.

А потом отец привел ее и сказал, что теперь она живет с нами.

*Перед битвой мужики
Баб хватают за грудки!*

Кто-то сочинил эту песню, и дети всюду ее распевали. Это было в четырнадцатом году, и Елена, уже потом, кидалась камешками в певунов, потому что песня напоминала о матери.

И хотя отец подбежал тогда к графу и произнес "вой-

на”, война случилась вполне спокойная. Если бы не графские скакуны, то и помнить нечего.

Но граф приказал утаить племенных жеребцов, чтобы их на войну не забрали. И тогда отец Елены, кажется, Эдвард, и мать, кажется, Каролина, спрятали этих коней. А немцы, когда нашли, приставили дуло винтовки ко лбу Эдварда. Каролина попросила их не стрелять. Они взамен хотели увидеть, как выглядят ее голые груди. Она решила: солдаты смеются. Когда Эдвард упал, они повторили просьбу. И тогда застрелили ее.

*После битвы мужики
Баб хватают за грудки!*

Ее грудь я однажды увидел в бане. Меня она не стеснялась, не думала, что в памяти соседского мальчика может сохраниться такое.

Когда Елена бросала камешки, я у себя в мечтах стоял перед этими очумевшими немцами. Я был Каролиной. Я вынимал левую грудь, когда они угрожали Эдварду, а правую оставлял. На случай, если нападут на меня. Ведь Бог мне вручил их две: одну мою, а одну за Эдварда.

Я жалел Каролину, но не пробовал ее оправдать. Ведь у нее попросили пустяк. Всего-то и надо было: вообразить себя в бане и каждому из этих солдатиков выдать по двадцать лет. И понадеяться, что время все сотрет в памяти этих вооруженных детей.

- У меня они есть, - я как-то сказал Елене, когда она истощила свой каменный арсенал.

- Кто? - спросила она.

- Титьки. Будешь покрепче, чтобы носить, я их тебе передам.

И еще я тогда поклялся весь мой оставшийся век оберегать эту грудь. Неважно, кто ее будет носить: один из нас, или у каждого будет по половинке.

Вот почему второго января тридцать третьего года, пока мы шли только до сыроварни, до сыроварни - и обратно, я не мог ее долго валять в снегу, чтобы вышибить эту недавнюю дурость.

- А то, - ответил я, когда она спросила: “А что?” - Что я даже не знаю, как ее звать. Мало ли, что придумают. Может, она сама и болтает.

- Ты чего так орешь? - спросила меня Елена.

Я орал, потому что не мог уронить ее в снег, надеялся обойтись криком.

- Странно для меня начинается этот тридцать третий, - ответил я. - Если весь год такой будет...

- Ты ее любишь? - вдруг спросила Елена.

Она не остановилась, даже на меня не взглянула. Смотрела на тропку.

- Я ее просто не знаю, - очень медленно и отчетливо я произнес последнее слово. - Как можно любить того, кого совершенно не знаешь. Конечно, теоретически можно влюбиться в кого угодно...

- А говоришь о ней всю дорогу, - перебила она меня.

- Не я говорю, - горячусь в ответ. - Наш отец, вот он - говорит. Граф - всё какими-то экивоками. Каспяравичюс говорит, что она отсюда никуда не уедет. А я даже не знаю, откуда она взялась.

- Каспяравичюс? - повторила она.

- Курили мы с ним.

- Это я никуда не уеду, - замерев, сказала она и посмотрела мне на ботинки. - Это я такое сказала. А она... она бы, наверно, уехала.

В это время мы подошли к сыроварне. Я отпер двери своим ключом и мы вошли внутрь. Этот ключ я всюду возил с собой, будь то Каунас, или голое поле, на котором проходили учения. Я держал его при себе на случай, если вдруг сыроварня вырастет передо мной совсем неожиданно, в самом несообразном месте.

В тот раз мы подошли к сыроварне там, где она никого не могла удивить. Это и было ее законное место.

- Что мы тут делаем? - спросила Елена, когда я включил электричество, рукавицей обтер два стула, словом, наскоро вернул к жизни постройку, которую отец усыпил на праздники.

- Как все на свете в такие дни, - ответил я. - Пробуем восстановить силы.

- Когда ты опять уедешь? - спросила она и осталась стоять, хотя я придвинул стул.

- Через шесть дней, - сказал я. - Хотя кто-то распускает слух, будто я насовсем вернулся.

- Я распускаю, - сказала она, села и стала распутывать заледенелые шнурочки ботинка на правой ноге. - Потри, - попросила она, разувшись. - Затекла. Башмаки новые, жмут немного.

Елена положила ногу мне на колени, я стянул чулок и стал разминать стопу.

- Надо их дома разношивать, - я объяснил, как следует обращаться с новой обувью.

- Да, - она согласилась. - Дома.

Я смотрел на эту босую ногу и вдруг понял, что Елена - женщина, и у нее какие-то чувства, о которых я никогда не спрашивал. И еще я подумал, что у нее - красивое тело, которого я давно не видал, а только держал эту босую ногу.

- Что это? - спросил я, прижимаясь носом к пальцам ее ноги.

- Духи.
- Какие духи?
- Хорошие, - объяснила она, только не объяснила, при чем тут ноги.

- Ты с вечера знала, что дашь мне размять занемевшую ногу?

- Уже отнемела, - сказала она и забрала свою ногу.

Эта нога стала чем-то отдельным от всей Елены. Елена осталась моей сестрой, а между ногой и мной начались отношения, как у женщины и мужчины.

В тот день я еще раз прошелся до сыроварни. До сыроварни и назад - до дворца.

- Граф спит, - ответили мне во дворце. - Кроме того, он в расстройстве.

- А ты?

- Я в порядке, - ответила мне блондинка, уже снявшая план города *Риги*. - Я-то всегда в порядке.

- Я могу тебя немного расстроить?

Приглашение прогуляться она приняла с удовольствием. Она жаловалась, что боится мужчин, которые проявляют нежность.

- К морю? - спросила она.

- Нет, - сказал я. - До сыроварни - и сразу обратно.

Это ей тоже понравилось.

- О чем вы меня хотите расстраивать? - спросила она по дороге.

- О нас, - объяснил я.

- Но мы совсем незнакомы.

- Вот и заруби это на носу, - сказал я.

Но любая грубость только поднимала ей настроение, вот она и сказала:

- Хорошо.

Я знал, почему веду ее к сыроварне - и сразу обратно. Но не имел ни малейшего представления, как сообщить ей об этом.

- Я Йонас Жямайтис, - сказал я. - Здесь - мой отец, сестра и все остальное, но сам я редко сюда заезжаю.

Я умолк, потому что мы подошли к пруду, она соскочила на заснеженный лед, и только я ее видел. Вышла на другой берег.

- Слышу, - крикнула мне оттуда.

Но я ее вел не кататься по льду, а только испортить ей настроение по дороге до сыроварни. Поэтому я обогнул пруд, и дальше мы пошли рядом.

- И друзья у меня тут есть, - продолжал я. - И графа я давно знаю. Но все как сговорились, все шепчутся, что...

- я замолчал, потому что не смог придумать, как назвать то, о чем шепчутся.

- Что вам, вроде, пора бы на ней жениться. Или что-то такое, - договорила она.

- Да, что-то вроде, - я согласился.

- Или хотя бы просто начать обхаживать. Я что-то слышала.

Десять или пятнадцать шагов мы прошли в молчании.

- Это я и хотел сказать, - выдохнул я, стараясь ее не обидеть, потому что обиды только улучшали ей настроение, которое я обещал испортить. - Что вы и я - невозможная партия.

А она только рассмеялась.

- Вам лучше поехать в Берлин, - сказала она. - Агитировать против этих партий. Там выборы на носу.

Я ответил, что как раз собираюсь.

Мы подошли к сыроварне. Я зазвенел ключами, но она сказала:

- Внутрь не пойду.

И мы повернули идти назад. Я - по ее следам, она - по моим.

- Это ваше такое занятие? - спросила светлая девушка из дворца.

- Ты о чем?

- Ходить к незнакомым женщинам и говорить, что они вам - не пара.

- Я военный, - ответил я. - И пока не выучился, другого занятия нет.

У дворца мы простились. Я понял, что эта девушка, обладательница кусочка дороги на Вентспилс, ничего общего не имеет со слухами о моей женитьбе.

Я решил больше не тратить остатки каникул на розыски того, чего нет.

- Вы ко мне? - спросила она на другое утро.

- К графу, - ответил я и вдруг покраснел.

- Только-только ушел кататься, - она была без своего фартука. - Небось, и лыжи еще не надел.

Я побежал в указанное мне место, но увидел только лыжню. Самого графа я нашел по этой лыжне, он стоял в дюнах.

- Сигары забыл, - это он так со мной поздоровался. Я вытащил пачку смявшихся папирос, и это его обрадовало. Он сказал:

- Ты мне море слушать мешаешь.

Я удивился:

- Да я рта не раскрыл.

- Зато у тебя между ног так вопит, - он громко расхохотался. - Уши вянут, - и спросил: - Что тебе нужно, выкладывай.

И я ему выложил всю героическую историю Берлин-

ского офицерского училища. Потом достал и показал письмо с приглашением туда поступить.

- Только содержания они не дают, - объяснил я. - А дорогу и общежитие обеспечивают.

Граф снял перчатки и долго держал в пальцах письмо.

- Там такое творится, - он поглядел на меня. - Даже сегодня по радио говорили: на выборах победят социалы.

- Но я ведь не за политикой еду, - ответил я.

- А кто тебя знает, - он возвратил мне письмо. - Кроме того, один пункт не годится.

- Который?

- Что курсы длятся три года. Ей столько не выдержать.

Но я уже дал себе слово ничего не слышать о Ней. То, что она поселилась в разумении моих близких, меня не особенно радовало. Но собственный разум я еще мог уберечь. Нехорошо, если в итоге всего разразится свадьба, где на месте молодоженов я буду сидеть совершенно один, а Она - бесплотная суженая - сидеть у всех в головах.

- Вы отказываетесь меня поддержать? - прямо спросил я у графа.

- Не дам, - отрубил он. - Из-за националов, из-за того негодного пункта, и еще по одной причине.

Он все это перечислял, скользя с дюны вниз и отбивая каждую из причин ударами палок.

И Она уже не только витала в пространстве, никому не вредя. Из-за Нее я лишился стипендии.

Четвертого января я опять пришел во дворец.

- Вы сегодня к кому? - спросили меня. - Граф, похоже, не в настроении.

- Это я ему вчера насолил. Объяснил, что он для меня - не партия.

- Это правда, - улыбнулась дворцовая девушка и прикрыла шваброй дорогу на Вентспилс.

Она была в том переднике.

- Я для чего пришел, - сказал я. - Вам, наверное, странным покажется. Но я решил с Ней встретиться.

Еще непонятнее было, зачем я докладываю об этом.

- Это с той девушкой из разговоров? - прямо спросила служанка.

- С той самой, - ответил я и назвал место и время, где захочу ее видеть. - Если только вы мне поможете... - попросил я.

- Но я с ней почти незнакома, - ответила девушка и пальцем поправила старую Ригу.

Обещала все сделать.

Сыроварня уже работала в полную мощь, поэтому отец не обедал с нами.

- Ты должна мне помочь, - сказал я Елене. - Я все хо-
рошо взвесил.

- И что? - спросила она с полным ртом.

- Хочу увидеть Ее.

Она все выплюнула в тарелку.

- Зачем?

- Чтобы окончательно выяснить, как нам обоим жить
дальше.

В семь вечера, под всеми небесными звездами, я при-
шел в условное место.

- Йонас, - позвали меня.

Это был самый край дворцового парка. Там была вко-
пана старенькая скамейка и росло тропическое деревцо.
Но я не могу похвалиться, что разбираюсь в деревьях.

- Юозас, дружище, - ответил я Каспяравичюсу. - Ты
завтра приходи покурить, а сегодня лучше уйди.

Мне тогда стало ясно, что Она, хотя не была бестелес-
ной, но и в одном теле не умещалась. Значит, Елена и та
служанка пошли за двумя невестами, не имеющими друг
с другом ничего общего.

- Так ты мне морду набить пришел? - я угрожающе
засмеялся.

- Я только спросить пришел, - тихо ответил Юозас. -
Зачем ты, баранья твоя голова, их отправил друг к другу?

Я шел домой в настроении - хуже некуда.

- Та подходит и говорит: "Я вас искала", а Елена в от-
вет: "А я - вас", - торопился высказать Каспяравичюс,
потому что знал: не успеет. - "У меня для вас сообще-
ние", - это Елена, а та: "А для вас - приглашение". -
"Отправляйтесь, - она говорит, - к инжирному дереву". И
та повторяет: "К инжирному". - "И сколько тут этих ин-
жиров?" - спрашивает Елена, и та баранья душа не может
ответить, потому что инжир тут один.

Мы стояли против калитки, за которой виднелся мой
двор.

- Еще покурим? - предложил он.

- Кури один, - ответил я, и он меня задержал прямо в
калитке.

- А как ты сам представлял? - спросил он. - Что обе
придут или что одна какая-то не придет?

- Я по-другому все представлял, - ответил я. - Что тре-
тья, а не одна из двух. А никто не пришел - ни они, ни
та третья.

- Я пришел, - он меня успокоил.

Дома в тот вечер мы с Еленой не встретились. Я слы-
шал ее голос, шаги, но нам, по счастью, удалось размину-
ться и этим спасти друг друга.

Я наутро уехал. Было пятое января, еще два дня я мог

спокойно поскрипывать снегом у нас во дворе. Но за столькое времени мы бы неизбежно столкнулись лоб в лоб с Еленой.

После приезда в Каунас я неделю чувствовал себя гадко. Как будто в том парке под фиговым деревом я кого-то похоронил. Потом это все прошло, началась нормальная жизнь, но на расспросы о доме я больше не отвечал: “У меня сыроварня, отец и сестра”.

- Есть отец, - объяснял я. - Но мы видимся редко.

На Пасху я домой не поехал. Летом грузил вагоны, пытался заработать себе на стипендию, в которой мне отказал граф. Я хотел сам все заработать и осесть на три года в Берлине. Но в конце августа пришла депеша, что в берлинском офицерском училище больше не будет курса для иностранцев.

Так вот и получилось с моим образованием за границей. Оно отодвинулось на пять лет. И премудростям артиллерии меня обучал не какой-то прокисший *herr* немец, а француз мсье Жювали.

В сентябре произошло большое несчастье. В мою школу в Каунасе поступил Юозас. Я теперь каждый вечер встречал его в общежитии и слышал: “Может, закурим?”

Думаю, он в эту школу пошел ради таких перекуров. Страсть к авиации разгорелась позже.

Но к Рождеству тридцать третьего, спустя целый год, не нашлось ни одной серьезной причины не ехать домой.

Перед посадкой в поезд мы с Юозасом покурили. После посадки - тоже. Правду сказать, обнаружили даже кое-какие темы для разговоров. И когда он меня оставил у нашей калитки, я даже чуть-чуть расстроился.

С отцом я поздоровался обыкновенно, как полагается. Поднял его над полом, а он велел поставить на место. А вот что делать с Еленой, не было никакого понятия.

Раньше я только разминался с отцом, а разряжался на ней, носил ее по всем комнатам и кричал:

- Сливочная сестренка!

Кровной связи ведь не было.

Но после события в парке, возле инжира, пропала всякая связь.

Я ей кивал, она отвечала. Еще мы робко пожимали друг другу руки.

На другой день она меня познакомила с лучшей подругой. Та уже не работала во дворце и не носила фартук. Ходила с большим надувшимся животом, и тогда я подумал: хорошо, что не Елена.

Они меня, можно сказать, насильно сопроводили к тропическому деревцу на окраине парка и там закидали

снежками. Бывшая дворцовая девушка уже не могла быстро двигаться, поэтому она только лепила снежки, а бросала Елена.

И я подумал, что мы с Еленой можем вернуться к давнишней связи. Но, поглядев на девушек, понял, что это вряд ли возможно. Они теперь между собой были некровные сестры, а я лишь некровный крестный отец, смешавший их эту некровь.

Я пришел к графу и всё ждал, когда он отпустит одну из своих шуточек. Но он спросил:

- Что со стипендией? Дам, раз такое дело.

И я загрустил, но вовсе не потому, что в берлинском училище прекратили прием иностранцев.

Мне вдруг показалось, что граф меня хочет спровадить.

- Винегрет - на холоде, второе немножечко подогрей и папке много пить не давай, - диктовала Елена последним вечером тридцать третьего, а сама пахла так, как в начале года пахла ее нога. - Вернусь, чтобы уже храпели.

Вся она распрямилась, говорить стала много и без всякого повода. Она не была мне сестрой, просто у нас оказался общий отец.

В общем, мне было приятно остаться вот так с отцом, поесть винегрет, разогреть "второе" и философски заметить, что тридцать четыре - совсем неплохой номер.

Точно так же мы с ним сидели и год назад. Но тогда, перед уходом спать, он сказал: "Все-таки до чего ж ты слепой", а теперь, не сказав ничего такого, стал похрапывать за столом.

Я отвел отца до постели, мы по дороге задели шкаф, и в нем весело зазвенел весь поддельный хрусталь.

Поначалу я ждал Елену небрежно, будто и вовсе не ждал, лишь бы явилась вовремя. Затем я ждал раздраженно, допил ликер, которого не осилил отец. Потом я уже весь трепетал от злости, и когда наконец услышал ее, сам себе прошептал: "Подумаешь!" Но и тогда не дождался, потому что она еще добрых пятнадцать минут простояла за дверью. Оттуда ко мне доносилось мерзостное шушуканье. Я тогда лег. А она разулась, подошла к постели отца и подоткнула простыню, одеяло. Ко мне она не приблизилась.

Потом я слушал, как она в своей комнате сняла кофточку, юбку, чулки, расстегнула лифчик и перебросила его через спинку лакированного соснового стула. Сколько раз я на нем сидел. Она осталась без ничего и принялась надевать пижаму.

Потом шла на кухню, разогревала воду, несла ее в ванную, а мне подумалось: что я такое делаю в первую ночь

тридцать четвертого, ликера, наверное, перебрал? Поэтому я постарался заснуть. И когда она вышла из ванной, меня нигде уже не было. Мне снилось, что я стою у инжира и точно знаю, ради кого.

Наутро мы оба с отцом стояли вокруг ведра. Он зачерпывал своей чашкой и жадно пил. Тогда зачерпывал я. Он, потом я. И так - чуть ли не полведра.

К завтраку Елена не встала, в обед светилась от радости. И от этого нам с отцом было немного неловко. Потому что мы ни малейшего отношения не имели к ее новой радости.

- Будут гости, - сообщила она. - Поэтому оба побрейтесь.

Отец стал бриться, а я решил: обойдусь.

В шесть пришла некровная сестрица Елены. А с ней два родных кровных брата, один из которых бывшей дворцовой девушке заделал большой живот, а другой, надо думать, был не прочь то же самое проделать с Еленой. Это мы перед ними должны были бриться.

- Йонас Жямайтис, - сказал я эти двоим ребятам. - У меня тут сыродельня, отец и сестра. Но я приезжаю редко.

Братья тоже представились, но я имена не запомнил. У них тут были Елена, прежняя дворцовой девушка и этот ее большущий живот. И надежды на большее.

Ночью я снова обнаружил себя за подслушиванием шелестящей пижамы. "Что я делаю? - мне подумалось ночью тридцать четвертого, уже дважды подряд. - Что это будет, если весь год такой?"

Второго января я собирался уехать. Пришел Каспяравичюс со своим чемоданом, спросил у Елены, где я, потому что обоим пора на поезд. Она ему меня показала.

- Расцелуй от меня весь Каунас, - велела она и, наскоро пожав руку, поспешила к парковому инжиру.

Они привыкли встречаться там. Два брата - по крови и две сестры - по ошибке. Это моя ошибка.

- Я никак не могу, - сказал я Каспяравичюсу. - Ты один поезжай. У меня тут с графом дела.

- Что я там буду один... - риторически спросил он и уехал.

Через два дня вернулся.

- Прогуляемся, - сказал я Елене.

Был третий день января, и они не встречались возле инжира.

- До сыроварни? - спросила она.

- Может, сначала до моря?

Мы шли таким быстрым шагом, что, казалось, была всамделишная причина дойти как можно скорее.

- Тридцать третий тебе оказался на пользу, - сказал я.
- Ты теперь - другой человек.

- Другой человек, - согласилась Елена.

Но мы говорили про разное, хотя слова были те же. Я радовался, что она такая, а в ее ответе звучало, что со мной больше нет ничего общего. Вот до чего выразительна речь.

- Тридцать четвертый, увидишь, будет еще лучше, - добавил я.

На это она не ответила.

- А тогда с фиговым деревом вышла путаница, - объяснил я. - Ты поняла по-своему, твоя подруга - иначе, а я думал совсем третье.

- А что ты думал? - спросила она, но шаг замедлять не стала.

- Я не подумал, - ответил я. - Что между нами что-то возможно...

Я должен был взять ее за руку, мне казалось, что она совсем убежит.

- Поэтому прошу извинить, - докончил я.

- За что? - Елена смотрела мне прямо в глаза.

- Что тогда сбежал, а ведь мог остаться. А теперь, вот, остался, а ты-то меня вчера прогоняла на поезд.

Яснее признаться, что мы поменялись местами, было вряд ли возможно. Что я - это теперь она, та, какая была год назад. А она - это я с моей прошлогодней холодностью.

- Я в этом году не могу, - сказала она. - Не сердись.

Мы говорили опять не о том. О какой-то вещице, которую я год назад не купил, а в этом году ее пообещали другому.

Дальше началось море, и мы занимались его делами. Смотрели на горизонт, совали пальцы в прибой и решали, когда он холоднее: сейчас или год назад. Мне казалось так, а Елене иначе. А вода была та же самая.

- И давно вы с этими братьями? - спросил я, обдувая пальцы.

- Она давно. А у меня - только теперь началось.

Но и тут речь была не о любви или дружбе. Так, о какой-то стекляшке, которую раньше купила девушка из дворца, а только потом - Елена.

- Мне кажется, я их помню, - сказал я.

- Ты должен их помнить, - отвечала она.

- Да, - продолжал я. - Они шагали в первых рядах.

- Шагали? - она удивилась.

- Они там одни и пели, - уточнил я. - *Перед битвой мужики...* - дальше говорить не хотелось. - Дальше не хочу говорить.

Она своими мокрыми пальцами провела по моим волосам, потом обняла, как некровная сестра обнимает брата, и прошептала, как заговорщица:

- Но они сюда недавно переселились.

- Значит, - ответил я, - они приезжали. Нарочно, нас подразнить.

- Они меня совершенно не дразнят. Даже наоборот.

- Они - два неотесанных чурбана.

- Наоборот. Они элегантные.

Не знаю, чем Елене так приглянулся тот разговор. Тем, что он мне не понравился, или тем, что раньше она попросту не встречала упряма, которому должна была доказать, чем особенны эти братья. Мне только одно и понравилось, что мы так близко стояли. И что слова “Наоборот. Они элегантные” она выдохнула мне прямо в лицо. И я втянул себе в ноздри волну выдохнутого ею воздуха, остальное неважно.

- А я их терпеть не могу, - сказал я. - Они еще, вот увидишь, сколько бед натворят.

- А мне они кажутся даже очень, - отвечала она. - Отпусти. Вот они идут.

Троица глядела с дюны куда-то поверх наших голов. Но я думаю, наша поза портила им все море.

Мы стояли прижавшись, как кровный муж и кровная жена.

А они на дюне выглядели как женщина с двумя охранниками, оберегающими ее живот.

Но Елена решила разрушить всю композицию и примкнуть к созерцателям моря. Я отпустил ее только, когда она трижды ударила меня по лицу. Раз, два и три.

- Не разорвай мою жизнь, - сказала она после третьего раза.

- Но что-нибудь я тут обязательно разорю, - сказал я. - Дальше такого не будет.

Если когда-нибудь она меня ненавидела, пятое января тридцать четвертого года было одним из таких дней.

Отец спал, я дремал, когда она вернулась и пошла в свою комнату переодеться в пижаму. Пока она это делала, неторопливо любуясь телом, которое вызвало такой повышенный спрос, - я должен был все успеть.

Я встал с кровати, вышел далеко за калитку и сказал в темноту:

- Эй!

Мне никто ничего не ответил, но шаги, которые удалялись во тьме, затихли и подождали меня. Я подоспел бегом.

- Эй, - повторил я. - Учти, ты ей - не партия.

- А кто ты такой? - спросили меня.

Конечно, имелись в виду не имя-фамилия, и право так говорить.

- Брат, - твердо ответил я.

- Ты никто, - твердо постановил он.

Это был один из тех братьев. Он свысока изучал меня, будто хотел что-то мелкое различить в снегу, но слышал только скрипучий голос. Он был крепко сложен, и я понял, что наказать его не сумею.

- Никто? - повторил я грустно.

- Абсолют, - подтвердил он. - Хотя бы в этом вопросе.

Когда на другой день приехал Каспяравичюс, я спросил, какие теоретические дисциплины он проходил в первом семестре. Он назвал.

- А партизанскую войну? - спросил я.

- Такой вообще не бывает, - удивился он.

- Партизанской войны не бывает?

- А кто, по-твоему, ее должен преподавать?

- Нам - Сераковский*, - ответил я. - А вам или та - Плятерите**, или этот - Костюшко***.

- Дурень, - ответил Юозас.

Итак, шестого января тридцать четвертого года я начал партизанские действия. Эта война для меня вторая.

- Двадцать пять соток, - сказал я братьям и разложил на столе владения моего отца, я их выпросил в отделе землеустройства. - Чтобы на этих сотках вашей вонищи не было.

- А кто ты такой? - повторил один брат.

- Я прямой наследник.

Этим я подтвердил, что не сяду за один обеденный стол со своими прямыми противниками.

- Эй, - сказал я на другой вечер, столкнувшись с одним из них у калитки. - Ты мой снег потоптал.

- И что? - спросил он.

- Ты мне только что объявил войну, и я принял твой вызов.

- Ты воюй с комарами, вояка. Снега он, понимаешь, для меня пожалел.

Но на другое утро я получил сообщение, в котором меня приглашали прийти к инжиру. Я пришел и там ни-

* СЕРАКОВСКИЙ (Серакаускас) Зыгмунт (1826-63), капитан российской Генштаба. Сотрудник "Колокола" и "Современника". В 1857 организовал революционный кружок офицеров в Санкт-Петербурге. В 1863 руководитель восстания в Литве. Казнен.

** ПЛЯТЕРИТЕ Эмилия (1806-31), графиня, участница восстания 1831 г.

*** КОСТЮШКО Тадеуш (полностью Тадеуш Анджей Бонавентура Костюшко, 1746-1817), польский политический и военный деятель, руководитель Польского восстания 1794 года, участник Войны за независимость в Северной Америке.

кого не увидел. Потом разглядел, что ко мне издалека то-ропится бывшая девушка из дворца, и, если бы она продолжала служить во дворце, город Рига на ее животе выглядел бы как огромный, готовый взорваться, холм.

- Это они тебя подослали? - спросил я.

- Елена, - ответила девушка. - Она не хочет, чтобы вы пострадали. Потому что вы братьев не знаете.

Я, можно сказать, нисколько не испугался, только обрадовался второму фронту.

- Такое вот дело, - досказал я Юозасу.

- Ну, - вздохнул он.

Мы курили с ним у калитки.

- Ну, - повторил он зачем-то. - Дело серьезное.

В тот же вечер одному из тех братьев он трижды врезал по заднице. Раз, два и три. Пока тот поймал его за ногу. Но тут в дверях появился я с такими словами:

- Господа, я вас буду вешать, если вы еще подеретесь на земле моего отца.

Этим я спас Каспяравичюса, потому что братец никак не рассчитывал держать меня за ногу и видеть другого меня стоящим у двери в голубых кальсонах и нижней рубашке того же цвета.

О втором фронте он никогда ничего не слышал.

- Скажи спасибо сестре, что цел, - он обратился ко мне.

- Мне она не сестра, - отвечал я.

- А кто?

- Не твое вонючее дело.

На другое утро уже Елена предложила мне прогуляться.

- До моря? - спросил я.

- Безопаснее будет до сыроварни.

Это было восьмое января.

- Ты когда наконец уезжаешь? - сразу спросила она.

- Когда на отлично сдам практику.

- Такая у тебя практика?

- Практика, - сказал я.

Был воскресный день, только поэтому не работала сыроварня.

- Отопри, - попросила она меня. - Запри, - когда мы вошли. - Я боюсь, - и села на стул.

Со стула, на который она уселась, я не успел смахнуть ни пылинки.

- Если я его брошу, - сказала она. - Тогда он... - и запнулась.

- А ты его собираешься бросить? - спросил я, пока она думала.

- Не собираюсь, - она развязывала шнурки. - Страшно об этом подумать.

Но боялась она не жизни, в которой не окажется этого брата, она опасалась этого самого брата, которого не окажется в ее жизни.

- Жмет? - я показал на уже разутую ногу.

- Нет, - сказала Елена, она уже расшнуровывала другой ботинок. - Я что-то придумала. Если хочешь, и ты раздевайся.

Это был первый раз в жизни, когда мне с таким трудом, с такой силой едва удавалось остановить женщину, решившую обнажиться.

- Ты с ума сошла, перестань, - я поначалу только молл языком, ничего особенного не делал.

- У меня так было в прошлом году, - отвечала она, треща электризованным свитером. - Но это, пойми, не любовь. Это чёрт знает что.

Я вяло пытался мешать ей расстегивать пуговицы. И под ними уже светилось тело.

- Пар изо рта идет, - я показал, как он идет. - Ты заболеть решила?

- Мне и тогда ботинки не жали, - она боролась с моими пальцами. - Это ведь только наше с тобой несчастье.

- Какое такое несчастье? - задыхался я.

- Я только потом поняла, - она на мгновение перестала работать этими своими руками и, едва я утратил бдительность, выскользнула из одежды. - Что ты моя огромная кукла. И ты должен быть у меня на полке. Вот и все.

Она стояла передо мной еще не голая, но уже не одетая.

- А я твоя.

- Кто?

- Кукла. Тут все непохоже на то, с чем ты в детстве играл. Вот и хочу показать.

Она и не думала мне отдаться. Хотела меня разочаровать.

- Это у тебя год назад все было иначе, не как у меня теперь, - прошептал я. - Уговорила, я уезжаю.

Она села ко мне на колени и обняла меня, и я впервые близко увидел груди, доставшиеся от Каролины. У немецких солдатиков не было серьезного повода так резко себя вести. Не было вообще никакого повода.

- Обещаешь? - спросила она.

- Да, - сказал я. - Только сегодня уже поездов не будет.

- Мне, правда, жалко, что наше прежнее время прошло, - призналась она.

- А мне - так ни чуточки.

Потому что она скучала по мне десятилетнему и по нашим тогдашним играм, оберегающим нас от жизни. А

я тосковал, что придется прожить без нее, продолжая игру, будто мы - не куклы.

Тридцать четвертый прошел как-то глухо. Запомнилось только одно событие. Я окончил учебу и с этой поры навеки стал тем, что я есть. Домой вернулся только на Рождество.

На станции я столкнулся с четырьмя знакомыми, а точнее будет сказать: с пятью, а если еще подумать, - их было почти семеро. Два брата, один из которых нес ребеночка, и две женщины с острыми вздернутыми животами. Первая - бывшая блондиночка из дворца, вторая - очень похожая на Елену, но все-таки не Елена.

“Братья трудятся без передышки, - подумал я. - Как будто не бабу, а пузырь надувают”.

А они, должно быть, подумали: “Вот придурок, которого за ногу держат, а он орет: “Всех повешу””.

Мы даже сумели соорудить друг для друга улыбку. Ясно было одно: они простили меня за войну прошлого года.

Но главная правда меня поджидала дома, когда я поднял отца над землей и спросил: а где Елена?

- Ты ее не поднимешь, - хмуро ответил он.

И точно не подниму, я понял это, едва она появилась в дверях. Только не потому, что силы не хватит, а от обиды, которая оказалась сильнее желания поднять ее над землей.

- Бывает и так, - сказала она в дверях, и тогда я понял, чему улыбались те пятеро на вокзале и еще, наверное, двое у них в животах, а особенно - бывшая девушка из дворца.

Они мне оставили бомбу.

Взрывчатка медленно созревала в утробе моей молочной сестры.

Это была единственная беременность в жизни, о которой я никогда не подумал: родится мальчик, а может - девочка.

Я только понял, что отныне моя партизанская война перешла сюда - в утробу бедняжки Елены.

Поэтому первое, что я спросил:

- Сама пыталась что-нибудь делать?

Потому что потом уже все я должен был делать сам.

- Нет. И не буду, - ответила мне она.

Но я это понял не как готовность родить ребенка, а как передачу всего этого грязного дела в мои надежные руки.

Такое было у нас Рождество.

Мы ели наш винегрет и “горячее”, которое не надо было разогревать. Елена его испекла специально для нас. Я

спрашивал, как тут прошел этот тридцать четвертый. Но нечего было слушать, все говорил раздутый живот. И меня не особенно волновало, кто кого бросил: Елена одного из тех братьев, или один из тех братьев - ее. Мой взгляд постоянно спотыкался о то, что братья оставили мне.

- Ну, - вздохнул Каспяравичюс, когда я вышел к нему покурить. - Дело серьезное, - он добавил. - Убить за такое мало.

- Вот именно, - поддержал я его.

Но мы говорили о разном. Он - о войне с братьями, я - о борьбе со взрывчаткой.

- Что будешь делать? - спросил он.

- Отведу разминировать к доктору.

Но она не поехала к доктору. Даже когда я его привез, ничего не вышло. Закрылась в комнате, и сколько мы ни стучали, даже потом, когда говорили: нет никакого доктора, - она из комнаты не показалась.

- Открой эти проклятые двери, - сказал я двадцать восьмого декабря. Было раннее утро. - Делай что хочешь с этим проклятым брюхом, толькопусти меня.

- Открыто, - слабо донеслось изнутри, я даже подумал - не ее голос.

Она была ледяная. Еще не покойница, но уже и не человек. Кожа бурая и от пота влажная, а под потом твердая и какая-то слабая. Если бы я ногтем провел от плеча до запястья, полезло бы мясо.

- Я не умру? - спросила она меня так, будто спрашивала, подавать ли "горячее".

В больницу нас отвозил графский шофер на стареньком BMW. Сам граф тоже поехал, хотя в городе не было дел. Еще отправился мой отец, ехали я и Юозас. Такая вместимость была у графского BMW, тем более, что на заднем сиденье лежала одна Елена.

- Нужна операция, - сказал врач, тот самый, который два дня назад стоял у нее перед дверью. - Ребенок, похоже, мёртвый. И мёртвый, похоже, довольно давно.

Это все потому, что там никогда и близко не было никаких детей. И мне было нужно везти в отчий дом не доктора, а опытного бойца-минера.

- Кто тут будет отец ребенка? - спросил врач, выйдя к нам через час.

Мы стояли там впятером, и ни один ничего не сказал. Будто мы предлагали ему самому отгадать. Но врач знал, что граф это граф, мой отец это мой отец, и ни я, ни тем более он так никогда бы не поступили. Тогда его взгляд остановился на Юозасе и графском водителе, они стояли подряд.

- Который? - спросил врач у обоих.

Но те только повели головами, стряхивая отцовство.

- Быть бы ему великаном, - сказал врач, обращаясь ко всем. - Но уже почти две недели как умер. Не знаю, кому из вас выражать сочувствие.

Вместо скорби и горечи, он прочитал на лицах одно облегчение.

- А роженица? - спросил граф.

- Через неделю и помнить забудет, - сообщил доктор, чем вызвал большую радость, которую сразу же притушил. - Но вряд ли сможет рожать.

Эта моя борьба с братьями завершилась не поражением, но и победы я не достиг. Потому что на поле нашего боя не было у меня никакой возможности зарыть собственную взрывчатку.

Накануне тридцать пятого тот же BMW возвратил ее нам домой. Мы с водителем поддерживали ее, хотя Елена хотела идти сама.

Она даже сидела за общим столом, хотя "горячее" в тот раз готовил отец, а я мешал винегрет.

- Ну что ж, тридцать пятый, - сказал отец, но ничего добавлять не стал, потому что попал впросак с тридцать четвертым.

Той ночью я снова слушал, как она раздевается в комнате. Но за год звуки переменились. Кофточку, юбку, чулки и другое белье она снимала так нервно, как будто соскребала со сковородки присохшие остатки омлета. И пижама даже не зашуршала.

- Прогуляемся, - я смог ей это сказать только спустя три дня и только затем, чтобы она не задохнулась среди плесневелых стен.

Была теплая и сырая зима. Если бы я тогда отправился к графу и услышал: "Ушел кататься", - пришлось бы его везти в клинику на том же стареньком BMW. Скользкими были в ту пору одни лишь крыши, с них все время журчала вода.

- Дай ту свою ногу, - попросил я, когда мы закрылись одни в сыроварне. - Я ее разомну.

Но она не просила разминать ей ногу.

- Или давай разденемся, - я дотронулся до пуговицы на ее плаще. - Вдруг не все до конца потеряно.

Она не поняла, что я сказал.

- Он здорово там нагадил, внутри, - я имел в виду то ли брата, то ли эту ее взрывчатку. - Но не настолько, чтобы мы не смогли все вычистить.

- Нагадил, - согласилась она.

Но словом "внутри" мы с Еленой называли разное. Я - ее тело, от промежности до груди, а она - что-то, принадлежащее ей, но не телу.

Когда я расстегнул первую пуговицу, она ее сразу же застегнула и отвела мои руки.

- Успокойся, - сказала она.

- В прошлом году я тебя не смог успокоить, - я вспомнил тот год и то, как она стояла вот тут и спешила стать голой.

- В этом году все другое, - ответила мне Елена. - Уже никогда не будет прошлого года.

Трудно сказать, что было у нее на уме, но я понял так, как хотел. Что в прошлом все было не так, как в позапрошлом, вот и в этом не будет, как в прошлом, и что в будущем точно не будет, как в этом, значит - будет как в прошлом. Мне было надо приехать еще через год. Через год она снова будет обрывать с себя пуговицы или хотя бы позволит размять ей ногу.

- Как скажешь, - ответил я. - Только за этот год побереги для меня это свое "внутри".

Теперь мы это "внутри" поняли одинаково. И впервые за тридцать пятый уголки ее губ выпустили на свет улыбку.

- Туда больше никто не войдет, - сказала она и, когда я согласно кивнул, прибавила: - И ты не войдешь.

Свою первую партизанскую войну я проиграл. Один из братьев, которым я, разложив на столе бумагу, показывал, где мне принадлежат двадцать пять соток, не только ступил на них, он проник даже в то, что эти сотки должны были охранять. Это был тайник, не отмеченный даже на чертеже, выданном мне в отделе землеустройства. Малая толика отчих владений, закрытая даже от наших глаз.

Но чурбан неотесанный как-то проник и туда. И перед уходом захлопнул дверь и выбросил ключ.

- Кто мы теперь? - спросил я. - Снова как раньше? Я тебе - брат, а ты мне - сестра?

- Даже не знаю, - сказала Елена. - Мы теперь так редко видимся.

Седьмого января тридцать пятого года я отбыл в Каунас, Юозас остался еще на неделю. Я уехал в уверенность, что у меня есть отец и сыроварня, и между отцом и сыроварней временами курсирует одна девушка, но мне она не сестра, не жена и не мать. Хотя в прошлом она мне была и той, и другой, и третьей.

Рождество тридцать пятого я должен был праздновать в Каунасе. Саломея - так звали мою нареченную. Свадьбу назначили на весну, и теперь наступала пора самых больших испытаний. Она сидела от меня слева, справа - еще очень юная ее мать, напротив - ее отец и брат. Это был красный кирпичный дом, зимой он топился углем, он стоял на Зелёной горе, почти в центре Каунаса. С то-

го сочельника он знал только мои следы, проложенные в снегу к ее двери.

- Хорошо уже то, - сказал мой будущий тесть, - что женщины по ее материнской линии не имеют привычки стареть.

Представительница этой достойной линии - очаровательная мамаша одарила меня широкой улыбкой.

Но они предлагали мне в жены не дочь, а почтенный швейцарский хронометр.

Я подумал тогда, что для грядущей жены с удовольствием смастерил бы красивую, маленькую сестренку.

Отгуляв Рождество, мы еще два дня пробыли в Каунасе, а отмечать Новый год поехали к моему отцу. Ибо теперь уже он должен был сообщить, что мужчины по нашей линии работают в армии или на сыроварне и любят приподнимать друг друга над полом.

В тот раз я его не стал поднимать, потому что он отворил нам дверь с необычайным достоинством и с таким же достоинством оглядел нового претендента на свои почти тридцать соток.

- Не такой уж он строгий, - я объяснил Саломее. - Это он только изображает.

- Не твое это соплячье дело, - ответил отец и встал между ней и мной.

Измерил новенькую жиличку. Если б не лысина, он спокойно достал бы макушкой снохе до плеча.

- Елена, - как-то пискливо представилась моя неродная сестра. - Мы искренне рады.

И я хотел сообщить, что Елена не будет такой радушной, какую изображает сейчас.

Стол уже был накрыт, но Саломея привезла два больших чемодана, один из которых держала в руке, их надо было поставить. Если б не те чемоданы, я, наверное, и сегодня чудесно жил бы на Зелёной горе, почти в центре Каунаса.

Но она хотела их положить в нашей общей комнате, а той комнаты попросту не было.

Так они оказалась рядом с кроватью, которая принадлежала Елене.

- Кто мог подумать, - сказал отец. - Тридцать шестой - на носу.

- Замечательно, - ответила ему Саломея. - Несмотря ни на что.

- Да, - сказала Елена. - Ни на что.

Нам за этим столом просто нечего было делать.

- Так вы, значит, не та Бачинскайте*, - спрашивала Елена.

* Девичья фамилия Саломеи Нерис (1904-45), известнейшей литовской поэтессы.

- Я Бочинскайте, - объясняла ей Саломея. - Бо.
- Но читали?
- Листала. А куда деваться, если тебя каждый Божий день спрашивают, не Бачинскайте ли ты.
- Мы с отцом коротко переглянулись.
- Нерис, - объяснила Елена. - Новая поэтесса. Книгу выпустила в прошлом году.
- И не первую, - от себя добавила моя будущая жена.
- Но я - Бо. А она - Ба. Башмак.
- Барокко, - прибавила моя неродная сестра.
- Да, - согласилась вторая. - Кроме того, я моложе.
- Баржа, - еще назвала сестра.
- Можно так продолжать до бесконечности, - заметила Саломея.
- Невероятно. Прекрасно и горько, - всплеснула руками Елена и подала собеседнице выпить.
- Мы снова переглянулись с отцом. Ни он ничего не понял, ни я.
- Он, должно быть, подумал: женщины милы до тех пор, пока мужчины их держат поодиночке. Я подумал: чего ожидать от года, который так начался?
- Но о поэзии за всю мою жизнь больше слышать не приходилось. Правда, было еще маленькое происшествие, не стоящее внимания.
- А кроме Нерис, что вы еще читали?
- Рильке. Хотя, говорят, он мужской.
- Это Рильке для вас мужской?
- Ну, конечно.
- Было, надо сказать, происшествие. Ночевали мы у одних людей. Молочница, Барткус и я. В усадьбе, если не ошибаюсь, у Мартинайтисов. Их ребенок скакал у меня на коленях.
- А что ты еще умеешь? - спросили мои затекшие ноги.
- Петь умею, вязать, куковать, - назвал он все, что умеет.
- Кто ты по имени?
- Я - Марцюс.
- Это был сорок шестой-седьмой год.
- На самом деле ты Марцюс, по малолетству выговорить не можешь.
- Я Марцюс и всё могу выговорить, - твердо ответил ребенок.
- А вязать - не мужское дело.
- Зато я умею стихи сочинять.
- Хрена ты, малый, умеешь, - я его снял с колен. - Стихи он умеет... Марцюс.
- Умею, - он разозлился. - Марцелиус, а не Марцюс.

Петь умею, вязать, рисовать, врать, стирать, куковать, - перечислил всё, что умеет.

- Кукутис, - отрезал я, наблюдая этого мальчика. Мы хлестали глазами друг друга. - Называть - это тебе не стихи сочинять.

- Кто спорит - тот чепуху порет, - ответил он, помолчав. - У того умишко как серая мышка. Шажок в горшок - тут ей и крышка. А кто обзывает - тот не зевает, - и так продолжалось довольно долго.

Больше мы с ним не видались. Но тогда я подумал, что мне с такими детьми легко сговориться. Между тем со своими женщинами в ту первую ночь тридцать шестого года я не нашел общего языка.

- Хватит, - сказал я, когда опустела рюмка. - Обе - мыться и спать. Отец давно уже пятый сон видит.

Тогда еще я подумал, что человек, у которого кто-то есть, получает власть над другими. Потому что в последний вечер тридцать третьего года Елена мне предписала: "Вернусь, чтобы уже храпели". У нее тогда был тот брат.

Мы спали в постели Елены, а Елена - в гостиной, в кровати, которая бывала ничья, если я в ней не сплю.

Когда Саломея залезала в ночную рубашку, я слушал пижаму Елены. Снова шуршит по-старому, думал я, это почти не зависит от материала.

Возле ванной они еще встретились.

- А вы Шиллера почитайте, - сказала одна, но я не различал голосов.

- Почитаю, а как же, - отвечала другая, неважно кто.

Потому что они говорили одинаковыми губами, одинаковые слова, одинаковыми голосами. Одинаково - не свое.

Они делали то же самое, что я делал с братьями, когда положил перед ними на стол владения своего отца. Только они действовали по-своему. Элегантно вели слова партизанскими тропами.

Я лежал в тени той войны и впервые дышал постелью своей сестренки.

Саломее не следовало так делать. А она, заняв ложе Елены, решила, что битва выиграна. Но тут все было заминировано и взрывалось от слабого прикосновения. Так взорвались тридцать пятый, четвертый, третий и прочие, я лежал в их дыму, и, когда кто-то пришел и рукой мне провел пониже спины со словами "Там уже спят", я в какой-то горячке взял эту чью-то руку и все остальное тело.

Той ночью я в первый раз полюбил Елену. Хотя она говорит, что любить другую женщину с мыслью, будто люблю ее, это вовсе не то, что любить ее наяву. Кроме того, она еще говорила, что слушать, как в ее комнате

кто-то ритмично дышит и временами стонет от великого наслаждения, это немного не то, что наслаждаться самой.

Но у нее еще много мыслей о Рильке, Нерис и Шиллере, с которыми я не согласен.

Утром отец приготовил баню.

Я подумал: Елена останется в проигрыше. Она избрала патроны не своего калибра. Потому что одно дело - бросаться словами, а другое - собственным телом. Саломее - не было равных.

Баня была не топлена добрых пятнадцать лет. Я и себя-то в ней плохо помню.

К полудню первого января мы едва успели вынести хлам и слегка ее вычистить. Когда мы втроем обедали, оттуда слышались выстрелы. Так рвался на воздух мусор, скопившийся в дымоходе.

- Ничего, похоже, не выйдет, - усомнился отец, входя в дом.

Он выглядел как простой молочник, если бы молоко пахло сажей и цветом было как сажа.

- Я сразу сказал, что не стоит, - я напомнил свои слова.

Но Елена и Саломея меня не послушали.

Я не знаю, втянули в это отца или нет, но в бане он пробыл час и, попарившись, сообщил, что с него уже хватит. Он был человек в летах.

Тогда и случилось то, чего я больше всего боялся. Я только ошибся, думая, будто первый удар нанесет Елена.

- Мне прятаться не от кого, - только вышел отец, заявила нам Саломея и отбросила простыню. - А вы сами решайте.

Ей было бы странно скрывать наготу от женщины и будущего своего мужа.

Она еще нам предлагала решать, кем мы считаем друг друга?

- Мне простыня не мешает, - сказала Елена, я смотрел на нее и ждал.

- Я тоже не собираюсь хвалиться своими достоинствами, - в этом вопросе мы были с ней заодно.

И Саломея как-то от нас отделилась. Выстрелила своей наготой, наверное, слишком рано.

Когда они сели друг рядом с другом на полке, проигрыш моей сестры уже явно колот глаза.

Ибо рядом с цветущей розой, по стеблю которой струился пот, был положен кокон с головой будущего насекомого. Так выглядела Елена, завернутая в простыню, а рядом с ней - Саломея, ни во что не завернутая.

- Вы чем-нибудь смазываете руки? Они у вас в трещинах, - Саломея еще подчеркнула свое превосходство. - У меня есть крем, если вы хотите.

- У меня только в этом году... - ответила ей Елена, пряча ладони. - Год назад ничего не было. И через год - не будет.

Ага, подумал я, Елена уходит на год в подполье. Но через год ей придется соперничать ради женатого человека и, возможно, молодого отца. Таковы были наши (с женой) планы. Четкие и однозначные.

- Попарьте сначала меня, - сказала Саломея, когда мы решали, кто и кого будет хлестать первым.

Она лежала на верхнем, третьем полке, а мы в два венника нагоняли на нее краску. Она всхлипывала от наслаждения, пусть не такого накала, как ночью, когда ласка предназначалась не ей. Она вся извивалась, ритмично двигались бедра. Лежа на животе, она изгибала ногу и хлопала себя пяткой по заднице, все быстрее и быстрее. Потом ее положили на спину, руки были сложены на груди. Елена охаживала верхнюю часть, я - от пупка до ступней. И казалось, мы подем грядку, разделившись межвым колышком.

И тут, если честно, первенство досталось Елене. Но только пока другая не встала и попросила:

- Обдайте меня водой.

Когда она этой водой сморкалась, плевалась, плескалась, - опять ей не было равных. И мне тогда захотелось избавиться от Елены и самому, и сейчас осушить трясину моей Саломеи.

- Меня хлестать не придется, - сказала потом Елена.

И сама себя отделала веником, а мы слушали, как она себя лупит ветками, на которых почти не осталось листвы, и вскрикивает после смачных ударов.

Потом она окатила себя водой. Опять всю себя намылила. И долго грубой мочалкой терла какое-то место. Наверное, это были запястья.

Второго января Саломея уехала как победительница. Седьмого я должен был к ней вернуться. А восьмого идти на работу.

- Я попробую найти Шиллера, - она отважно протянула руку Елене. - А вы попробуйте крем. Там пузырек на столе. Я специально для вас оставила.

Она только хотела сказать, что мужчине, который встал между ними, наплевать на поэзию. Его больше интересует кожа.

Но мне на станции она говорила иначе:

- Что у вас с этой? - спросила она.

- С Еленой?

- Может, ты ей и брат, - уже дали первый звонок. - Только она так не думает.

- Тут важно, что я думаю, - я помог ей подняться в вагон.

- Обещай мне... - сказала она.

Но в этот момент заскрежетали колеса, и я не успел расслышать, какое понадобилось обещание. Просьба уехала в Каунас вместе с моей Саломеей.

Ужин второго января был такой, каким он не получился два дня назад. Мы сидели втроем и тепло, бессмысленно дискутировали о числах “тридцать пять” и “тридцать шесть”.

Я почувствовал, что только сейчас эти числа меняют друг друга.

Тридцать шестой начался многообещающе и спокойно, хотя и с небольшим опозданием.

В первый день Нового года, по календарю это было третье число января, я понес графу тридцать литов.

- За ноябрь и декабрь, - сказал я.

Он снизил на лит арендную плату.

- А, - ответил мне граф и хитро усмехнулся, пряча отцовские деньги. - Слышал. Ты бы привез показать, - он добавил. - Рад за тебя.

Это уже прозвучало как “сожалею”.

- А как тебе ее выбор? - еще сказал он. - Мне кажется, это все равно как чинить машину, которая тебя однажды уже переехала.

- А кто кого переехал? - вдруг встрепенулся я.

- Да нашу Елену, - уточнил граф. - Этот... парный, прости Господи, экипаж.

- Чурбан неотесанный? - я посмел вымолвить его имя.

- Кто же еще, - отмахнулся граф.

- Но ведь он женат, - зачем-то напомнил я.

- Тут всё очень быстро меняется, - в его голосе я услышал упрек. - Бери и неси кому хочешь, - он срезал длинную розу.

Мы стояли в графском зимнем саду.

- Кому? - я растерялся.

- Надеюсь, что не Елене.

Но больше нести цветок было некому.

- Тебе, - сказал я ей на пороге.

Она взяла розу без слов. Как будто посылала меня за ней.

- Снова встречаетесь у инжира?

Она не поняла.

- Снова братья? - пояснил я. - Они тебя опоили, что ты без них никуда?

- У инжира - нет.

- Так вели ему, пусть придет, - сказал я сердито. - Скажу ему пару слов.

- Он не придет, - ответила мне она.

Поэтому в тот же вечер я сам постучался к брату.

- Вы? - удивилась бывшая дворцовая девушка, отворив мне двери.

Ее украшал передник с огромной оранжевой божьей коровкой.

Я поглядел на смешного жучка и подумал, "во что иногда превращается город, если его построить не там".

- Елена, - ответил я. - Только переодевшаяся мужчиной.

- К нему? - спросила блондинка.

- Да, - злобно отрезал я. - Желаю немедля отдаться.

Мы все стояли у двери. У меня не было при себе отцовских земельных владений: отдел землеустройства еще не работал. Я только хотел поглядеть на человека, от которого за пять дней мои тяжелые пушки не оставят мокрого места.

- Только тихо, - сказала она и, не зажигая света, по темному тесному коридору отвела меня прямо к нему.

Мой противник № 1 спал.

- Как это случилось? - спросил я.

- Нырял, - сказала она.

- Ну и что?

- И всё, - объяснила она. - Макушкой об дно ударился.

- И всё? - не поверил я.

- Да. Вниз от горла - как заморожено.

Я шел домой и думал о двух вещах. Почему Елена несчастлива? Вторая проблема была профессиональная: как победить армию, которую составляют одни лишь головы, оставшиеся без остального тела. А между тем не прекращаются донесения о том, что мы безоговорочно уступаем этим нетесаным головам.

- Не знаю, как с этим бороться, - сказал я Елене, когда вел ее к морю.

Она неотлучно сидела дома и терла ладони кремом. Может быть, оттого что она только ладонями прикасалась к этому брату.

- Это наше несчастье, - отвечала она.

- Пока только его, - сказал я. - Мы со своими справились.

- Я не о том, - сказала она. - Не о том...

Мы поболтали руками в море, и нам обоим вода одинаково показалась очень холодной.

- Знаешь, что мы все время делаем? - сказала она. - Пытаемся стряхивать тех, кто пробует нас любить. Они как мухи, с короткими щупальцами, перебегают по нашему телу. А у нас таких щупальцев нет.

- Слишком ты много читаешь всех этих Рилек, - ответил я.

- А ты слишком мало, - сказала она.

- Но что ты вчера натворила, - напомнил я. - Думала загнать в угол мою будущую невесту. И теперь так путано говоришь, потому что тебя на место поставили.

- Глупости, - встряхнулась Елена, не соглашаясь то ли с первым, то ли со вторым утверждением, то ли с обоими сразу. - Разумная, высокая девушка, - заключила она.

- Отцу она тоже понравилась.

- Но не тебе, - сказал я.

- Я другое выбрала, - тихо сказала она. - Еще выше. И теперь я бесплодная из-за такой вышины.

Мы повернулись спинами к морю.

- Он же ходит по-всякому под себя, - я бросил последний козырь.

Но она ответила:

- Под меня.

Ждать седьмого числа мне стало неважно. Пропало бешенство, которое было в прошлом году и в позапрошлом. У меня не осталось равного по силам соперника. А сражаться ради Елены с самой же Еленой не приходило в голову. Я с женщинами не воюю.

Свадьбу отложили на осень. В июле было намечено познакомить родителей. Намечено в Каунасе, но погода стояла такая, что встречу перенесли в Палангу. Когда мы там все очутились, отец спросил у меня:

- Где я их всех уложу?

Сам он улегся в кровать за собственным шкафом. Родителям Саломеи досталась Еленина комната. Мой шурин, которому было тогда двенадцать, спал там, где обычно располагался я. И что нам было делить. Из оставшихся одеял мы соорудили ложе на полу посреди гостиной. Там и легли: Саломея и я. Устроились так, что третий мог сам выбирать себе место... Я ведь не знал, будет Елене приятно лечь рядом со мной или приятнее лечь около Саломеи. Я также не знал, как будет спокойнее Саломее.

Но Елена, когда вернулась, выбрала середину.

В темноте она запнулась о мои ноги и упала прямо между нами: мной и моей невестой. Саломея и я очень смеялись, потому что были уверены, что это нечаянно.

Когда Елена заняла край, середина досталась мне.

Я лежал на спине. Саломея обняла рукой мою голову и сунула мне между ног свою изящную ножку. Елена была на боку, она от меня отвернулась, только уперла в меня свои холодные пятки.

Не могу похвалиться, что спал той ночью спокойно. В первый раз я проснулся, когда кто-то мне дал пощечину. Но это была рука Саломеи. Во сне. Потом разбудил меня голос, который звал:

- Лезем в горы за медом.

Это была Саломея. Она любила поговорить во сне.

Длинные, мягче кошачьей шерсти, волосы коснулись моей груди. Это снова была она - Саломея. Она положила на меня голову. Нечаянно задела мой нос, я даже открыл глаза. Кто же еще - Саломея. Еще раза три-четыре я почему-нибудь просыпался и все разы понимал: чёрт поberi ее, Саломею.

И тогда я к ней повернулся спиной. И подумал, что в таких случаях делают спящие люди. Они разбрасывают как попало все свои руки и ноги. И моя рука упала Елене на пояс. Я почувствовал, как она вся содрогнулась.

Спящий пробует за кого-нибудь уцепиться, утвердиться на этом свете, чтобы спокойнее видеть сны, и я как истинный спящий положил ногу поверх Елены. Она вздрогнула, но уже не так сильно.

Как истинный спящий, увидавший во сне Саломею, я пробрался под ночную рубашку Елены. Она не стала прогонять мою руку, потому что опять поняла: я сплю.

Но спящий притрагивается к другим тупыми движениями и замирает, обнаружив помеху. А я не хотел останавливаться и, когда своими бессонными пальцами я взошел от ее колена до самого верха ноги, Елена вдруг поняла, что ей пора вздрогнуть. И она сыграла внезапное пробуждение.

Чтобы это продлилось еще немного, один из нас был обязан уснуть. И она изобразила уснувшую, позволяя мне по сантиметру исследовать ее кожу на ногах и на животе. Она придерживала мою пылкую руку своей рукой, которая была рукой спящего, бессильной что-либо изменить в мире неспящих.

Жесткие, непослушные волосы, жившие у нее между ног, скоро совсем намокли. И я понял, что это всё, чего мы могли достигнуть - двое неспящих в этом доме, переполненном спящими.

Наутро мы оба выглядели несколько утомленными. Но всем управляла моя неутомимая теща.

- Купаемся, - предписывала она, и мы всей компанией окунались в море.

- Газеты, - заказывала она, и это была пора ознакомления со свежей газетой, разодранной на три части.

- Обед, - и мы отправлялись кушать.

- Спать. Завтра - в Каунас.

И это значило, что самое большее, чего возможно достигнуть, - намокшие волосы между ног у Елены.

Кто-то мне сильно сдавил то место, из которого еще граф слышал пронзительный визг.

- Что это, черт возьми, вы оба делаете? Вторую ночь подряд.

И это опять была Саломея.

- Саломея

- К чёрту.

- Милая, можешь выслушать?

- Хорошо, что вовремя поняла.

- Саломея...

- Два затаившихся извращенца.

- Заткнись и слушай меня, Саломея.

Но она перелегла в постель к брату. Утром они все уехали.

- Ждем тебя в воскресенье, - меня успокоил ее отец. - Это нестареющая волевая линия. Но, при желании, совладать можно.

А своему отцу я так объяснил:

- Видит во сне всякие глупости. А потом решает, что все наяву.

Он понимающе закивал.

- Каунас, - сказал он загадочно.

- Стольный город, - загадочно подхватил я.

С Еленой мы это не обсуждали. Она спала потом в собственной комнате, у себя в кровати, я - у себя, и снова, лежа без сна, я горестно сплюнул. Что это за жизнь такая, если вечно нам нужен третий, чтобы побыть вдвоем.

- Ты не спала, - сказал я, придя к ней в одном исподнем.

- Отца разбудишь, - отвечала она. - Я и сейчас сплю.

- Тогда я лягу, - предупредил я. - К тебе в постель. Все равно не проснешься.

- Да, - сказала она.

- Так мне забираться к тебе в постель? - спросил я.

- Не знаю, - произнесла Елена. - Если только будить не станешь.

- Отца? - спросил я.

- Меня.

- Но я тихо, - поклялся я.

- Тихо, - повторила она.

- Как муха.

- Да, - она подтвердила.

- Ты ничего даже не почувствуешь. Но мне, правда, ложиться в эту постель? - я немного повысил голос.

- Я не знаю, - повторила она. - Мое дело - спать.

- Да, но я тут стою, - я напомнил ей о себе.

- Я лежу.

- Ты должна решить. Ты одна, - сказал я.

- Не надо будить, - попросила она.

- Тебя?

- Отца.

- Зря ты юлишь, - сказал я.
- Йонас, - спросила она. - Тебе нравится меня мучить?
- Так я ложусь к тебе или нет? - спросил я в последний раз.

И ответила мне Елена:

- Нет.

Свадьбу опять отложили. Свою будущую невесту я снова увидел на Рождество.

- Где она? - я спросил у отца, как только прибыл в Палангу.

- А я тебе что - пустое место? - рассердился отец.

- Что ты, - я оторвал его от земли и сделал два оборота. - Здравствуй. А где Елена?

Ибо я, когда в нижнем белье стоял среди комнаты, еще у нее спросил:

- Сколько этому продолжаться?

- Чему? - она ответила мне вопросом.

- Тому, что мы тратим время. Как будто у нас впереди запасная жизнь.

- Ты Рильке листал? - всполошилась она.

- Отвечай, - настаивал я, - на вопрос.

- Нужно время, - отвечала она.

Получилось, что на вопрос, сколько нужно времени, она ответила: нужно еще подождать.

- Сколько? - спросил я.

- Как всегда.

Я все понял по-своему. Ей нужно побыть одной, чтобы все спокойно обдумать. А она имела в виду, что нам надо побыть вдвоем, и тогда она что-то решит.

- Она выйдет когда-нибудь или нет? - я спросил про Елену, глядя на дверь ее комнаты.

- А вы договаривались? - отец стоял в удивлении.

И тогда в дверях показалась знакомая физиономия. Это был графский шофер.

Но стоял он в дверях, которые принадлежали Елене.

Отец разглядел выражение на моем лице, потому не замедлил с ответом.

- Квартирант, - сказал он.

- Где это он квартирует? - спросил я.

- А что у тебя за тон? - строго ответил отец.

Все в моем мире распалось. Графский BMW теперь часто стоял возле нашей калитки. Елена, чье место досталось этому BMW, проживала у братьев. Там же располагалась бывшая девушка из дворца. Божья коровка сменила Ригу. А всеобщий распад - мирную и сытную жизнь. И когда Елена, запив рождественскую облатку фальшивым маковым молочком из поддельного хрусталя, собралась уходить, я решил идти с ней.

- Как это будет выглядеть? - удивилась она.

- Не знаю, - ответил я.

Когда мы вдвоем вошли в комнату, где она жила и платила тем, что меняла судно под обездвиженным бра-том, тот уже крепко спал.

- А сама где спишь? - спросил я.

Тут была единственная постель, на которой валялось это полено, оставившее от себя справа место для кого-то еще.

- Не может быть, - сказал я.

Но она ответила:

- Это как рядом с тобой лежало бы срубленное дере-во.

Я подумал, это все Рилькины штучки. Потом она ве-лела мне уходить:

- Ни за что, - сказал я.

Той ночью мы еще мерились силами. Иногда она ме-ня вытаскивала наружу, тогда я тупо сопротивлялся. Иногда я ее утягивал за собой, она бешено вырывалась.

Я проснулся, вдруг ощутив чей-то изучающий взгляд.

- С добрым утром, - ответил я этому взгляду.

А он не ответил. Лежал на спине, повернувши ко мне лицо. Это был искалеченный брат.

- А он говорит? - я спросил у Елены, когда, после дол-гих блужданий руки под одеялом, я нашел ее тело.

- Не со всеми, - сказала она.

Мы были голые. Я сначала потрогал ее живот, потом - свой, и тогда вспомнил, что наши два живота этой но-чью прижимались друг к другу. Это была наша первая ночь. Такое медовое утро.

- Злиться не на что, - объяснил я брату, хотя на его бе-лом лице застыла не злость, а удивление. Где-нибудь мы должны это делать. Чем плохое место? И здесь Елена жи-вет.

Но оправдываться не было смысла. Я лежал в постели с Еленой, а рядом - обрубок упавшего дерева.

- Это твое, - я подал ей трусики. - А мое где?

Мы стояли голые у него на глазах и разбирались в бе-лье.

И еще - мы никуда не могли уехать, пока двадцать шестого числа не вернулась наша блондинка с двумя светловолосыми малышами и этим своим габаритным мужем - вторым неотесанным чурбаком.

- Обедать будете? - спросила она, повязывая огромную оранжевую божью коровку.

- Только уже не здесь, - ответил я.

На черном стареньком BMW мы приехали прямо на станцию.

- Не свинячь, - сказал я шоферу про Еленину комнату.
- Ну вот еще... Сам понимаю, - ответил он.

В той комнате он еще прожил месяц. Больше трех лет подряд он ежедневно куда-нибудь подвозил графа. Когда ликвидировали всех графов, исчезли и их водители. Он тогда стал сапожником. Говорят, неплохим. Пока в одно мирное послевоенное утро не задел взрывчатку ногой.

На станцию в черном стареньком BMW нас доставил сапожник Зигмас. Такой, каким он был до войны. Все называли его Сигизмундом.

- Вот он каков, этот мой Каунас, - сказал я Елене. - Если подумать, не такой уж хилый.

Мы стояли в моей квартире. Восемнадцать квадратных метров, такова была площадь. Если сравнивать с отцовскими сотками...

- Здесь так принято? - спросила она, когда я снял с нее Зелёную шубку, поспешил стянуть кофточку, блузку, и она оказалась в одном белье и зимних ботинках. - И на кого я теперь похожа?

- На того, чьи следы вмерзли в стеклянную глыбу льда.

- На лягушку? - рассмеялась она.

Ее такую я и отнес прямо к себе в постель.

- В тридцать третьем у нас это не получилось, - говорил я.

- Был большой ветер, - отвечала Елена, расстегивая мою рубашку. - И потом, мне ботинки жали.

- А в тридцать четвертом, - я коснулся ее левой груди, - когда-то ей было дано спасти одного мужчину, кажется, Эдварда или Эдуарда.

- Тридцать четвертый, - грустно повторила Елена. - Про него мне лучше не напоминай.

- Тридцать пятый вообще, если вспомнить, пустой.

- Пустых не бывает, - сказала она. - Тогда ты жениться хотел.

- Жениться - в этом году, ты путаешь, - я целовал ее в шею.

- В этом? - спросила она, и тогда прибой, мерно качавший наши тела, вдруг разбил о чей-то камень.

Елена стряхнула меня и села в постели, опустив ноги на пол.

С подушки мне были видны ее волосы, шея, потом длинная нагая спина, завершающаяся двумя голыми полусферами, сморщенными постелью. Но, если глядеть на это из-под кровати, будет видна только пара ног, обутых в зимние боты.

Из-под кровати могло казаться, что она уже скоро уйдет.

- Какая разница: в этом - не в этом? - сказал я, осторожно ее касаясь.

- Огромная, - ответила мне она.

- И поэтому надо ждать тридцать седьмого? - спросил я.

- Почему поэтому? - она не ответила на вопрос.

- Тридцать шестой для тебя - это какая-то девка. И ты меня к этой девке ревнуешь.

- Не какая-то, - сказала она. - Я ее знаю по имени. Я ее даже очень подробно знаю.

Мы должны были переждать этот чуждый год, которому оставались считанные деньки. Двадцать седьмого мы валялись в постели, но не касались друг друга. Двадцать восьмого пошли в кино. Двадцать девятого все окутал туман, и мы в окне ничего не видели. А тридцатого, когда туман разошелся, за окном кто-то меня позвал.

- Заходи, - ответил я неохотно.

- Я увидела свет в окне, - объяснила Саломея, когда вошла.

- Да, - я подтвердил, - свет.

- Но ты не один, я вижу, - она увидела обивку Елены.

- Смело входи, - пригласил я. - Это пока еще твой год.

Они сидели за тесным столом, на котором были три чашки, в них - чай, и печенье - в самом подлинном хрустале.

Если бы у каждого года имелось имя, мы могли бы сказать: "Саломея" была так себе. Скоро наступит "Елена". Имя как имя. Посмотрим, что оно принесет.

Если бы у каждого года имелось тело, они бы сидели за общим столом, грызли печенье и сменяли друг друга.

- Крем помог, - сказала тогда Саломея, поглядев на Еленины руки. - А Шиллер - пустое место.

- Возможно, - ответила ей Елена.

Но они говорили не о Шиллере или креме, а о своих зимних ботинках. Одни я сюда сам привел, другие - только что появились на свет.

- Как мы тогда интересно спали, - припомнила Саломея и громко расхохоталась одна. - Спали, - повторила двусмысленно. - Но я тут одна и болтаю.

Потом наступила долгая, беспокойная тишина. "Вот как выглядит то мгновение, - подумалось мне, - когда все, что было "в этом году", становится далеко "в прошлом".

- А вы оставайтесь, - вдруг сказала Елена. - Кто его знает, - она взглядом показала меня. - К кому он теперь подкатится.

- Слова выбирай, - я пытался изобразить возмущение.

- "Подкатится"!

- Если вам нужен совет, - сказала еще Саломея. - Я в нем хорошо разбираюсь. Довольно простое устройство.

- У него, чёрт возьми, есть имя, - бросил я прошлому году.

- Но забавное, - продолжала Елена. - Простое, забавное и здоровое.

- Этого не отнимешь, - поддержала ее Саломея. - Болезни его обходят.

- Не привередлив в еде, - вспоминала Елена. - Что дашь, то и слопают.

- Исключите луковый соус. Соскребают и откладывает в уголок.

- А морковь?

- Вареную - не впихнешь.

- А свежую уплетает за обе щеки.

Я на этом турнире злословия не был первой необходимостью, вот и отправился спать. Кто бы ни победил, я не буду в проигрыше.

- Эй, - издали до меня долетел женский голос. - Она на кухне.

- Кто? - спросил я сквозь сон.

- Саломея, - ответил голос. - Но она там побудет всего часок.

Я открыл глаза. Елена сидела верхом на моем животе. Без ботинок, в одежде, и я кожей почувствовал, что она налегла на меня самым голым местом.

- Что она делает? - я показал подбородком в сторону кухни.

- Я ее попросила, - такой был ответ.

Вся квартира - какие-то восемнадцать метров. Елена в сокровенной своей наготе была не намного ближе, чем Саломея на кухне.

- Ты ее выгони, - прошептал я.

- Нет, - как-то хитро ответила мне Елена и соскользнула вниз.

И я ощутил, как частица меня, которая отличает мужчину, погрузилась в чужую тьму, где кроется материнство и женственность. И тогда я понял, что Саломея на кухне гораздо дальше Елены.

Не знаю, как обозначить звуки, которые издавала тогда Елена. То ли она хохотала, и только потом я догадывался: рыдает. Потом я сам переставал понимать, кто я и почему. И с кем я делюсь этим своим "почему". Но мысль, что на кухне сидит Саломея, не исчезала ни на секунду.

Ощущаю неслыханное блаженство, хотя что это за блаженство - не знаю и, главное, не понимаю: чье оно. Но на кухне есть Саломея.

Тела работают, добывая заветную дрожь, но чья эта дрожь и как работают наши тела - совершенная тайна. Но на кухне есть Саломея.

Делаю то, о чем грезил многие годы. Но на кухне есть Саломея.

Это еще совсем не любовь, только сладкая, спелая месть. Потому что на кухне есть Саломея.

Очень похоже на то срубленное дерево, лежавшее сбоку от нас. Я тогда мстил ему.

Вряд ли мы что-нибудь испытаем без Саломеи на кухне.

Когда мы кончили, я сказал, что надо будет попробовать без Саломеи на кухне.

- Будь добр, проводи ее, - попросила Елена, зарывшись в нашу постель.

Я оделся и вышел на кухню.

Саломеи там не было. Никакого признака, что она там когда-то была. Я проверил входную дверь. В ней торчал ключ, повернутый на два оборота.

Мы совершили подвиг. Мы по любви полюбили друга.

- Ты моя маленькая невеста, - сказал я, когда вернулся.

- Большую я выгнала, - ответила мне в полусне Елена. - И выгоню всех, кто окажется больше.

- Тридцать седьмой, - я поздравил ее с победой.

- Тридцать седьмой, - ответила мне Елена.

Потом мы его повстречали снова, уже заодно со всеми. Сутки спустя. Встретили вместе с отцом. Мы подумали: что же он там один... А еще BMW - у калитки.

- Тридцать седьмой, - произнес отец.

- Тридцать седьмой, - я повторил.

- Да, - согласилась Елена.

BMW у калитки не было. Граф своего шофера отпустил на неделю.

- Тридцать восьмой, - через год сообщил я графу.

- А, - ответил он в своих розах.

- Есть небольшое дело, - сказал я, отдавая деньги.

Шестьдесят литов за ноябрь и за декабрь. Настолько подросла арендная плата.

- Слышал я эти дела, - он ответил, как раньше. - Визжат, как резаные.

Но я пришел совсем по другому делу.

- Мне бы опять не помешала стипендия.

Но граф ответил:

- Не дам. Националы во-первых, - он начал перечислять. - Тот один пункт во-вторых, и, кроме всего, денег мало.

Я устранил главный пункт. Ехать я собирался всего лишь на год. Устранил и второй: никаких "националов". Но то, что я обещал, ему не казалось серьезным.

- Повтори еще, - попросил он.
- Фонтенбло, - я произнес по слогам.
- А там могут чему-нибудь научить? - усомнился он, обстригая розы.

Но через неделю добавил:

- Езжай в это свое Бло, - он терпеть не мог трудные имена. - Это не деньги. Целый курс могу содержать.

Хотя неделю назад перечислял убытки и говорил, что скоро ему придется возить на базар цветы.

- Но через год чтобы на брюхе приполз, чтобы думать забыл про все эти фон и бло, - он срезал длинную розу.
- Неси. Скажи, что от графа.

Так что стипендию мне устроил не граф, а Елена. Граф только выписал чек, он перед этим беседовал с ней. В тридцать восьмом я в почтовом окошке взял то, что в пятнадцатом он, видимо, задолжал Эдварду и Каролине.

- Сколько тут вас с одинаковыми паспортами? - спросили в почтовом окошке. - За день второй такой же.

Женщина с очень острым носом тыкала взглядом мимо меня, там какой-то мужчина слюнявил палец и перебирал десятки.

- Йонас Жямайтис, - так мы друг другу представились.

- Тридцать девять, - успокоил я сам себя и выстрелил настоящим шампанским, приготовленным из самого настоящего винограда Шампани.

У меня еще водился настоящий хрусталь в Фонтенбло, на съемной квартире.

- Сорок, - сказал отец через год. - Непривычно звучит.

- Сорок, - подтвердил я.

- Вы слишком торжественно произносите, - огорчилась Елена.

Но для отца это было последним числом, потом уже он поселился в буквах, жил между "м" и "о".

Но перед этим еще успел погулять на свадьбе. Он был единственным представителем всех наших линий, хиреющих и не очень.

- Батюшка, свёкор, свекровушка, - подначивал я его.

- Выберите, кто что пьет.

- Всем по рюмке ликера, - ответил он тоже в шутку.

Он в последний раз перебрал. Выпил сразу за четверых.

- Ты наша милая соня, - утром сказал я Елене.

Был еще один раз, когда я все это повторил.

- Теперь не будет, как раньше, - сказала она проснувшись.

И так получилось, что я шел ее звать на завтрак, а вышли мы оба, когда отец приглашал к обеду.

- Чего не будет? - спросил я.

- В прошлом году мы это проделали тридцать два раза, - объяснила она. - Я даже дни записала.

- Ну, это все Фонтенбло, - я напомнил. - Для такого дела немалое расстояние.

- Наплевать, - ответила мне она. - Теперь столько будет в месяц.

А в тридцать пятом сама сказала: "Туда больше никто не войдет. И ты не войдешь".

В то утро я понял, что приобрел огромное ненасытное наслаждение, или наоборот, что гора, на которой я собирался долго и мирно жить, понемногу стала выплескивать лаву. Или то, что за всю мою я не смог осознать, каким обладаю чудом. Первой сообразила Наталия.

Первым умер отец. Потом вся страна перестала существовать, кто успел - подался на Запад. Можно сказать: тоже умер.

Так мы лишились графа.

Девушка, ее передник с божьей коровкой и три малыша отбыли в другом направлении. Перед этим она примчалась, хотела оставить мальчишку, который когда-то мешал ей изящно сгибаться и вместе с Еленой бросать снежки. Но я ответил, что нам не нужна взрывчатка от неотесанных братьев. И мальчик отправился с ней. Единственный, кстати, кто выжил из всей их семьи. Так разборчива эта Сибирь.

Второй брат тоже уехал. Трое мужчин несли его через двор, как срубленное старое дерево. В кузове положили у борта. Но он сумел умереть еще по дороге к поезду. Его мне не было жаль. Ибо он не был достаточно осторожен: топтал мой снег, слишком смело нырял.

- Сорок первый, - тихо выдохнул я.

Мы сидели без света.

- Да, - согласилась Елена.

- Может, закурим по этому случаю, - всем предложил Каспяравичюс.

Елена выгнала нас на улицу. Там мы и покурили. Два дипломированных военных, прячущихся от повинности.

- Как тебе прошлый год? - спросил я у Юозаса.

- Говно, - ответил он коротко и без объяснений.

- А у меня лучшего не было, - я тоже ответил коротко.

- А кто отца схоронил? - удивился он. - А вся эта красная слякоть, - он показал на нетронутый, только что выпавший снег. - Или ты в переносном смысле?

- В прямом...- я ответил ему. - Самый лучший был год.

- Из-за нее? - он пальцем обозначил Елену, хлопотавшую в доме.

- Может, просто время пришло.

- Кому? - не понял Юозас.

- Мне, - ответил я коротко.

Вот так: мое время пришло, когда для других его след простыл. Так извернулась наша с Еленой жизнь, когда весь мир замер. Или наоборот: мы с ней замерли, когда мир повредился в уме. Нам было не по пути.

- Сорок второй, - это произнесла Елена. - Надо нам было оставить того ребеночка.

Она еще знать не знала, что этот ребенок и будет единственным, который выживет так далеко.

- Сорок второй, - я повторил только первую часть ее фразы.

Потому что когда-то к инжиру я звал двух девушек. Потом появились два брата, которые каждой соорудили по бомбе. С одной мы кое-как справились, и нам предложили вторую. Она выглядела совершенно как человек, но меня, дипломированного офицера, это еще несколько не убедило.

- Кто нам мешает самим потрудиться, - я посулил ей рожать собственного ребенка, который после начнет кричать "синее!"

- Тридцать раз в месяц мы пытаемся это сделать, - сказала тогда Елена.

- Тридцать два, - уточнил я.

И она заплакала, потому что была бесплодна.

Но мы делали разное. Я тридцать дней, за исключением одного, трудился на наше общее благо, добывал наслаждение. Она работала на кого-то третьего, которого невозможно добыть.

Еще в ту самую первую ночь сорок второго года я вошел в нее с новой целью. И тридцать два раза в один распроклятый месяц долбил ее пустоту, отыскивая опору. Колотился в ее бездетность, не зная выхода.

- Надо нам было оставить того ребеночка, - она любила твердить об этом каждый раз, когда вовремя наступали месячные.

- Оттуда возьму, - я гладил ее между ног. - Может быть, тридцать два - число несчастливое?

И мы его увеличили до тридцати трех.

- В тридцать третьем ты дала мне понюхать ногу, - я как мог защищал две тройки.

- Это теперь не имеет значения, - ответила мне Елена.

Но это, похоже, имело значение, потому что уже в сорок третьем я учуял ребячью ножку и вынужден был признать: это пахнет мой сын.

- Сорок четвертый, - сказал я, когда пробило полночь.

Наутро пришел немец, ниже меня по званию, и сказал, что нужны солдаты, на фронтах чёрт те что. Мое звание никого не касалось.

- Маленький у меня, не могу, - ответил я немцу.

Его рассмешила эта причина.

Тогда я увидел Елену. Она вышла из своей комнаты и была готова на то, что не удалось, кажется, Каролине. Она хотела открыть перед немцем свои набухшие молоком груди. Жизнь кружится вокруг одного и того же, подумал я сам себе.

Но мы откупились рейхсмарками.

“Жизнь дешевет”, - еще я тогда подумал.

Когда мы лежали ночью, я гладил одну ее грудь. Елена все это чувствовала, но я не знаю, что ощущала другая, кажется, Каролина.

- Как он чмокает, - сказал я при виде сына.

- Это он кормится, - поправила молодая мать.

Такая была у меня победа в первой моей войне. “Двадцать пять соток, - подумалось мне тогда. - Не зря я их братьям показывал”. Хотя вся победа умещалась на груди у Елены.

- Сорок девятый, - сказал я свой Молочнице, своему Барткусу, своему Каспяравичюсу и всем своим остальным. - Если их нельзя, привезите хотя бы врача.

Мне его привезли, и тогда я спросил:

- Что за новая медицина, если за целых полгода вы не можете ее вылечить?

- Я бы с радостью... - ответил доктор, у него были связаны руки. - Но нам кое-что мешает.

- Что? - спросил я, хотя был убежден: Елена давно здорова, а в больнице она потому, что у нее такой муж.

- Не было у нее когда-нибудь?.. - он на мгновение умолк. - Каких-нибудь неудачных родов. Или плохой беременности.

- Что за плохая беременность? - спросил я.

- Ну, хотя бы какая-то.

Я начал вторую войну, ибо думал, что первая выиграна. Но тут сработала та взрывчатка, которую подложил непутевый брат в незапамятные времена.

Графский водитель Зигмас, ранее именовавшийся Сигизмундом, точно так же во время Второй мировой зацепил ногой позабытую Первую мировую.

- Сорок восьмой, - сказал я однажды своему чуду. Я к ней пробрался тайком, одолев разболтанную калитку и еще несколько крепостей.

- Мне уже сорок, - шепнула тогда Елена.

- Только будет через полгода, - не согласился я. - Ты всегда забегаешь вперед. Очень торопишься жить.

И она засмеялась, вспомнив о тридцать третьем, четвертом, пятом, шестом, да и седьмом со всеми последующими.

- Никто мне такого не говорил, - это прозвучало двусмысленно.

- Но это правда, - сказал я. - Тридцать раз в месяц для нашего возраста - сумасшедший темп.

- В прошлом году было только два, - она как-то грустно ответила. - Два неудачных раза.

- Ну, это война, - успокоил я. - Какое-то объяснение.

- Сорок, - она повторила свой возраст. - Наверное, снова придется надушивать ногу.

И я увидел: ребенку, чьи карманы набиты камнями, теперь уже сорок. И той девочке, которая пускала молоко по стволу. И той самой женщине, которую обозвали чудом. "Несите скорей от вокзала", - велела цирюльница. Девушка, которую я не ждал у инжира, которую и потом не сумел дождаться. Она была невысокого роста, глаза у нее Зелёные, такими они и остались. Волосы, стянутые в пучок, иногда она их распускала. И еще она мастерски чертила круги. "У меня сыроварня, отец и сестра", - когда-то я так о ней говорил, потом говорил, что дома у меня чудо, ведь сыроварню, отца и сестру куда-то запропасило время. Но чудом и было то, что - видя Елену - я видел ту сыроварню, отца и ее.

Ей было сорок, а я ради нее вел всего лишь вторую свою войну. Она не протестовала, что я за нее так мало сражаюсь, напротив, жить ей хотелось все чаще, но я был твердо уверен, что это у нас впереди. Ей было только сорок, и она была много чудеснее той, которая выводила круги, пускала молоко по стволу, давала понюхать ногу и в одиночку сходила с поезда в незнакомом городе Фонтенбло.

Если б она теперь поставила маленькую благоуханную ножку на тогдашний перрон, немедленно поползли бы слухи, что Жямайтис за свое обучение платит недостойную цену. Ибо страна, в которой живут женщины такой красоты, за право своих мужчин стать им достойной партией, обязана платить больше. Артиллерия - это одно, мужественность - совсем другое.

Ей было сорок, а я все ходил с ума. Из-за нее. Маленького печального чуда с большими глазами Зелёного цвета. Такими они и останутся.

- Пятидесятый, - я не споткнулся на новом числе. - Это будет наш с тобой год.

Но в тот год ее уже не было.

- Ты моя большущая соня, - я склонился над ней. Она лежала в больнице. - Тебе всегда удавалось уснуть, когда другим не до сна.

Но ее унесли куда-то у меня на глазах. Унесли, как будто она никогда не была моей.

Мы жили наскоро, хотя кое-кто мог подумать: мы едва тащимся. “Елена, моя маленькая невеста, ответь мне, что же это такое?”

Потому что не умещается в голове, что приду когда-нибудь к фиговому деревцу и пойму: только двое нас и осталось. Я и тропический кустик.

МОЛОЧНИЦА

Молочницу я успокоил сразу. Ее не тронут. Дети, пятеро, один даже от русского лейтенанта. Ну и что, если она легла под этого лейтенанта от злости. Клаусу мстила, и так отомстила, что потом старший от этого Клауса больше всех и заботился о самом младшем - от этого лейтенанта. А сам лейтенант отправился далеко, на поиски Клауса, может, где-то его настиг, застрелил. А может, и нет. Правда, никто из них не вернулся обратно к Молочнице, даже строчки не накарябал, но их военные звания от этого даже не становятся ниже.

Ее-то я успокоил, но самому спокойней не стало. Нам было надо переселяться. Палубяцкас не возвращался, а нам надо было съезжать.

Но когда я на всех поглядел... Переселимся - и что будет? Выкопать новый бункер - это не новобрачную перенести через мост. Ведь это не просто нора: там нужна вентиляция, и нары, и чтобы земля на тебя не сыпалась, а всю эту землю надо куда-нибудь вывезти, спрятать. И чтобы после всего - ни следа. Чтобы казалось, будто в этом лесу сотню лет нога не ступала.

А были мы вчетвером: две женщины и двое мужчин. Про мужчин тоже надо сказать, что из них двоих с трудом получался один, способный поднять лопату и вскопать огородную грядку. Только грядку, не больше.

Мы с Зигмасом на двоих располагали одной здоровой ногой и четырьмя руками. Нога принадлежала мне.

Я отпустил своих девушек, а они не ушли. Сказал, чтобы нас оставили вдвоем с Зигмасом, нам надо посоветоваться, как рациональней использовать части тел, которые в состоянии двигаться.

Но они заупрямились и остались смотреть, как мы тут, поменявшись руками-ногами, соорудим “супервоина”.

Тем утром, когда нас все-таки окружили, были мы вчетвером и спорили, насколько вредна человеку соль. Потому что мы пили яйца без соли, и я утверждал, что пить яйца лучше всего без соли. Я раньше читал в журнале, что соль вовсе не пищевой продукт, что так можно перетереть Везувий и пить с ним сырой яичный желток.

Так нас и окружили. Мы помолились, сапожник пальцем начертил крест на стене. Он был мастер на такие де-

ла. Крест получался ровный, как по линейке. Там еще еле виднелась его былая работа - она была тоже исполнена пальцем, для Палубяцкайте, когда ее брат не вернулся. Вот так, оставаясь все на местах, мы поодиночке могли повернуться каждый к своей стене и отправить в вышину мироздания последние новости из подземья. Нас уже готовились выковыривать.

Потом мы сцепились руками и попросились, как с незапамятных пор это делают добрые христиане, только нам снова пришлось прощаться, поскольку выковыривать нас не спешили. Наверху ждали подкрепления, предлагали нам выходить и сами не верили в то, что предлагали.

- Устали? - спросила Молочница и поглядела так, будто настало мгновение, к которому я сознательно шел всю жизнь.

- Самочувствие бодрое, - ответил я.

Многие годы я чувствовал сильное утомление, а теперь, как нарочно - нет. Это, наверное, вся моя оставшаяся жизнь, экономно разметившая себя на долгую старость, вдруг собралась в комок, потому что все кончилось.

- Прямо не терпится, чтобы они пришли, - призналась Молочница. - Потому что я очень устала.

Вот тогда я ее успокоил, что пять детей - а один от русского лейтенанта - обеспечат ей мирную старость.

Мы сидели наподобие четверых, затворённых в земле, отделенных от всего света, - которые дождались подмоги.

- Они запустят сюда кого-то из деревенских, - сказал я. - Пригонят кого-нибудь с хутора и нам сюда спустят, а он потом вылезет и сообщит, что можно входить.

- Побыстрее бы, - вздохнула Молочница.

Сверху нам предложили еще пять минут. Если не вылезем, еще через пять вытащат наши трупы.

- Деревенского не могут найти, - я попробовал успокоить других, хотя они и без того были спокойны.

- Я одного боюсь... - сказала Молочница.

- Боли? - я попробовал отгадать.

- Украинца, - ответила мне она. - Вы так его мне вдолбили. Страшнее всего...

- Эта красная звездочка?

- Страшнее всего, когда смотрит, - ответила мне она. - Лицо ваше, а глаза - нет. И все, что под теми глазами - не ваше. И чем дальше, тем больше привыкаешь к этим глазам и всему, что под ними, и тогда страшнее всего лицо.

- Но его же нет - Украинца, - сказал я.

- В этом все счастье, - ответила мне Молочница. - Счастье, что его нет.

Нам сообщили, что последние пять минут кончились. “Тут есть часы, - сказали нам сверху. - Идут они точно. Прошло пять минут и три секунды, четыре. Лезьте оттуда, выродки. И главного прихватите. Будем пить французский коньяк”.

Нас тащили оттуда крюками, спящих, убаюканных снотворной гранатой. Зигмас живым не вылез, умер от сонного газа. С нами глаз не смыкал, и граната его усыпить не сумела. Вот бы им с Палубяцкасом поменяться. Палубяцкас пускай себе дрыхнет на снотворной взрывчатке, а Зигмас там всех уморит, не моргая всю ночь и пуская свой газ.

Я проснулся под чьим-то внимательным взглядом, искавшем ответ во мне или в себе - вопрос, ответом на который был я. Станный взгляд офицера пытался меня изучить, но не смог и спросил:

- Лебедев. Полковник. Такой небольшого роста. Один палец в юности оторван станком. На какой руке?

У меня болела спина, и я ничего не ответил.

- На какой руке? - закричало лицо напротив.

И все-таки очень болела спина - от крюка, которым сюда меня подняли.

- И этого придется купать, Афанасий, - сказала лицо, продолжая меня изучать.

- Искушаем, товарищ командир, - кто-то ему ответил.

- Не пьет он коньяк, - расстроился офицер, которого я все больше разочаровывал. - Это не тот. Подсунули.

- Товарищ командир, тот, - снова кто-то ему ответил.

- Зря ездили, - заключил офицер, оставил меня в покое, посоветовался со своими людьми, потом опять подошел, притиснул ко мне лицо. - В Париже есть большой такой дом, - сказал он. - Ноги вот так расставлены, если вдарить по яйцам - согнется. Как его называют?

Я ответил.

- Не тот, Афанасий, - сказал офицер.

- Тот, товарищ командир, - отозвался кто-то. - Правильно же ответил. Эйфель.

- Вопрос был общей направленности, потому и ответил. Надо сузить направленность.

Они опять совещались, чуть отойдя. Он вернулся.

- Лебедев, - он сказал. - Полковник. Тот самый. У него цепочка на шее. Золотая или серебряная?

- Не помню, - ответил я.

- А когда говорит, вставляет еще одну присказку. Одну и ту же всегда.

Я закрыл глаза. Не было сил терпеть перед собой это лицо. Лицо как лицо, а сил не было.

- На правой, - ответил я.

- Это такая присказка?
- Пальца одного нет, - объяснил я.
- Так вот, - ответил всем офицер. - Нету никакой присказки. И цепочки никакой тоже нету. И пальцы в полном комплекте. Ты, братец, промазал. При всем желании - это не тот.

От меня, наконец, отстали.

- Носилки и все такое - в машину. Тут еще баба такая была грудастая. Была только что, почему не вижу?

Мы, можно сказать, синхронно с тем офицером стали оглядываться: искать Молочницу. Мёртвый сапожник и живая Палубяцкайте были перед глазами, а вот Молочницу мы не смогли обнаружить - ни живую, ни мёртвую.

- Почему не вижу? - повторил властный голос.

- Беда, товарищ командир, - ответил ему другой голос, перед этим названный Афанасием. - Оправиться попросилась. Фёдор ее повел. Фёдор вернулся, а этой грудастой нигде нет.

- Фёдор, это как понимать? - зашумел офицер.

- Придется лицо зашивать, - ответил за Фёдора голос этого Афанасия. - Как будто поезд проехал. А то мы все "грудь-грудь", а ногтей не заметили.

- Я к Фёдору обращаюсь, - прервали его. - Отвечай, Фёдор.

Фёдор, как видно, не любитель болтать, он только в воздухе руками изобразил, как это все у них получилось, а слово нашел одно:

- Тигр.

Тогда офицер за локоть повел его к лесу, где Молочница поцарапала Фёдора, подвел и спросил:

- А такой медальон у тебя откуда, Фёдор? Я его раньше видел?

- С детства, - ответил тот. - Вы его раньше не замечали, товарищ командир. Виноват.

- А что написано? Могу посмотреть?

- Ничего не написано, - ответил Фёдор.

- А ты его снял, и тогда тебя поцарапали, или тебя поцарапали, и тогда ты снял медальон?

- Мой медальон, - упорствовал Фёдор. - От отца достался. А тому - от его отца. И так, товарищ командир, до седьмого колена.

- А буквы чего так странно написаны? И подпись нерусская: Клаус. И год номер сорок три. Почему, Фёдор?

- Возьмите его себе, товарищ командир, - сказал Фёдор. - У меня от него одни неприятности.

- Спасибо, - поблагодарил офицер. - Как думаешь, это чья нога там, в кустах? Красивая ножка, а?

Фёдор тогда ничего не ответил.

Я подумал, хорошо бы теперь Юозасу Каспяравичюсу угнать хоть один бомбардировщик. А нам идти под его прикрытием до Москвы, сметая с земли всех Фёдоров и Афанасиев, обогнуть земной шар, перекусить в Лондоне и идти дальше, только бы никто не говорил так громко: “Это чья нога там, в кустах? Красивая ножка, а?”

- Таких женщин купать надо, - сказал офицер. - Не в моем она вкусе, но кому-нибудь подошла бы, поехала на озеро. А ты ее - камнем по голове. Зверь ты, Фёдор, вот кто.

- Да она обмочилась, - объяснил Фёдор.

- Вот мой ствол, - сказал офицер. - А вот это - твоя башка. И давай по-быстрому, Фёдор.

- Товарищ командир...

- Выполняй. Успеешь ее догнать. Далеко не уйдет. Выполний, мне без оружия долго нельзя.

- Это ж тигр...

- Выполняй, а там разберетесь. Может, она тебя и простит. И, глядишь, поживете в согласии. Детей нарожаете. Ты не тяни, а то потом не догонишь. Ты сам-то откуда был? Из какого угла России?

- С Украины, товарищ командир. Отец - из-под Харькова, мать - из Одессы. Или наоборот, товарищ командир. В точности я не помню.

- Ты не тяни, Украина. Потом вспомнишь. Меня майор уже поторапливает.

- Какой майор?

- Майор “В., не помню фамилию”. Мне оружие нужно, давай поскорей.

После выстрела офицер вышел из чащи, вытер свой револьвер о траву и сказал:

- Там еще два трупа. Медальон, что у Фёдора, должен быть на той женщине. У нее еще юбка была, трусы, без этого ей нельзя. Несите материю.

Нас везли вместе с Палубяцкайте, телом Зигмаса, трупом того Украинца и Молочницей. Ее забросали тряпьем, торчали только рука и нога, рука была вся исцарапана, а нога - не вся. Разило мочой, но то были слезы Молочницы.

Я вспомнил осень сорок седьмого, за мгновение до того, как впервые ее увидел:

- Огонь, - так мне ее обозначили. - Выжжет все изнутри. Не подпускайте ее к этой войне.

- Тигр, - только что сказал Фёдор.

Убил и сказал.

- Выдержим, - я тогда ответил. - Нас самих как-никак обзывают внутренними врагами.

И сразу она вошла. Оглядела всех с головы до ног. По-

ощрительно улыбнулась Юозасу Каспяравичюсу, потом мне, и еще Палубяцкасу. Подала мне листок.

- Тут список, чего я умею, - объяснила она.

1. Руками не трогать, пока сама не прошу.
2. Стирать не люблю, но буду.
3. Не звать по имени и фамилии.
4. Люблю смеяться. Терплю боль.
5. Иногда боюсь темноты.
6. После отдыха прохожу пятнадцать км, с перерывами - и все тридцать. Вот вам и вся Литва.
7. Не гонять без дела.
8. Стреляю.
9. Трижды в неделю хожу проведать детей.
10. Хожу за больными, умею перевязать, а лечить - не умею.
11. Языки: русский, литовский, немецкий. И по-французски - с другого конца.
12. Люблю деликатность.
13. Различаю всякие военные формы.
14. Где север, где юг - не различаю.
15. Чистоплотная.
16. И на диете - в мирное время.
17. Обычно я говорю много и попусту.
18. За чистую монету не принимать.

Всего там было пятьдесят пунктов, полсотни фраз, по которым ее собрали, привели к нам и обозначили словом "огонь". Я не встречал женщины, так просто вмещаемой в пятьдесят предложений и так точно отвечающей слову "огонь".

Мы устояли против ее огня, против пунктов, и теперь вот она ехала на грузовике, прикрытая тряпками, победенная нашей мужской породой и - мало того - неживая.

В этой жизни мне больше нечего было делать.

49. Буду оберегать от себя каждого из наших мужчин.

50. Но пускай и они меня берегут.

Я потрогал ногу Молочницы. Это было любовным признанием. Его произнес человек, готовый повторять это ежедневно, лишь бы слушали.

Эпилог

ИЗ ПОКАЗАНИЙ ЙОНАСА ЖЯМАЙТИСА

Сколько еще повторять: нет никакого Лебедева. Нет и не было. Теперь стали спрашивать про другие фамилии. Приходят, говорят "встать" и сыплют фамилиями, событиями, да или нет, отвечать не задумываясь. А как тут встанешь. Тут и сидеть-то негде.

Допрашивает такой старичок с сигарой. Приносит папку.

- Так, что у нас на сегодня имеется, - он воркует, разбирая бумаги.

- Двадцать пятое мая две тыщи второго, - отвечаю я.

- Скоморох, - отвечает он. - Шут гороховый. А имеется черным по белому, что Молочница пришла к вам в одна тысяча...

- Не знаю такую, - я ему не даю досказать.

- В одна тысяча девятьсот сорок седьмом, осенью, - продолжает старик. - И пробыла с перерывами семь лет. Но Молочницу вы не знаете...

- Сроду не слышал.

Он что-то отмечает в бумагах.

- Так ее могу вычеркнуть? - спрашивает он.

- Вычеркивайте, - говорю.

- Тридцать восемь осталось, - сообщает он.

Верчу головой, чтобы увидеть, кто эти тридцать восемь, но как тут голову повернешь. Ничего я не вижу.

- Тридцать восемь осталось? - переспрашиваю.

- Семь я уже вычеркнул, - говорит он. - Зря так уперся. Женщина ничего из себя, уже была вписана. И связанная что надо. Но если решили, тогда вычеркиваем. Семь долой, и поехали.

- А что это вы зачеркиваете? - я спрашиваю.

- Твои годы.

Странный какой-то старик. Невозмутимый, сигары в рот отправляет одну за другой и все мусолит бумажки. Я надеялся, что пришлют молодого садиста со старыми добрыми методами, а они вот этого раскопали, надо же.

- В Фонтенбло в тридцать восьмом ты тоже, конечно, не был, - он листает все дальше.

- Как же, был. Скрывать нечего, - отвечаю я.

- Я вчера еще тебя спрашивал, признаешь ли знакомство с Наталией. Как сегодня, сидел и спрашивал.

- Так я же ответил.

- Что ты ответил?

- Не признаю.

- А сейчас признаешь?

- А кто она - эта Наталия? - я, кажется, начал нервничать. - Что за женщина с таким именем?

Он какое-то время молчит. Сопит и листает бумаги туда-обратно, хочет не ошибиться, в чем-то удостовериться. И тогда говорит:

- Или мы вычеркнем тридцать восьмой и, дьявол ее заберу, Наталию. Или оставим. Но тогда и ее оставим.

- Вычеркивайте, - говорю.

Он радуется.

- Заодно и тридцать девятый похерился, - подмигивает. - Так мы скоренько все с тобой и обделаем.

Больше десятка листов он швыряет под ноги, и бумажный завал перед ним заметно редет.

- Еще одна женская личность, и переходим к мужчинам, - предупреждает он. - Некая Бочинскайте, Саломея. Что о ней знаешь? Где вы встретились? Словом, все до подробностей.

- Ничего я не знаю, - нет бы вытряхнуть мелочь. - Ни кто она, ни откуда.

- А если я тебе расскажу, - говорит старичок, - тогда вспомнишь?

- Ни за что. Сколько теперь зачеркнулось?

- Еще два, - он что-то раскладывает и складывает. - Если такими темпами все пойдет, скоро переберемся на другой уровень.

- А что это за другой уровень?

- Сам увидишь.

На первом уровне он у меня спрашивает о двух братьях, именуемых неотесанными чурбанами, Сэре Вашингтоне, Мозуре, спрашивает о каком-то еще Сигизмунде, потом о сапожнике Зигмасае, и тогда раскрывает, что это одно и то же лицо. Мы застреваем на одном человеке под именем Йонас Жямайтис.

- О нем тут много чего понаписано, - констатирует старичок. - Посуди, сколько всего сразу вычеркнется.

- Смело вычеркивайте, - говорю. - Без всякого промедления.

- Без промедления не могу, - отвечает он. - Следует соблюсти формальность.

Снова лезет со своими вопросами: знакомы ли, сколько раз встречались, где и когда, передавал что-нибудь или нет, упоминался ли тот или этот.

- Не передавал, не упоминал, - говорю. - А кто он такой? Почему не знаю?

- Так я же тебя об этом и спрашивал, - уточняет старик.

- Спрашивали.

- Может быть, вспомнишь, если скажу, как ты мучился в прошлый раз. Сам себя спрашивал: кто и кого больше предал...

- Нет, я не мучился, - отвечаю твердо.

- Вычеркиваем, - он доволен. - Вот и с мужчинами разобрались.

Показывает фотографию.

- А это вот знаешь?

Там на окраине старого парка, оплетая корнями ножку деревянной скамейки, стоит незнакомое дерево.

- Сколько раз приходилось встречаться? - он повторяет. - Где и когда? Кто вас мог видеть?

- Не узнаю, - отвечаю. - Да в наших местах таких, вроде, не было.

- Это инжир, - поясняет он. - Субтропическое растение. Но бывают и местные виды. Где и с кем ты его наблюдал?

- Не встречались, - говорю я. - А может, встречались, но я внимания не обратил.

- А если скажу, с кем и когда возле этого дерева...

- Все равно, - я его прерываю. - А это уже другой уровень?

- Еще вопрос, и заканчиваем первый уровень, - старичок втягивает в себя дым и показывает еще фотографию. - Где и когда вы встретились, кто и зачем вас...

- Да никогда, - отвечаю. - Кто вообще мог поднять эту рухлядь в воздух?

- "Румплер С один", - объясняет он. - И мы его вместе видели.

- Вы меня с кем-то путаете, - отвечаю я. - Вычеркивайте и этот, говорите фамилии, только не заставляйте меня поверить в ковер-самолет.

- Спасибо, - говорит старичок, гасит сигару и поднимается. - Имен и фамилий нам не осталось. По первому уровню следствия получается, что ты никогда не жил.

Мне следователь попался - дай, Господи. Столетний старик, погруженный в формальности и понимающий, что это формально. Все эти документы, бумаги, которые он листал и зачеркивал в такт моим объяснениям: "Не знаю, в жизни не слышал", - теперь он оставил мне. За ночь я их прочту.

- Приветствую, вот и второй уровень, - говорит он наутро, втягивает и выдувает дым. - Сегодня допрос по моей методке. Называется - пытка вымыслом.

- Я ночью все прочитал, - отвечаю я. - Кто-то переписал мою жизнь. Там нет ничего моего.

Он велит закрыть глаза и применяет свою методку.

- Твоего тут ничего нет, - говорит он и ведет меня за руку через какие-то лабиринты. - Один засранец все это перекатал. Твоего ничего тут нет.

И мне странно, зачем это все повторять, потому что: вот же он - я, стою в дюнах, совершенный сопляк, но все вокруг не мое.

- Кто такая? - спрашиваю ребенка, а сам вывожу у него на груди два черных круга.

- Твоя Елена, - слышу в ответ. - Я такие круги привыкла чертить на песке.

- А что они значат? - показываю на плоскую грудь, где только что начертил углём две неровных окружности.

- Здесь должно что-то такое вылупиться, - отвечает. - Каролине на радость.

Девочка много таких окружностей выводит потом на песке. Я в моей жизни ко многим таким прикладывал руки. И должен признаться: невинный предмет, а вызывает великое беспокойство.

- Это моя Елена, - признаюсь я. - Когда мы с ней встретились, она была уже спелой барышней. В Каунасе пришла на танцы.

И что я поделаю, если этот ребенок из-за меня хлюпает носом. Стоит и всхлипывает посреди пляжа. Подходит прыщавый парень и дергает меня, говорит:

- Закурим.

Но я не любитель устраивать перекуры с такими дубинами.

- Я, - он говорит, - Каспяравичюс Юозас.

Припоминаю Каспяравичюса Юозаса, он с проседью, мы виделись раза два во время войны. А кто этот - узнать не могу.

- Вы, - я говорю, - лучше меня не путайте. Тут идет следствие. Я вон с тем старичком.

И мы с моим старичком-дознавателем перелетаем во Францию, там такой город, от Парижа на юг.

- Когда прибывает чудо? - спрашивает в парикмахерской женщина, я там стригусь, и недорого.

Говорю:

- Вы о чем?

- Да о вашем чуде, - она отвечает.

- Чудес не бывает, - я отвечаю. - А если у вас дефицит общения, так за мной в очереди ожидает вон тот мужчина. Вдруг он развязнее.

- Мсье Жювали, - отвечает цирюльница.

- Вы тут всех знаете, - я удивляюсь.

- Я - Наталия, - говорит она.

- Так Наталия - это вы, - радуюсь я. - Мне из-за вас следователь два года вычеркнул. Заткнитесь и молча стригите, раз вы цирюльница.

И мне она выстригает макушку, чтобы выглядело как плешь, и я с этой лысиной выхожу на улицу, а это не улица, это ржаное поле, и передо мной стоит девушка, наверное, тоже из парикмахерской.

- Кто такая? - спрашиваю.

- В задницу, командир, вас и ваши вопросы, - отвечает она.

- А все-таки, - говорю я. - Кто такая и что мы тут делаем?

- Мразь этот ваш украинец, - отвечает она. - Ну и где та красная звездочка? Молочницу так легко не обманете.

Та Молочница, вот она кто. Мне она стоила семи лет.

- Покажите инжир, - подначиваю своего следователя,
- и к черту этот второй уровень.

Он велит мне открыть глаза.

- Очень больно? - интересуется.

- Пустяки.

- Завтра будет больнее.

На другое утро приходит и говорит:

- Будем пытаться забвением. Или сразу во всем призна-
ешься.

Не признаюсь.

- Так было - или не было? - он так строго еще не спра-
шивал.

Мне трудно понять, о чем он.

- Не было, - говорю твердо.

Странные у старичка методы. Сам он странный, а то,
что называет следствием, выглядит совсем уже странно.

- Мы, - говорит, - по своим понятиям тебе изменили
прошлое.

- А какие ваши понятия? - спрашиваю.

- Нам, - говорит, - оно не понравилось.

- Вы, - отвечаю я, - многое можете. Ваши методы мне
знакомы. Но что можно сильнее всего изменить - это па-
мять. Прошлое - невозможно.

- Я, - говорит, - как раз об этом. Признавайся по-
быстрому, иначе переходим к третьему уровню.

Почему не пройти по всем этим уровням, они ка-
жутся вполне безобидными.

- В чем, - спрашиваю, - надо признаться?

- Что стоял под инжиром, лежал под бедняжкой Ната-
лией, тарасился в небо на самолет, а в сумерках каждый
вторник копошился под двуспальной кроватью в избе у
Вашингтона.

- Нет, - говорю. - Не могу. Не можете мне присудить,
чего не было.

- Закрывай глаза, - тогда говорит старичок. - Будем
пытаться забвением.

Чувствую, как негодяй опять применяет свою методу,
таскает меня по чьей-то чужой жизни, предъявляет людей
и предметы. Одни со второго уровня, когда шло испытан-
ие вымыслом, других вижу впервые, третьих доподлин-
но знаю.

- Елена, - говорю своей женщине. - Это третий уро-
вень. Они путают две реальности. Этой женщины, кото-
рая ждет ребенка, этих двух великанов и этого страшно-
го дерева нет наяву. Ты - одна.

Она оборачивается ко мне и глядит, словно ее позвал
человек, который вечно путает лица.

Такая метода.

- Отец, - я жалуюсь. - Я вот с ней говорю, а она как будто не слышит.

- И я не слышу, - отвечает отец. - Не слышу и не желаю видеть, если близко не знаю.

Уходит через парк в сторону сыроварни. Сыроварни там нет, а он все уходит туда, хотя она в другой стороне и пешком до нее не достанешь.

Потом с Каспяравичюсом выходит такая несообразность. Он подгоняет меня. Велит идти вон до тех деревьев, что за избой Сэра Вашингтона.

- Нет никакой избы, - отвечаю. - И в ней никто не живет.

Подгоняет.

Мне предлагают людное прошлое - со всякими парикмахершами, Молочницами, Сэрами и инжирами, - и чтобы я все это подписал. Или не предлагают вообще никакого.

- Так было - или не было? - долбит следовательно, отозвав меня из метёды.

- Не было, - повторяю твердо.

Возвращает на второй уровень.

- Как же не было, командир? - спрашивает Молочница, и ее глаза набухают слезами.

- Молочница, - отвечаю. - Ты в самом деле очень смелая женщина.

- В задницу...

- Слушай дальше.

Я доказываю, почему ее никогда не было. Она мне говорит, что уже подписала.

- Как ты могла, - я кричу.

- Все подписали, - объясняет она. - Сапожник, Каспяравичюс, Сэр. Даже Мозура свое наказывал. Сивилла, Августина. Грустно ведь, если не было.

- О какой грусти ты говоришь, - кричу я. - Я говорю о прошлом, а ты не слушаешь. Разве я не с тобой говорю? Ты - мать пятерых сосунков...

- Со мной, - она широко улыбается. - Значит, все было.

Я второпях отбываю в Париж и оттуда потом - на поезде.

- Парикмахерша, - я кричу с порога. - Не вздумайте ничего подписывать.

- А что тут страшного? - не понимает и подносит к бумаге паркер.

- Фальшивка.

Я подбегаю и выхватываю листок. Но там написано всего-навсего, что я приду в понедельник. Сразу после мсье Жювали.

- Не распугивайте клиентов, - говорит Наталия.

- Не птицы, - бросаю я. - Этих не распугаешь.

- Жямайтис, - вскипает она, - если мы однажды прогулялись до Сены, это отнюдь не значит, что будет вторая прогулка.

- Отнюдь, - соглашаюсь я и выхожу из метóды.

- Было или не было, я тебя спрашиваю? - спрашивает старичок-следователь и сучит ногами по снегу.

- Оставьте в покое, - прошу, - меня и все мое прошлое.

- Мы таким образом уйму людей спасли, - объясняет он. - Начиная с самого Галилея.

- И уйму приговорили.

- И это правда, - он соглашается. - Давно уже все признались. Только тебя не хватает.

- Вы подделали подписи.

- Таков этот мир, - отвечает он. - Мы прячем правду. Потому что мы - литераторы.

- Вы коммунисты, - я плюю в его сторону.

- Какие мы коммунисты! Только методы схожие.

- Скрываете даже, кто вы такие есть.

- Так было - или не было? - он спрашивает опять.

- Не было.

- Было или нет, я тебе говорю?

- Я вам никого не выдам.

- Я спрашиваю, было или не было?

- Не было.

Он велит мне закрыть глаза.

- Это - который уровень? - уточняю я.

- Последний.

- Как звать?

- Пытка небытием.

Стою в отделе землеустройства и норовлю вцепиться во владения своего отца. Если не уцеплюсь, навсегда потеряю Елену. Потом стою у окошка на почте. Я - Жямайтис, он - тоже Жямайтис. Если пожму ему руку, всю остальную жизнь буду гоняться за предательствами. Не прикасаюсь к его руке и не трогаю документов по землеустройству.

- Здорово, - криком кричу, - вы сумели меня отнять у меня самого.

Потому что прошлого моего нигде уже нет - вплоть до того единственного мгновения, когда я еще, кажется, существую. Стою на вокзале в Париже.

- Или ты - он, - откуда-то издали доносится голос. - Или я теперь в оранжерее беседую со своим розарием.

- Это методика Лебедева, - пробую по-всякому протестовать.

- Правильно. А вот и он сам.

И тогда ко мне приближается маленький человек с усами.

- Заблудились? - он задает вопрос.

Моя рука тянется к чемоданной ручке. Когда я коснусь ее, весь мир оживет, защебечут птицы, замельтешат бродяги, тронутся поезда, и я буду должен прожить это время, теряя всех по порядку, пока не останемся - я и этот инжир.

- Я согласен взять эту ручку, - машу в пустоте, в поисках чемодана. - Всё признаю, согласен.

- Слишком поздно, - издалека доносится голос, который хрипло меня допрашивал. - Чемодан достался другому.

- Ну так дайте мне взять хоть что-нибудь.

И тогда мне позволяют взять холодную руку Лебедева, слышу теплоту его слов.

- Йонас, - произносит товарищ, - мы оба прожили страшное время. Мы друг другу его устроили.

Смотрю на его седые усы и по их блеклому цвету я понимаю, что уже пятьдесят четвертый и я уцепился за самую последнюю кончину этого человека. Человека по имени Йонас Жяматис.

- А все-таки было здорово, - дружески утешает Лебедев.

И я понимаю: в Фонтенбло нас собрали в одно училище для того, чтобы мы потом разлетелись и что-то такое посеяли.

- Расстреляете? - это я спрашиваю.

- Порядок такой, - отвечает друг моей юности. - Весело мы тогда возвращались на поезде.

Он что-то вынимает из своего чемодана, плескает в две рюмки и говорит:

- Я ждал с той поры. Я ждал.

И когда выпиваю, солдат, выросший рядом, стреляет мне прямо в висок, так, будто мне подливает еще, или так, будто хочет выплеснуть все, что я только что выпил.

- Было или не было? - спрашивает старик, возвратив меня из метёды.

- Это как посмотреть, - я нарочно его сбиваю.

- Через плечо, - отвечает он.

Я оборачиваюсь и вижу, как солдат собирается выстрелить в чей-то впалый висок.

- Старый, - я молю старика, - ты хоть понимаешь, что вы творите?

- Обращаться только по старшинству, - отвечает мой старичок.

- Вы подделываете матерей, рождения, жизни. Ничего для вас нет святого.

- Вся система такая.

- Потому я с ней и боролся, - отвечаю я. - Десять лет воевал.

- И много навоевал? - спрашивают.

- Всё поменьше стало вас, выроdkов.
- А методы все сохранились старые. Вставай теперь, воин, и обращайся только по старшинству.

Но где тут встанешь. Тут и сесть не получится.

- Коммунисты, - я повторяю.

- Мы - не коммунисты.

- Палачи.

- Мы не палачи, мы - литераторы.

- Оставьте в покое, - прошу.

- Обращайся по старшинству! - орут. - И во всем признавайся.

- Граф, - обращаюсь я.

- Вот ты как.

- Не мучьте, - я говорю.

- Так было или не было? - говорят. - Летел самолет и бежал отец, или нет? Ребенок чертил круги или не чертил, ногу давал понюхать? Женщина из парикмахерской говорила, что ты предавать по-человечески не умеешь? Был Сэр Вашингтон, он вам писал коровами? Молочницу помнишь? Она плакала - с другого конца? А сапожник любил поспать, была у него хоть одна нога, а Сивиллу сдернули с велосипеда, а может, с дерева, со ствола, и тогда разбилась вся банка? Мать Жямайтиса стреляла, оседлав пулемет, умоляла весь мир? Она попала всему миру в сердце или у мира нет сердца? Что чувствует человек, когда предает? Что ты тогда почувствовал? Ты тридцать два раза долбил в самую пустоту только затем, чтобы потом услышать, как он закричит "синее!"" Что ты тогда подумал? Ты сидел на повозке, ты или нет приколотил к ней покрышку, хорошая лошадь у Сэра? Не лаеет? Был или не был, - я спрашиваю, - инжир? Это такое дерево. Было оно или нет?

- Было.

- Ну, наконец-то, - отдувается граф и уходит с моей могилы.

Я еще колочу лакированным башмаком в трухлявую крышку гроба, но никого наверху уже нет. Только свежие отпечатки графских зимних ботинок.

Я снова, похоже, кого-то предал. Потому что вот так оставляют в покое только тогда, когда кого-нибудь предаешь.

А что бывает, если ты предаешь тех, кого никогда еще не было?

Что же тогда с ними сделают?

*Перевел с литовского
Георгий ЕФРЕМОВ*

**ГЕОРГИЙ
ЕФРЕМОВ**

**БАЛТИЙСКИЙ
ПУТЬ**

Во время очередного путча
под Вильнюсом, в августе, возле пяти
я ехал проселком, а сизая туча
сопровождала меня в пути.

Поздно: у самого переезда
на фоне больших полевых работ
стоит распахнутый “Форд-фiesta”
и двое уложены на капот.

Прапорщик приступил к осмотру
и, видимо, закусил удила, -
парню уже надавали в морду,
а девушка только слезы лила.

Путана, ундина или гитана, -
ее вовсю колотила дрожь,
а пряжка на ремне капитана
так сияла, как ломаный грош.

Я вежливо пристроился рядом,
губы скосил в улыбке: “Не дрейфь!” -
и, получив по спине прикладом,
остался невозмутим, как Фрейд.

Мы парились в кровавом тумане,
вдруг пролетел вороненый “Додж”,
а туча устала висеть над нами
и пролила полновесный дождь.

Вояки уехали в БТРе,
под радиоскрежет: “Срочно в район!”
А мы добрались до какой-то двери
и целую ночь провели втроем.

Она гитана или ундина,
а я не видел подобных ласк,
и туча, огромна и нелюдима,
молчала и не отводила глаз.

И дальше ни камешка, ни заноса:
туча, душа, нагота, враньё,
необыкновение - как заноза.
Просто. А мертвенно без нее.

Такого ни в матери, ни в отце нет,
а я сберегу ее среди смут,
даже если меня оценят
или если поймут.

В СУМЕРЕЧНОМ ЛЕСУ

Хочешь - лети
в когти голубю и ворону:
хорошо нам на полпути,
когда будущего и прошлого поровну

до и после дыхания эхо
вместе с морем и вместо - ветер
в супермаркете “Эго”
был и убыл
себя не встретил

там садовая мебель
мир лекал
чистота фаянса
так и хочется: не был
не привлекал
не состоялся

РОМАНС

Выше глинистых долин
журавлиный длинный клин,
как надорванное знамя,
плещет, ничего не зная.

Над полянами полей
волопас и водолей
расстилают воздух птичий,
и во сне поет возникший.

Тьма светла и молода -
в ней стога, над ней стада.
Нету края,
нет различий,
нет ни страсти, ни стыда.

В НЕБО

Шествуешь по воде, расточаешь хлѣбы, строчишь в альбом,
даже в беспамятстве скорбишь о любом
заусенце.

Богу подобен, зачат в грехе,
непорочным рожден, но с камнем в руке
и в сердце.

Волен, а выбираешь тюрьму и ложь,
правду гноишь и гонишь, но только о ней поѣшь.

Ночью пляшешь под плач соловья,
звезды лоя, за Луной плывя
в небо.

А когда ни звезд, и Луны никакой,
идешь сквозь века, озаренный рекой
и лесом.

Слаб и нелеп, оставляешь след
там, куда ангелам входа нет
и бесам.

С горних высот нисходишь во мрак и срам,
в теплый бездомный прах, открытый ветрам.

Горы отодвигаешь, громозишь города,
и тебе покорна слепая орда
и туча.

Вечно жалеешь о дальних мирах,
а ближнюю целину не жалуешь, сея страх
и муча.

Сад, или дом, или море с крыльями кораблей?
Нет, Содом и Гоморра тебе милей.

Закону тайги и джунглей учит тебя земля,
сын этой школы, не выбивайся в учителя,
не стоит.

Христос или Корчак, - если не ты,
кто обессмертит твои черты
и скроет?

Коктейлем Молотова или циклоном-Б
не изменишь и не объяснишь ничего в тебе.

Это тенистый мир, чешуйчатая зола.
Женщина тебя выбрала, вобрала
и исторгла.
Бога ты создал сам, и во зле обнаружил дух,
и для спасения изобрел потаскух
и правила торга.
Выкормыш неба, птенец, не закрывающий рта,
нету тебе приюта, ибо ты сирота.

Ночью ты снова пляшешь под плач соловья,
звезды лоя, за Луной плывя
в небо.

ЖАННА ДА

У нас на Якиманке
была одна звезда,
ее друзья по пьянке
прозвали “Жанна Да”.

Мне, в общем, нету дела,
хотя и говорят,
что эта наша дева
давала всем подряд.

Но, что бы там ни ввали,
а резеда цвела
и тумба на бульваре
была еще цела.

Была большая драка
без страха, без вранья,
и за руку из мрака
ты вывела меня.

А выжить в этой бойне
я толком не умел,
но ты велела “пой мне!”
и что поделать - пел.

Неловко целовались
внизу у “Поплавка”.
От той поры остались
одни лишь облака.

Об Орлеанской Жанне
ты слушала в слезах,

и голуби дрожали
в строительных лесах.

И можно, не вникая,
ответить без труда:
да кто она такая? -
подвальная звезда!

А птица в небе кто вам -
жена или сестра?
Ты на огне спиртовом
сгорела без костра.

Ты нежностью неожиданной
отмыта добела
и для меня не Жанной,
а Золушкой была.

За то и поминаю
заступницу мою,
понять - не понимаю,
а всё равно пою

СЛОВЕСНОСТЬ

не для прокорма
со-истязание
со-дерзание
просто форма
а она и есть содержание

ПРУДЫ НА БУЛЬВАРЕ

К этим прощальным прудам вернемся когда-нибудь
над запотевшими льдинами руки оттаивать.

Всех-то сокровищ: апрельское снежное крошево.
Кроме весны и Москвы - ничего хорошего.

Да вот еще эти крапленые лебеди
в трепетном, жалком любовном лепете.

Мир всё новее, а жизни по-прежнему кратки
и тяжелы мановенья бензиновой радуги.

Лебеди-лебеди,
верю, что вы вместе с инеем не истлеете.

Господи, сколько б рука Твоя ни отнимала,
не обеднеем. А сколько ни дай - всё мало.

Кто-то забыл на небесной пустой наковальне
шорох огня и прерывистое воркование.

С каждым порывом свободней и сокровенней
талой воды бессловесное приникновение.

В коконе купола, в капле, в надтреснутой колбе -
голые крылья тополя, листья голубя

не требую молю
прости вину мою
которую не помню
которую люблю

все пути все пути
давно в твоей горсти
меня простить не можешь
кого-нибудь прости

ОХОТНИКИ ЗА СЕРДЦАМИ

Та Якиманка,
юные холода,
ловец и приманка -
луна и вода.

Водимся, ладим,
дрожа и едва дыша:
что там у них под платьем -
сердце или душа?

Сдуру и с перепугу,
весело и силком
стали друг другу
зеркалом и оселком.

В том городе пылком,
за пазухой у ловца
мы были обмылком
одного леденца.

Пусть в этом зеркале
я выгляжу как мясник:
охотники за сердцами!
И я был одним из них.

Подумаешь! После страсти
ночным серебром горя,
ступни, колени, запястья
сияют поверх алтаря.

И в улочке подсоборной,
на лотке у слепца -
игрушечный двор мой:
сахарные сердца.

* * *

Не надо великой любви,
сойдет и простая:
иди и живи,
ничем не блистая.

Побудь мне в пути
опорой, преградой -
то словом смути,
то новой печалью порадуи.

ЛЕГЕНДА

Я случайно слышал, что Бродский
человек был тихий, неброский.

Он и здесь, и туда приехав,
умирял варягов и греков.

Он в Америке, в Мичигане
жил бесхитростно, как цыгане.

Звали в Питер, ответил: “Бросьте,
не хочу на родину в гости”.

Так и прожил, дела забросив.
И прекрасен был, как Иосиф

* * *

На Зверинце и в Заречье
свищет вечер, как в трубе,
ни одной случайной встречи
от Собора до ГБ.

Что-то чисто на проспекте
в нежный выморочный час;
хоть вы лоб себе разбейте -
пусто всё-таки без нас.

ВСЕ МОИ МОЛЕНЬЯ

(Колыбельная)

Лиственные сети
рвущий соловей,
все слова на свете -
о любви моей.

Время и преданья
мудрости земной,
все мои рыдания -
о тебе одной.

Всё великолепье
песен и морей,
даже звезды в небе -
о любви моей.

Тучи небосвода,
ветер проливной,
вся моя свобода -
о тебе одной.

Судорога страсти,
дым по верх полей,
горе и ненастье -
о любви моей.

Жажда утоленья
и последний зной.
Все мои моления -
о тебе одной.

Георгий Ефремов (1954). Известный как в Литве, так и в России поэт, переводчик, драматург и публицист, первый лауреат премии литовско-русского гуманитарного Фонда им. Юргиса Балтрушайтиса. Георгий Ефремов переводил на русский язык произведения лучших литовских поэтов, прозаиков, драматургов, в том числе Майрониса, Саломеи Нерис, Юргиса Балтрушайтиса, Балиса Сруоги, Марцелиюса Мартинайтиса, Томаса Венцловы, Сигитаса Гяды, Марюса Ивашкявичюса. В конце 80-х Георгий Ефремов принимал участие в "поющей революции", был членом инициативной группы, а затем членом совета Сейма "Саюдиса", редактором и издателем первых независимых литовских газет "Возрождение" и "Согласие". Итогом этих лет явилась его книга публицистики "Мы люди друг другу". Одна из недавно завершенных и чрезвычайно важных для обеих стран работа Георгия Ефремова - перевод на русский язык академической "Истории Литвы" авторитетного литовского ученого Эдвардаса Гудавичюса.

ДАНИЕЛЮС
МУШИНСКАС
ЖИЗНЬ
В
СНЕГОПАД



Родился 4 ноября 1951 в Тельшяй (Литва). В 1974 закончил Вильнюсский Государственный университет, отделение литовского языка и литературы. Работал учителем в школе, сотрудником журнала для молодежи “Яунимо гرياتос”. С 1994 - главный редактор литературного журнала “Мятай”.

Признанный мастер новеллы. Первый сборник - “Пока рассветет утро” (1974). Последующие книжки: “Ночь синей крапивы” (1982), “Свет над озером Таусалас” (1987, премия им. Ю. Жямайте), “Жизнь как алиби” (1991), “Хранитель горы” (2006, премия Института литовской литературы и народного творчества). Лауреат Государственной премии Литвы 2006 года.

Литовская новелла давно шагнула за рамки деревенской прозы - как по тематике, так по мировосприятию. Экзистенциалистская основа мышления современного человека дает себя знать в этих сочинениях, а повествование умело оперирует как реалистическими образами, так символикой и вполне абстрактными ассоциациями. Сама действительность в рассказах Мушинскаса предстает как загадочная, но при том привычная. Герои существуют как бы в двух измерениях - реальном и символическом, и мы не всегда способны отличить одно от другого. Главная проблема этих персонажей - онтологическая. “Главный вопрос, - утверждает автор, - как прожить всю свою жизнь, а не какой-то определенный отрезок”. Характерно, что несмотря на тревожное предчувствие неизбежного конца всякого существования, автор и в нем находит положительный аспект:

“Человек не старится и не изнашивается, точно вещь, человек становится все глубже и глубже, точно колодец”, - рассуждает он в новелле “Капли истины” с великолепной метафорой опрокинутой водяной горы. Рассказы Даниелюса Мушинскаса невелики по объему. Его стиль восхищает изысканной чуткостью. Это истинное мастерство.

Поначалу страх наводили темные осенние вечера, черные поля, что изо дня в день тянулись за окном автобуса. Казалось, так будет всегда: он - учителем в жемайтском захолустье, а свет, солнце - где-то в запределье. Как-то раз: до боли стиснул в кармане плаща кулаки и по-собачьи заскулил - на все пойду, лишь бы победить

эту черноту. Но время одинаково повсюду сгушалось в цементную глыбу и всюду было неодолимо. Он и тридцать лет спустя станет думать о том же, теперь уже в другой точке Литвы, бредя в сумерках субботнего дня по уныло-безлюдному рынку.

Тридцать лет вперед, тридцать назад - никому не нужного времени, уходящего, будто "Титаник", в небытие минувшего столетия. Еще в детстве, за партой, глядя в окно на постылые каштаны, он понимал, что ему будет суждено вспоминать эту пору, когда она уйдет, и ох как подмывало задать вопрос: куда денутся дряхлые, изможденные старики этой деревни и ближних сел, - и без того еле дышат, все ли вымрут и будут зарыты в землю. Сколько же понадобится места - все пространство окрест превратится в сплошное кладбище. Это ему отчетливо рисовалось, неумоготу было слушать речи учительницы, ее бодряческие, слащавые разглагольствования о предначертанном молодежи грядущем. Ничего-то ей не предначертано, рвался из души вопль, в этих краях солнце и то круглый год не смеет явить свой ясный лик, тянутся сплошные угрюмые сумерки, дожди, задерневшие пашни с тоскливо мычащими, покинутыми в полях коровами. Взять бы да запустить чернильницей в доску в подтверждение того, что в этом вся истина, а прочее - труха человеческая, пускание пыли в глаза или просто враки. Почему взрослые лгут, отчего не скажут как есть? В ту пору он испытывал жалость к учительницам, несчастным, загнанным созданиям. Дома их изводят мужья и разнузданные, крикливые дети, директора-инспекторы держат в узде идейных требований - только бы у кого не сорвалось с уст нежданно-негаданное словцо. Он понуро глядел под парту и так перевозмогал оставшиеся четыре месяца, пока не закончился, слава Богу, учебный год.

Что ж, все это сгинуло, исчезло.

Странное дело: уйма лет минула, все великие и малые события, дела остались в прошлом, а как же я? Тоже стал прошлым, сдержанно улыбнулся он, как улыбался, если отдаленно знакомый человек при встрече принимался сетовать на здоровье и житейские невзгоды. Я стал прошлым, и этот безжизненный базар в предвечерний час субботнего дня может засвидетельствовать, что человек в сущности ни на что иное не способен, как лишь мало-помалу пятиться, съезживаться и исчезать.

Он не собирался ничего покупать, однако не погнушался наклониться, чтобы разглядеть прошлогоднюю картошку, капустные кочаны, сизую свеклу, лук. Он справлялся о цене, будто это впрямь его занимало. Пожилой торговец с проседью в волосах воровато приподнял

тряпицу, которой была накрыта корзина, и что-то скороговоркой буркнул на местном жаргоне. Нет, дешевой водки мне не нужно. Рынка он никогда не любил, но почему-то хоть раз в месяц да заглядывал. Возможно, затем, чтобы убедиться, по-прежнему ли мерзок и отвратителен белый свет. Вырвавшись из толчеи, за воротами он отдувался, глубоко втягивал в себя воздух Старого города. Миропорядок, в его представлении, не менялся, по-прежнему все в нем было старо, дряхло, еще пуше ветшало, как и эти здания на узких улочках.

Однако полагается куда-то идти. Вспомнился литератор - некогда, лет двадцать назад, тот жил в затхлом тупике близ базара, и всякий мог в любой день нагрнуть к нему с пивом или винцом. Подвыпивший поэт из начинающих говорил так же много, как и в трезвом виде, и в этих речах утопала вся несозданная литовская литература. Вдруг сообразил, что литератор-то прошлым летом увезен куда-то в центр Жемайтии и благопристойно предан земле. Мир и покой тупику Старого города, слава забвению, ведь бредущие по улице туристы и прочие вновь прибывшие никогда не узнают, что была-де такая душа, была да сплыла.

А разве жизнь сама по себе - не что иное как забвение? Растущая гора забвения? Нынче ничем не докажешь, подумалось, что красота мира, юное, налитое тело могли бы заставить меня улыбаться, трепетать от радости, надеяться. Напротив - не было у меня тому доказательств и тридцать лет назад, все выжидал, когда они появятся. А нет их и сейчас. Возможно, я не был тем самым юным, налитым телом, которое летом самозабвенно цветет, плодоносит, а затем оставшуюся жизнь погружается в забвение. Кто медленно, кто стремительно и резко, но неизбежно в забвение, точно в некую пропасть, а уж она поглощает всех и вся без малейшей болезненной гримасы отвращения.

Рынок остался далеко позади, весь город стал перед глазами, точно глухой тупик. Из такого никогда не уйдешь сам, не найдешь выхода, всего-то и счастья, что в один прекрасный день тебя положат, а проводники лабиринта вынесут к холмам, поросшим деревьями и кустами, где и находится самый что ни есть настоящий храм забвения. Там забвение царствует, точно полновластная госпожа, и никто не предъявляет ей никаких претензий. Здесь, в городе, иной раз встречаются буйные смельчаки или возмечтавшие о вечности романтики. Их ничтожные уста произносят наивные увещевания - все они втайне надеются умиловить незримую, всесильную Властительницу и избежать забвения. Я сам был таким, вдруг пришло на ум.

Тогда, тридцать лет назад, когда бежал от угрюмых черных дернин, когда огни большого города представлялись спасением. Куда это я иду? - спросил он вслух и стал как вкопанный: впереди уже виднелась поросшая черными деревьями гора, наверху, словно поджидая, высилась круглая башня, вяло, неподвижно свисал флаг. Иду к дому, которого у меня нет, ответил сам себе и вновь обрел силы двигаться, невольно до крови закусив губу.

Он свернул налево, где на целый квартал узких улочек распластался генерал-губернаторский дворец. Вдруг мелькнула радостная мысль: быть может, сюда, в этот дворец, никогда не вторгнется Вседержительница, здесь можно укрыться, одолеть неумолимое забвение. Он поплелся вдоль бесконечной бурой стены, высматривая вход. Стал падать снег, вблизи белым заволоклась улица, тротуар, медленно проплыл белый автомобиль, вот впереди в сопровождении двух телохранителей появился сам генерал-губернатор с увесистым букетом цветов. Я не ошибся - конечно, укрывшись в этой цитадели, можно попробовать превозмочь абсурд. Он увидел, как на тротуар посыпались цветы, и был готов кинуться их подбирать, но снег валил крупными хлопьями, и невозможно было разглядеть, что там, на земле. В какой-то миг исчез и генерал-губернатор с обоими телохранителями, остался лишь он сам и падающие с черного неба снежинки. Устремил взгляд на сияющее окно дворца - там своей привычной, мягкой и грустноватой улыбкой улыбался президент, а позади него водила рукой хрупкая пожилая дама.

Он ощутил невероятную усталость. Присел на ступеньках у входа в университет. Здесь он сживал тридцать лет назад, еще студентом, вместе с худенькими сокурсниками. Доставал из кармана лист бумаги, карандаш и набрасывал несколько предложений. В этих фразах - спонтанном дневнике - и помещались черные пашни, снег, забвение. Все сбылось. Лишь не было там генерал-губернатора, президента, двоих телохранителей, цветов, раскиданных по тротуару. Сбылось и это. Теперь ему мнилось, что сбывается все, что было обещано Вседержительнице, которая уверенно приближалась к нему. Не было при нем ни листа бумаги, ни карандаша, он не мог записать свое моление о том, чтобы все сбылось снова. Он в отчаянии пал на колени и пальцем вывел на снегу несколько корявых букв. Вседержительница не удосужилась их прочесть, не снизошел ни генерал-губернатор, ни президент. Вовсю сыпал снег, был воскресный день, и жизнь кончилась.

*Перевела
Далия ЭПШТЕЙНАЙТЕ-КЫЙВ*



Об этом феномене вильнюсского Монмартра надо еще писать отдельно. Конституция вывешена там, кстати, на бронзовых досках (скрижалях?) уже на 4 языках - литовском, английском русском и белорусском. На очереди - идиш или иврит. И польский.

1. У человека есть право жить недалеко от Вильняле, а у Вильняле право течь вблизи человека.
2. У человека есть право на горячую воду, на отопление в зимнее время, а также на черепичную крышу.
3. У человека есть право умереть, но это ни в коем случае не обязанность.
4. У человека есть право на заблуждения.
5. Человек вправе быть единственным.
6. У человека есть право любить.
7. У человека есть право быть нелюбимым, но это необязательно.
8. У человека есть право быть незаметным и неизвестным.
9. У человека есть право лениться и ничего не делать.
10. У человека есть право ухаживать за всякими кошками.
11. У человека есть право заботиться о собаке до скончания дней (его или подопечного пса).
12. У собаки есть право всегда быть собакой.
13. Кошка не обязана любить своего хозяина, но должна помогать ему в трудный час.
14. Человек иногда вправе не знать, есть ли у него обязанности.
15. Человек вправе сомневаться, но это ни в коем случае не обязанность.
16. Человек вправе быть счастливым.
17. Человек вправе быть несчастным.
18. У человека есть право молчать.
19. У человека есть право верить.
20. У человека нет права на принуждение.
21. У человека есть право осознавать свое ничтожество и величие.
22. У человека нет права покушаться на вечность.
23. У человека есть право понимать.

24. У человека есть право не понимать ничего.
25. Человек вправе быть какой угодно национальности.
26. У человека есть право отмечать или не отмечать свой день рождения.
27. Человек обязан помнить свое имя.
28. Человек вправе делиться тем, что имеет.
29. Человек не вправе делиться тем, чего не имеет.
30. У человека есть право на братьев, сестер и родителей.
31. Человек может быть свободен.
32. Человек отвечает за собственную свободу.
33. У человека есть право плакать.
34. Человек вправе быть непонятым.
35. Человек не вправе перекладывать вину на другого.
36. У человека есть право на личность.
37. Человек вправе не иметь никаких прав.
38. Человек вправе ничего не бояться.
39. Не побеждай.
40. Не оправдывайся.
41. Не сдавайся.





**BLANCHISSERIE,
ИЛИ
ЗВЕРИНЕЦ • ЗАРЕЧЬЕ**

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. GLIS GLIS

1

Я *заседал* на Зверинце, в убогой уличной кафешке. В лужах отражалось сизое небо, а в зеркале кофейной чашки - ясный, но никому не любезный мой лик. На пластмассовый столик, желая мне что-то сказать, вспорхнула синичка, но поскользнулась на кофейной кляксе, ткнула крошку сыра и унеслась. Я собирался на Заречье, подыскать там для Набели норку на зиму, поскольку обещал. Она хотела дешевую, но отдельную жилплощадь, чтобы принимать гостей, иногда и меня. Она мечтала открыть легальный - сейчас все легально! - поэтический салон с перформенсами, живыми причитаниями, кровью и *слезьми*. Будет глупо, бестолково и занято, умоляла она. Я не верил ни единому ее слову, но съездить на Заречье обещал. Было зверски лень. Пешком определенно не доберешься. Можно третьим троллейбусом до Кафедралки, но троллейбусы битком набиты. Подсел Тяцка, в два глотка выдул кофе и смылся, успев доложить, что вчера помер Огонек - с голодухи. Я не удивился: недавно тот возник у меня под окном - предлагал купить Герцена - тебе же пригодится! Был он опухший, желтый, как месяц в тумане. Делать не умел ничего, красть тоже, вот и помер. Не спасли его моя полбуханка и кусок вареной говядины. Все же я не думал, что помрет. Ага, пора сматываться, вижу: идет Цыган, явно думает раскрутить на пол-литра. И Голосач маячит через дорогу, тоже не даст прохода: *Пиво сделаем?* Надо еще сбежать домой и сменить кеды - всюду лужи! Затем проще всего у газетного киоска подождать автобус номер одиннадцать, сесть в него и, маневрируя мимо дурацких светофоров, затем вдоль берега речного, далее мимо Святой Анны и Бернардинцев достигнуть его, Заречья - этого рая разбавленного *Royal* и муравьиного спирта, чья популярность среди артистичной публики все возрастает. Так и вижу се-

*Юргис Кунчинас (1947-2002), см. послесловие Далии Кыйв, с. 181.
BLANCHISSERIE (фр.) - WASCHANSTALT (нем.) - прачечная.*

бя на этом извилистом пути. Библиотека АН - в окно успеваешь схватить не только китайский кабак, но и *Философское яйцо*, шедевр искусства пластики из полированного камня: автор как-то обмолвился, что лишь оборонная промышленность способна так отшлифовать лабрадор. Глядишь, достанется сидячее место, а покуда автобус кряхтит, тормозя на перепутьях сердца Гядиминова города, успеешь прочесть, что эта колымага - дар города Осло нашему заслуженному стольному граду. Освежи в памяти сравнительное языкознание: норвежские надписи под потолком тоже относятся к германской группе, посему *Udgang* означает то же, что *Ausgang* по-немецки. Кстати, в дареных немцами *bus*'ах можешь поднатореть в греческом или турецком - гастарбайтерам полезно знать, каков размер германских штрафов. Впрочем, хватит лингвистики.

Ведь не к спеху, успеется. Поэтические салоны устраиваются десятилетиями. Не доживу я - продолжают они, молодые, напористые. Покамест заправь-ка в брюки выбившуюся сорочку, позвони *Grand Trix* и спроси, как по-датски или по-норвежски *мышинный кисель*, она будет знать. Застегни ширинку. Хорошенько закрой форточку. Сделай что-нибудь псу под хвост. Притащи из колодца свежей воды с живыми саламандрами, седенькая Паня называет их ящерками, хотя скорее это просто пиявки, обитающие в подводном горизонте Зверинца. Полагаю, они не помеха здравому смыслу и, возможно, невзначай сбивают кровяное давление. Интересно, как они размножаются? Вода пригодится, особенно если вернешься на взводе, а так оно скорее всего и будет. Нет, автобус в этом смысле безопасное место. Впрочем, *Ächtung* - в прошлый раз это мнение поколебала питающая ко мне симпатию доцент Онега Мажгирдас. Сама-то она не пьет, но при ней всегда бутылочка "*Трижды девять*" и *Bittner balsam*. Кто обратится, тому и даст, даже студентам - например, Набеле. И вот, громыхнув по Зареченскому мостику близ *Отцова гроба* да увидав своими глазами судьбоносную в обозримом будущем, фрагментарно проступающую сквозь многослойную штукатурку и еще более фрагментарно различимую вывеску - *BLANCHISSERIE * WASCHANSTALT * UŽIN OBED*, - поймешь, что ты и впрямь на Заречье. Серое это место, бедное, но артистичный люд склонен к самовнушениям. И потом, чутье. А чутье подсказывает, что не пройдет и ста лет, как... Ладно уж, ладно, уймись, старик... Красок на Заречье все меньше. Некий памятный для меня дом превратили в зачуханные мастерские, морг перенесли в Северный городок, а онкологические боины переименовали в *Клинику противораковых заболеваний*. Тем не менее, в этот район стремятся. И пусть. *Все боле чуждо мне Заречье, все отдалается оно...* А ведь сладостно лицемерно вздыхать по затхлым хибаркам, по пустынному пятакчу собачьего рынка, изничтоженным лавчонкам, пивточкам, заплесневевшим подвалам и чердакам? Любое новшество на Заречье - грубое инородное те-

ло, протез. Быть может, как нигде боле. Потому и любит артистичный люд горевать, входить в гнев, смаковать, точно мякоть сливы, приторное влажное словечко *малохолия* - все Дюрер, знаете ли, Дюрер; на сей раз похожий на лохматого актера из булгаковской пьесы про Мольера... Потом уже остановки, пылища, цех чулочной фабрики, кладбище, сумерки из старинных фотографий Иисуса М., его катящая по улице "Интеллигентская телега" с торчащими оглоблями и бодро трусящей свиньей* - все мелькает, движется, мчится... Слепяще-белые испражнения чаек - кто сказал, что ими питаются тенора? - на выпирающих из Вилейки горбах валунов - перманентные атрибуты тайных угрызений и самовнушительства; сладкое отчаяние, жаркие пузыри - от молодой крапивы и жирных ворон - на загубелой коже; да где же он, этот автобус? Огонек - бывал он на Заречье? Голосача я там вроде видывал; художники, они шустрее помирающих от голода бомжей, тот даже в Иерусалимке** побывал. А вот и дар Осло - покамест блестященький, респектабельный, с кожаными петлями для спасительного хватания нетвердой рукой; такие петли были едва ли не единственным воспоминанием моего батюшки о трамвае времен Петрограда начала двадцатого столетия.

Действительно, посчастливилось сесть прямо у двери, и тут я заметил, что один носок у меня надет наизнанку. Невелика беда, подумалось, но поскольку ехать и ничего не делать все же скучно, я стянул с левой ноги итальянский, еще почти белый кед, положил его на соседнее сидение и стал выворачивать носок налицевую сторону. Говорят, надетое наизнанку, хотя бы и носок - дурной знак: напешься. А я вот не собирался напиться, не было поблизости и Онеги Мажгирдас с полбутылочкой настойки, ни кулуарного зареченского мэра Шарунаса Дицкаса с фляжкой разведенного бурбона. Надевая носок, я с тоскою думал о тебе, Набеля; *бакалавр искусств с синими ляжками*, как прозвал тебя один тучный поэт с суковатой тростью. Поэт и критик, *просто* поэтов не бывает, что ли? Одна ты *проста*, Набе, без дураков. Другие пробуют себя в иных жанрах, ты одна - ни-ни! Потому и маета с тобой. Я уже натягивал носок на свой изящный подъем - тут автобус остановился, негромко, как умеют норвежцы, растворил широкую дверь, и мой кед ни с того ни с сего цапнула стоявшая рядом какая-то седая дура в тряпье, с кучей дурацких мешков, набитых неопределенной дрянью, и пулей выскочила вон. Следом вывалился и я, мощная машина дрогнула, я бухнулся лбом прямо на тротуар времен Пилсудского. Облился свежей кровью и сквозь розоватую дымку еще увидел за памятником, призванным увековечить подвиг Мечислава Дордзика***, припа-

* Один из перформенсов, часто устраиваемых в данном районе (здесь и далее примечания переводчика).

** Отдаленный район Вильнюса.

*** Во время половодья 1933 года ученик ремесленного училища М. Дордзик бросился в разлившуюся речку спасать тонущего мальчика Хацкеля Хармаса. Оба погибли.

дочно хохочущую старуху. Расторопную, прыткую, как молодая кошка, польскую пани. Как знать, вдруг да последнюю во всем Вильнюсе истинную польку. Ясное дело, польку, а то как же, *пся крев*. Это она крикнула издалека и показала раздвоенный язык, хотя по лбу у меня ползла струйка отнюдь не собачьей, а моей собственной, слегка бешеной крови. Так и остался босиком подле Пречистенских стен*. Второй кед швырнул в сторону Дордзика. Носки выкинул в мусорную урну - не таскать же в кармане. Рудименты летних конвенций: летом в городе босой человек - явление нормальное, а протирающий носки о тротуар - сущее безумие. Так и направился в Серейкишский парк. За пивом. Вдоль берега прохаживались маститые художники в соломенных или тонкого фетра шляпах, разговаривая со своими собаками, порой перекидываясь словом друг с другом, хотя все давным-давно было сказано. Бесстрастно кивали в ответ на мое приветствие. На другом мостике стояла в широких цветастых брюках барышня Буль-Буль и пускала через соломинку радужные мыльные пузыри. Завидев меня, она заалела, как вишня, сделала попытку не заметить, однако я первым заговорил с ней, погладил по теплой спинке и предложил выпить со мной пива.

- Почему вы босиком? Почему в крови? - задала вопрос Буль-Буль и: - Я вовсе не хочу пива, я *хочу*.

Буль-Буль *хотела*, но соблюдала конвенцию: ей было стыдно показываться в обществе босого, истекающего кровью типа. Было бы недурственно, подумал я, - закатиться с Буль-Буль в упомянутую *Blanchisserie* и скушать *obed* или *užin*. Постирались бы, похлебали ямщицких щей, хлопнули бы по стопке горькой и остановились бы на ночь. Однако Буль-Буль покачала головой - завтра ей сдавать у Онеги М. Моя сорочка была забрызгана кровью. И смутно-белые брюки тоже. Пьянь, решит кто угодно, сущая пьянь. Я, к слову сказать, тоже подумал бы так. Босиком, в крови. Если еще и не пьян, то вот-вот напьется. Барышня Буль-Буль пустила пузырь, прошептала: хочу сейчас, немедленно, - точно в рекламном клипе! - однако перевязала мой лоб, обмотала зеленым шелком, перед тем обильно смочив рану *solutio iodi spiritiuosa 5 %* - такие женщины имеют при себе все: мыло, бинтик, йод. Просочившиеся сквозь зеленый шелк пятна йода она назвала китайскими иероглифами.

- Ты мне нравишься, весь в крови. Вы, - поправились Буль-Буль.- Крутой вид - такой весь раненный. Обожаю раненых, хочу их ужасно...

Переходим вброд Вилейку и скрываемся в ущелье Дракона, в том самом, где в трагическую годину сухого закона тайком попивали ныне хлынувшие в район Заречья менестрели, джазмены, тулузлотреки и будущие профессора. Мария Буль-Буль ступает по волнам в одних голубых *траузах* - так называет она свой

* Рядом находится церковь Пречистенской Божьей матери.

нижний трикотаж. Не осудите, я перехожу речку вброд прямо в темно-белых брюках - Буль-Буль сдает очередной экзамен!

...Наконец она утихомирилась, поерзала спиной по щебенке, заточила о камень свои и без того острые ноготки и промолвила:

- Если не будет дождя, я приду еще часа через два. А сейчас я пошла. Мне обещали пистолет достать. Купите пива, а?

И, величаво неся удлиненное тулово поверх цветастых ягод, направилась к теннисным кортам. Тукали мячики: зареченский мэр Дицкас играл решающую партию со зверинским мэром Тяцкой. Два мэра - два мира. Неважно, кто победит - пирушка, поединок, примирение - все идет по неписаному протоколу. Все по старинке, говорю я себе. Солнце клонится к закату. Заречье не достигнуто. Набель где-то среди гераней и фикусов пишет *орнаментальную лирику*, а Салон так и не найден. Надо бы потолковать с мэрами. Вообще-то все как бы путем. Готтфрид Бенн писал, будто три литра человеческой крови устремляются в кишечник, а четвертый в половые органы, и надо полагать, был прав.

Загубленная средь бела дня обувь, глумливая старуха полька, развешающиеся на яблоневой ветке голубые трусики Буль-Буль в Драконовом ущелье, студенистая капля семени на ирокезских бедрах - что за жестокая драматургия, что за мистерия под августовским полнолунием! Сколько непровытых сольных концертов!

2

Образ мыслей обитателей Зверинца заметно отличается от зареченского. Одним лишь этническим составом разницу не исчерпать. Не так уж она резка, но зоркий наблюдатель невооруженным глазом заметит: Заречье душевнее, оно же и агрессивнее. Тут больше стихии, разгула яростной крови, неразгаданных природных явлений. Три года минуло, а никто не скумекал, куда провалился Войцех Закшевский, даровитый разделщик туш, глава богобоязненной семьи. Ни кляксы крови - ничего. Полковник из Белого переулка сознался, что работал на две разведки, и застрелился. Мог и не стреляться, сошло бы и так. И *Моссад*, и *Сигуранца* посмертно удостоили его орденов, а памятник установил КГБ - красноречивый пример международного сотрудничества. Точно так же отлично уживались кошки с крысами в заброшенной мастерской газетно-журнального графика Гаяускаса в подворотне Бернардинского кладбища.

Зверинская история, между тем, куда более последовательна. Впрочем, это еще как сказать. Выскажусь лаконично: Зверинец - *стенобитный*, Заречье - *бронбойное*.

Оба разделенные унылым Центром и изнемогающим Старым городом квартала объединяет не только пуганный маршрут одиннадцатого автобуса, но еще и дождь, телефон, распространяемые

половым путем болезни, людская мистика, неприязнь и лишь время от времени - эмоции...

На Заречье узколобый Коля в военном френче пугал девочек, норовя задирать юбки. Скажем, в рыбном или галантерейном магазине. Однажды он поскользнулся на обледенелом тротуаре, проломил себе черепушку и несколько часов кряду удивленно взирал на синее небо, пока кучка хроней не взвалила его на санки и не утянула в тогда еще здравствовавший зареченский морг.

На Зверинце проживает Кромельник с широченным вывернутым плечом. Зимой и летом в толстом драповом пальто. Ни во что не встречается, ни к кому не цепляется. Если кто нальет супа в его литровую жестянку с проволочной дужкой, Кромельник идет в тот двор, где убежище гражданской обороны, и устраивается со своей похлебкой на невысокой крыше этого сооруженьища. Как-то я спросил у него: нет, Колю он не знает, никогда не знал. Кромельник обитает в сарайчике. Недавно заполучил он литовский паспорт, но почему-то за границей этот документ не действителен.

Поэтов, художников и музыкантов в обоих конгломератах имеется приблизительно поровну. На Заречье действует Академия Художеств, на Зверинце - Институт философии и права. Коллективы не сотрудничают. Обе стороны никогда не враждовали, скорее всего, потому что никогда не имели общей границы. Миграция с Заречья на Зверинец и наоборот поразительно ничтожна, не стоит пускаться в статистику. Я также скептически отношусь к исследованиям, уверяющим, что у зареченских черепов макушка более сплюснута, а нижняя губа сильнее отвисает, нежели у зверинских, по-моему, это измышления. Никогда не доверял *Балтийским исследованиям*.* Годовая норма осадков и среднегодовая температура в обоих районах почти не различаются. Состояние канализации, водопровода и прочих удобств и там, и здесь почти одинаково плачевное, с той лишь разницей, что на Заречье нищета больше бросается в глаза - художники прилагают невероятные усилия, чтобы там ничего не менялось. Безопасных публичных домов и приемлемых уборных не найдешь на Заречье, ни на Зверинце. Это не относится к посольствам, коттеджам, миссиям, городку Комитета госбезопасности по ул. Кривую и колонии Композиторов на речном берегу Зверинца. Забредя туда, можешь безопасно и музыкально облегчиться и под шведским *Gustavsberg* вымыть руки. На Заречье такое роскошество доступно лишь в кафе напротив *Blanchisserie*.

На Зверинце я чувствую себя по-свойски. Заречье я даже малость недолюбиваю, хотя оно куда более свойское. Там я харкал кровью и захлебывался желчью. Там реял летучей мышью и издыхал под забором. На Зверинце куда лучше: пускаю голубой

* Литовская компания по исследованию общественного мнения.

дымок и досаду на беспризорных собак, бесхозных женщин. Иногда они взваливают свои гири ко мне на подоконник и спрашивают: *Крысы, мышки есть?* А после того напрямик: *Презервативы есть?*

Онега Мажгирдас так никогда не спросила бы. И Долоресса Луст, шотландка. *Grand Trix* резинок вообще не признает, о тебе, Набеля, речи нет.

Тоска меня разбирает на Зверинце вечерами, под конец лета, после вылазки в солнечную Сувалькию, но разве не было еще тоскливее на Заречье? Тоскливо стало и под вечер, когда, наконец проспавшись, я отворил окно второго этажа и увидел во дворе лужи, клочковатую траву и сторбленную над огуречной грядой Перчатку. Я снова лег и опять задремал на жесткой неудобной лавке - сосед Якуб уже отлежал на ней свой дневной сон.

Когда я вновь очнулся, было не темно, однако вечерело. *Вечер на Озере Четырех кантонов*,* как сказал бы поэт. Кто-то приносил мне большую чашку чая. Знаю, что за чай. Из Гамбурга. *Cliffild tea* - якобы с Цейлона. На белой пачке синий парусник. Он вроде бы и доставляет чайный лист. Не верю.

Я знаю, кто принес эту чашку чая и поставил на землю возле лопухов. Знаю, кому щедро дал на чай и буду давать еще - на Зверинце этот обычай стойко держится с чеховских времен. Не беда, что Чехов на Зверинце не бывал. Сам виноват, ему бы, небось, понравился живительный соснячок, дачи, да и весь мещански державный, деревянный Зверинец. На Заречье он, пожалуй, и не сунулся бы. Уютно тут показалось бы и Тургеневу. И даже Герцену с Огаревым. Ведь в глубине души все они были порядочными дворянами и мещанами, любили, хотя и странную любовью, свою империю, а стало быть, и Зверинец.

Еще глотну чайку и, возможно, обрету способность поведать о вечере на Зверинце у *Четырех кантонов*. Вдруг получится.

Развернувшийся, выпрямленный, вобравший влагу и набухший, в последний раз сделавшийся мягким листом, чай вместе с глотком черного напитка уплыл в мою ротовую полость, соскользнул по глотке вниз и навеки сгинул в пищеварительном тракте. В глухом мраке моей утробы черный лепесток наконец осел на стенке желудка. Рожденный якобы на Цейлоне, одолевший половину земного шара на пути к моему рту. И едва ли только на голубом паруснике. Мелкая чайнка с заразой тропической болезни - *амока*: такая попадает одному из ста двадцати трех тысяч. Устойчивы против заразы одни лишь цыгане с их вековым иммунитетом. Подобный *амок* нередко поражал поляков и даже евреев, литовцы же повалились впадать в неистовство гораздо позже, и причиной тут не Цейлон и не Индия. Я долго практиковал прививки нищетой, воздержанием и доброй волей. Потому и выжил под раскоряченным сиреневым кустом с чашкой чая в

* Название лирического стихотворения классика литовской поэзии Майрониса (1862-1932).

левой руке. Воспитательная комиссия мне, равно как и цыганам, гарантировала иммунитет. Посему, даже ощущая продвигающийся по телу заряд *амока*, я лежал невозмутимо в тот вечер на озере Четырех кантонов.

Я остался здоровым и невредимым, а бедняжка Набелия - откуда она тут взялась? - корчилась на голой земле рядом с ирисами, бодяками, ромашками, наглотавшись сперва реланиума, элениума, тизерцина, брома, потом касторки, полыни, теплой воды с содой. Из всех отверстий и щелей ее плоского тела извергалась пена, слюна, капал едкий пот - плоть несчастной самоочищалась от транквилизаторов, *амока* и отчаяния, - шансов было немного, но все же. Я смотрел на нее в восторге: что за грация! Какое высокое отчаяние! Она что-то лепетала неупорядоченным верлибром, хохотала, как портовая шляха, отпускала бидермеерские остроты, опасно было приблизиться к ней, прикоснуться - *амок* так и реял в воздухе.

Я сел на колоду рядом с дощатым навесом, чашка стучалась о зубы, хотя было не холодно. В маслянистую лужу с нападавшими лепестками астр и ноготков неслась из уст Набелии отвратительная брань, мгновенно оборачиваясь тритонами и жабами, которые неуклюже уползали в ближнюю бодяково-конопляную плантацию. Открылись ее поры: обильный адский пот - соленый и дымно-сизый - жадно пили желтые осы и зеленые мясные мухи. Набелия очищалась и яснела - мир не внимал ее поэтизм, инфантильности, зато предоставил возможность очиститься.

Чашка дрожала в руке - из тела Набелии выделилась огромная черная кошка и вспрыгнула на низко нависшее облако; Набелия застонала и опала, как тонкая шина спортивного велосипеда - пшшшшшш... Я поспешил схватить в чулане чистый картофельный мешок, запихнул в него девушку и повесил на железную перекладину - туземцы, как правило, употребляли ее для возни с коврами, иные - с девицами. У меня имелся крепкий крюк - он отлично выдержал мешок с Набелиными косточками и мясом - 42,5 кг. Пленница еще брыкалась, но уже безотчетно, по инерции. Мешок раскачивался, и бакалавр искусств теперь имела вид подвешенной на откорм гусыни - из мешка торчал лишь иссиня-черный клок волос, бледное, как у *Пьеро*, лицо на тонкой, как бутылочное горлышко, шее.

- Набелия, - бормотал я, затягиваясь дымом, хотя и знал, что она ничего не воспринимает, - Набелия, нашел я тебе Салон на Заречье, да зачем он тебе? Мешок - тоже неплохой вариант. Ты ведь любишь поэтов, философов, турок с греками... покачайся-ка в мешке... Вот Майронис писал в зыбком челне на Озере Четырех кантонов... ты в мешке, ну, давай...

Я приговаривал, и на душе становилось все спокойнее: в мешке она была в полной безопасности. Отличный, хотя и не совсем новый мешок обеспечивал полную сохранность - как ста-

льная сейфовая дверь кунсткамеры гарантирует неприкосновенность сокровищ. Я погладил место, где, судя по изгибу и иным признакам полагалось быть бакалаврову заду, - там мешок слегка оттопыривался.

От скопления туч, образовавших над Зверинцем озеро Четырех кантонов, снова потянуло живительным бризом. Мешок с Набелией трепетал, как кленовый лист, раскачивался, точно маятник обезумевших часов. И свершилось чудо: только улегся ветер, как Набелия очнулась. Сперва показала посиневший от холода язык, гадко ослабилась, но не выругалась. С языка в траву свалилась последняя жаба - бездыханная. Отрава, однако, еще не покинула Набелино тело - прищурившись, она плюнула, целясь в меня, однако зеленая слюна капнула на сизый лист лопуха и прожгла в нем пятисантиметровое отверстие. Крутая дырочка походила на совиный глаз, и через нее я сейчас гляжу на Озеро Четырех кантонов, на печальный зверинский двор и на весь остальной белый свет. Испарились из головы Ляляшюс с его дочерью и Петруччо, Гвидо с Наташей, капитан Милош и трактирщик Марк Аврелий: мир под Набелиным мешком ферментировался, двигался, бродил, как молодое вино, взрываясь жаркими пузырями.

Тем временем моя *чаинка* с непатогенным зарядом *амока* странствовала уже по прямой кишке - переваренная и социально безопасная. Всем бы так. Мешок перестал раскачиваться. Набелия приоткрыла раскосые карие глаза и воскликнула:

- Смотри! - Она завопила. - Смотри!

Она всегда говорила мне "ты". С прошлогодних Трех волфов, когда впервые ядовито прошипела: *сволочь ты!* Уже тогда она любила меня своей дикой *любострастью*, - так она выражалась.

- Смотри ты! - вопила она. - Ты видишь?

Вижу ли я? Вот именно! На озере Четырех кантонов появился парусник, точно такой, как перевозящий цейлонский чай. Им правил трезвый Майронис и тихо ронял слезы. Поэт-прелат. Картина была настолько отчетливой, что я качнул мешок с Набелией и, не вполне отдавая себе отчет в своих действиях, принял декларировать:

*J'ai quelque jour, dans l'Océan,
(Mais je ne sais plus sous quels cieux)
Jeté, comme offrande au néant,
Tout un peu de vin précieux.**

Майронис приближался, Набелия тяжелела, это чувствовалось. Она еще висела между небом и землей - вполне современная творческая личность, *зверски эфемерная*, но постепенно об-

* Когда-то в дали океанской
(Где это было, не скажу)
Я уронил бокал с шампанским
В седую моря глубину...

Поль Валери. Пропавшее вино

ретающая все более четкие земные очертания, запах и вес - формы непропорциональные, запах болотный, а - вес? Еще неизвестно, что за вес. Однако она созревала, а кто еще помнит свое созревание, знает, какая это гнусная пора: прыщи, неосведомленность, отвращение к собственному телу, жалкие волоски на подбородке, менструации, поучения, насмешки взрослых, издевки недавних подростков, прошедших через ад созревания, двусмысленные намеки...

Я развязал мешок, выпустил Набелию. Она сидела нагишом на узкой лавке, зажав костлявые руки между тощих бедер. Живая копия *Пубертета* Мунка. Тема для выпускного сочинения: *Созревающая поэтесса на озере Четырех кантонов*. Она хлопнула ладонью, раздавив присосавшегося комара - на пальцах остались отпечатки ее капли крови, и на миг открыла черные как смоль срамные волоски. Она *пубертировала* прямо на глазах, на виду у всего моего двора. Став полукругом, во все глаза глядели бывалые зверинцевцы: сторож водозабора Якуб со свистком, стойкая, точно Катерина Сиенская, Паня, безногий сапожник Станислав, молодые негоцианты Руслан с Наталией, травматолог Элегиус и Перчатка, - у той глаза были, как две черных пуговицы.

Набелия преображалась с каждой минутой. Наливалась силлабической кровью, пускала ветры рваным верлибром, хихикала, довольная - она все больше становилась похожей на несчастную, но гордую поэтессу. Вместе с бранным миром она набухала, почковалась, выбрасывала клейкие ростки, наконец, ее тело возликовало: ему больше не было дела до плаксивого Майрониса, ни до австриячки Ингеборг, ни до *Lirisches Intermezzo* Генриха Гейне - она превзошла их, по крайней мере так она считала. Зато какой ценой! Казалось, вот-вот лопнет от гордыни и от клокочущего внутри наподобие магмы жгучего чувства славы. В детстве, смущенно поведала она мне однажды, они с подружкой играли в пляж. Оставшись дома одни, девочки раздевались, расстлали коврик, нахлобучивали соломенные шляпы, укладывались под торшером и *загорали*, разглядывая замусоленные журналы мод. Сколько вам тогда было лет? спрашиваю. Мне двенадцать, соседке тринадцать, а ее братишка еще ничего не соображал. Что за братишка? Ну, она приводила братика, совсем еще малыша. Что же он должен был соображать? Ну... мы с ней щупались, но ничего больше, ты не подумай! И только попробуй кому-нибудь разболтать! Кому? Перестань. Подражали взрослым, завидовали их пропащей жизни.

Я укутал Набелию мешком, но это не действовало. Она уже не умещалась в себе самой. Тут меня осенило: я нащупал в отверстии пробку, и воздух снова с шипением вышел. Однако значительная часть осталась. Я подвесил ее, прицепив двумя бельевыми прищепками. Вид она имела прежалкий, но вполне созрела для славы и подлости.

Рыдал Майронис в синем кораблике на горизонте, Ингеборг с чувством декламировала *Undine geht*, а Набелия, как-никак бакалавр, висела на перекладине, как забытый плохим хозяином половичок.

- Надо заявить, - миролюбиво промолвила Паня и ушла полоть огород.

Я позвонил в отделение, ответил сам Милош. Я изложил ситуацию, он бесстрастно выслушал и обрадованно загудел:

- А, это ты! Узнал. Так тебе и надо. *Она стоит на учете?* Ага... Ага... Ничем не могу помочь. У нас обед. Потом шеф читает свой новый *Венок сонетов*. Явка обязательна. Ничем не могу... Эй, послушай... это самое, насчет автомата - ты забудь. Ясно: молчок. Встретимся как-нибудь в *Амбаскаде*. Будь здоров!

Тем временем Набелия своими острыми ногтями продырявила жидкую мешковину, выпростала одну тощую ручонку до самого локтя, а затем и другую, то есть обе, которые у нее имелись. Хлопнула в ладоши - пергаментные или перламутровые, не разберешь, и принялась качаться - торжественно и невозмутимо. Добровольно и осознанно. Я возжелал ее в тот миг. Соседи расплозились кто куда, им наскучило представление, даром что бесплатное. Зато следовавший в нашу общую уборную каменщик пятого разряда Зяпас Искупитель остановился и, торопливо растегивая прореху в рабочем комбинезоне, уже с дрожащими от нетерпения коленями, угрюмо попенял:

- Зачем это ты так? Мучаешь беззащитных зверьков.- Он принял Набель за кошку. - Разве они не как мы? Пощекочи - они засмеются, обидь - заплачут.

Он раздраженно топнул ногой, и вдалеке послышался раскат грома. Зяпас Искупитель как ужаленный юркнул в сортир, проворно накинул крючок и, уже восседая орлом над отверстой клоакой, выкрикнул:

- Резко отпусти кошку, не то!..

Он еще раз топнул - уже внутри, о гнилую доску, - гром на сей раз прозвучал чуть глуше, и что мне оставалось? Лишь вспомнить киплингovo: *Как мотылек топнул ножкой*. Не слишком ли много для одного вечера литературы и искусства? С полной дворовой и небесной аудиторией. Право, даже неловко.

- Засел и сиди! - крикнул я в сторону беленой известью двери с кириллицей начертанным Ж, сохранившимся со времен оккупации.

Зяпас Искупитель - охранке когда-то было известно его подлинное имя и фамилия - скромно стрельнул, уже не производя эффекта киплингoвского мотылька, и умолк. Впрочем, ненадолго, и это правда.

Наверняка я снял бы Набелию, пусть валяется в зарослях конопля и склизкого подорожника, но она, дьявольское отродье, уже не желала покидать мешок: урелась в нем, видите ли, чувствовала себя, как в шкуре, как у себя дома или в своей стихии.

Она потянулась, уснула и даже тоненько захрапела, этакая гиперборейская цикада в зверинском дворе.

Зяпас Искупитель по-прежнему заседал за дверцей с русским Ж, надо полагать, обдумывал что-нибудь серьезное.

Последний зритель - Терезия - удалилась, чтобы сбить себе гоголь-моголь и еще разик вымыть голову. Это моя жена проделывала раза два на дню, так ей посоветовал явившийся во сне Кришна, кроме того, от шампуней мысли в голове начинали вспениваться и блеснуть. Если Терезия достойно представляла менталитет и образ жизни Средней Европы, то Набелию можно было сравнить с младенцем из аула, похищенным волками и вскормленным в логове - люди с опозданием научили его говорить и пользоваться ложкой. В данный момент эта волчица, прикинувшись цикадой, дремала. Я остался наедине с уснувшей хищницей. Майронисов кораблик приближался на удивление медленно - не переменялся ли ветер?

Напоминая, что он еще жив, Зяпас Искупитель пару раз негромко пальнул из дворового нужника, но теперь мое внимание привлек забредший во двор могучего сложения гражданин с густой бородой и в брезентовой безрукавке. На одном из бесчисленных карманов этой одежды сияла нашитая эмблема, где две сильные руки рвали цепь, а чуть пониже виднелась надпись: *Human Rights*. То есть, защитник прав человека по Зверинцу и Заречью. Известный бард, хирург и доброхот. Определенно подшофе, несомненно вооружен не одним лишь гневным словом осуждения, но и серьезной пушкой. К счастью, Набель перестала похрапывать, а кувыркающийся мешок как будто не заинтересовал защитника *Human Rights*. Он был настроен миролюбиво. Вынул початую бутылку вина и, едва приступив к декламации своего новейшего сочинения, рухнул на траву и сразу отключился.

А так хотелось побыть одному, обдумать положение в душе и на Зверинце, возможно, под каким-нибудь благовидным предлогом навестить живущую через дорогу *Grand Trix*... Где уж там! Защитник прав человека захрапел так, что из гнезда на соседней улице вспорхнули сороки, а Набель заговорила во сне.

Когда раз в месяц, когда раз в два, потом глядишь, пропадает на целых полгода - ни слуха ни духа.

Летом как будто чаще, еще - ранней осенью; зимой, как правило, совсем редко, весной, можно сказать, никогда, а крысы акkurat в эту пору шалеют.

Летом я занимаюсь писаниной у открытого окна - близенько и груша, и клен, Голосачу на пиво тоже выдаю из окна. Груша обильно цветет, что отнюдь не залог такого же обильного урожая - стареет дерево, атмосфера сгущается. К тому же, народ больше не гонит *грушевый ликер* - сахар вздорожал. Зато в урожайный год под осень чужие и знакомые автомобили давят плоды; хочешь не хочешь приходится их выметать, жестким веником

выскребать из дворовых луж и выбоин. Сметать под забор в Прасковьины (она же Паня) георгины, дикие лилии и ландыши - все здесь одичалое: цветы, нравы, песни. Все непривитое, стихийное, неухоженное. А в углу двора, глядишь, улыбается лоснящаяся, только что из выгребной ямы - она самая, крыса то есть.

Так что, выходит, летом вроде бы чаще. Дератизатор Таша. Наташа. Всегда до обеда, примерно между одиннадцатью и двенадцатью. Между “Актуальной студией” и “Позывными дня”. Между утренней газеткой и третьим кофе. Поднимешь глаза от статьи о *влиянии Караваджо* или *абстрактного экспрессионизма*, а она уж тут как тут, *Крысница*. Здравсьте, - сияет. Через одно плечо - не вполне натуральной кожи ридикюлец, через другое - увесистая сумка с отравой, хватило бы на весь Зверинец и для Заречья осталось бы. Впрочем, там, на Заречье, имеется собственный крысолов. Как в Гаммельне. Как в Токио и Сицилии. Отраву крысиная воительница ставит на ступеньку, затем подходит к раскрытому окну, налегает на подоконник своей еще увесистой грудью, растягивая рот до обеих родинок на обеих щеках и ласково спрашивает:

- Мышки, крысы есть?

В былые времена я отбрехивался: нету, нету! И не глядя расписывался на таком пожелтевшем, разграфленном листе. Она мешала мне сосредоточиться на какой-нибудь фразе насчет Баухауза или *техники травления*, но природная застенчивость и незаконченное академическое образование не позволяли рявкнуть: “*Катись ты отсюда, рыжая...*” С другой стороны, вокруг не было недостатка ни в крысах, ни в мышках. В комнатах почти не попадались, что правда, то правда. В глубине души, признаюсь, меня беспокоило отсутствие, скажем, тараканов. Что им тут не нравилось? Зато, как я уже отмечал, возле дворового нужника крысиные удлиненные серо-бурые тельца мызгали в разные стороны всякий раз, когда природная надобность отрывала от статьи о *вавилонском искусстве* или авторе росписи *чернофигурной вазы I века до н.э.* и влекла в более чистый отсек коллективной уборной, где в былые годы испражнялась пианистка Эдита и швея Перчатка - пуговицы она называла гузиками, - даже, когда очень поджимало, избегая вконец загаженного, куда та же природа призывала сторожа Якуба, Паню, их ближних и дальних родичей, а также мимо идущих мужчин и женщин - скорчившись, с перекошенными лицами спешили они в это зловоние, а покидали его с высоко поднятой головой, поправляя сползающие юбки или брюки, но полностью вернув себе самообладание.

Такова была стилистика этого двора, таков менталитет.

Той весной, едва лишь близколодезные вишни навили свои первые кочанчики, я аж глаза вытаращил - во дворе возникла Крысница! По весне она никогда не приходила, с чего бы это? Перво-наперво оделила всех соседей свинцово-тяжелыми пакетами яда, не поленившись каждому растолковать, как ими поль-

зоваться, и лишь после этого по-лисы подкралась к моему окну и лукаво спросила:

- Мышки, крысы есть?

- Вижу кошку! Заходи, Таша, заходи.

Таша было рабочее имя Крысницы, почему-то ей не хотелось, чтобы в служебное время ее называли Наталией или Наташей. По-литовски Таша говорила с едва заметным акцентом - в годы студенчества в Ветеринарной академии она делила комнату с мрачной как смерть литовской лирической поэтессой некроманткой, во всяком случае, так она рассказывала.

- Красивая она тогда была... Но уж и садистка, жестокая жуть. Хотела со мной переспать. Не выгорело ни шиша, понимаешь?

- Скажи в окно, Ташуля, - сказал я в ту вишнекочанчиковую пору, но Крысница со всей своей отравой вступила в комнату, не отказалась от предложенной чашки чая с мелиссой, выкурила сигарету, прослушала *"Позывные"* - *кто против смертной казни?* - поинтересовалась, что это я все пишу да пишу (как раз тогда творил я *Введение в прикладную глистику*). Внимательно оглядев увешанную картинками стену, постреляла глазами цвета какао и спросила напрямик:

- Слушай, есть презервативы?

Таковых как назло не имелось, но уже сам по себе заданный вопрос воодушевил меня сбегать к ближайшему киоску и вернуться с несколькими предметами. Тут она отмахнулась, улыбнулась как-то даже жалостливо, порылась в своей не самой кожаной сумке и вынула блестящий пакетик со сравнительно пристойной картинкой. Столь неожиданная готовность гостии к интимному общению навела меня на кое-какие раздумья, но уже *после того*, как я снова открыл окно, а она позастегивала все свои резинки (презирала колготки), я осмелился спросить, усмиряет ли она таким образом зов плоти на всех участках Зверинца, где водятся мышки? Она состроила презрительную гримасу - *и ты как все* - но потом звонко захохотала и задорно ответила:

- Нет, не на всех!

И давай по-бабьи причитать - а куда ей деться? Мужики резиночек не покупают, а сами какие распутники. И еще: нормальная она, здоровая и еще молодая, она гарантирует безопасный секс, а вообще, она давно положила на меня глаз - ишь, какой грамотный.

- И знаешь, муж мой, красавец-литовец, - ударением она выделила национальность, - завел себе проводницу: вот коровища деревенская. Таскается с ней где попало. Не-а, я не с кем попалю! - Таша была гордая душа, настоящая русская женщина. Крысница как-никак.

- Могла бы работать в лаборатории. А все же с людьми интереснее!

Еще бы нет...

- Все занят да занят, - продолжала Таша. - Думаю: неужто ему никогда не хочется?

- Стеснительный я, Таша, - потупившись, вздыхаю. Больше с ней никогда, - мысленно клянусь. - Когда опять заглянешь?

- То есть, уже выгоняешь? Выгоняешь! - она побледнела от досады. - Мой-то, между прочим, литовец, тоже такой. Только отвалится, уже и спит. Или читает. Читает и телик смотрит. Смотрит и пиво хлещет. И говорит мне, представляешь - разбуди, говорит, в семь утра, может, еще кину палочку.

Она сидела, чуть раздвинув свои коротковатые ноги, на бедре желтел недавний синячок.

Таша перехватила мой взгляд.

- Ага, его работка, - безучастно промолвила она. - Дай мне почитать что-нибудь свое.

- Да ну, Таша, - отмахнулся я. - Ничего интересного. - И, мигом позабыв недавнюю клятву: - Давай-ка мы с тобой лучше еще разик...

Крысница рассвирепела, настолько, что в трубочку свились обои, на местном жаргоне именуемые *тапетами*.

- Все вы так. Всегда. Вам лишь бы сунуть. А ты поговори со мной, поинтересуйся хотя бы, как мне живется.

Я не знал, что за этим последует - расплчется или разорвет меня на части. Или как-нибудь изощренно отравит - ей, Крыснице, это раз плюнуть. Потом докажет, что сам виноват, пренебрег инструкцией.

- Ты почитай мне, слышь. Эта *мародерша* (речь шла все о той же товарке) - иногда почитывала. Но в койку я ее все равно не пустила, колупалку.

Незадолго до того я принес с Заречья, от профессора Калибатаса, свое давнее сочинение. С волнением готовил его к печати, собираясь издать на собственные или спонсорские средства. Калибатас дал на диво хвалебный отзыв для Академии Наук, лично пожертвовал сто долларов, но то была капля в море.

- А знаешь, - воодушевился я. - Вот возьму да почитаю. Тебе, может, даже интересно будет - все же о грызунах. Дополненная рукопись, а? Начинал еще когда жил у Мери Марго и в Белом переулке, а теперь дорабатываю. Понятно, *Glis Glis*, Соня Большая, в моем трактате больше значит, чем *Rattus*, да уж не взыщи.

Таша пожала плечами - ей все равно. Вообще-то она надеялась на лирику. Но устроилась на диванчике, вытянула ноги и, когда я добрался до четвертой страницы трактата, уже посапывала, как, скажем, *бурундук*. А то и как истинная соня. Да я ничего не заметил, прикинулся, что ничего, я читал вдохновенно, жестикулируя, выделяя логические ударения, делая паузы. Эх-ма, многое мы делаем лишь для себя самих... Эй, Таша! А Таша урчала, как швейная машинка. Однако у меня в запасе было немало времени.

GLIS GLIS, ИЛИ СОНЯ БОЛЬШАЯ

Редкий литовец скажет, что ему случилось видеть *Glis Glis*, большую нашу соню. Скорее похвастает, будто видел химеру, побывал в параллельном мире или общался с полтергейстами, нежели своими глазами созерцал *Glis Glis*. Махнет рукой: подумаешь! Мне-то какое дело? На кой она мне сдалась? Зачем она вообще? Больно надо, а? Такое отношение к редким животным и растениям в наших краях весьма распространено, и можно утверждать, что следующее поколение вообще знать не будет, кто это такая за *Glis Glis* да как она выглядит.

Мои горестные заметки по поводу вписанного в Красную книгу Литвы существа не претендуют на особую научную ценность: они будут увязаны с контекстом - политико-экологической ситуацией, духовным состоянием и положением нации, поскольку все тесным образом взаимосвязано, вот увидите. Скорее это раздумья наблюдателя о жизни, а не научный опус. Понимаю - кто-нибудь скажет: этак можно писать и о спичечном *коробке*. И, пожалуй, будет прав.

Я видел *Glis Glis*: спящую, бодрствующую, занятую поисками корма, спаривающуюся; видел ее больной, веселой и раздраженной, поэтому позволю себе заявить следующее:

Соня большая (Glis Glis, длина тела 15-20 см, масса 100-150-180 г).

Примечание для авторов: половозрелая соня весит и более ста граммов. Моя мышка весит 48,5 - 50 кг, умеет читать и писать, участвует в поэтических конкурсах, фуршетах и презентациях. Свойственной всем соням паранойе моя покамест не подвержена, для нее характерны приступы ярости и латентной шизофрении. Симптомы выражены, прогноз благоприятный. Большим преимуществом можно считать тот факт, что сони оправдывают свое наименование - они спят. Сон всякого млекопитающего почти ничем не отличается от сна человека. Наиболее тяжелое нарушение сна называется бессонницей (синоним: *дежурка*; польск.: *bezsenność*, нем.: *die Schlaflosigkeit, ewiger Wachzustand*). Кроме физиологического сна следует назвать сон *патологический (летаргию)*. *Примечание:* однажды моя соня, наглотившись транквилизаторов, проспала 64 часа. Правда, в то время в мире было несколько спокойнее. Когда снова объявилась бессонница, засыпать удавалось лишь после ежедневных упражнений в испанском языке.

Buenas tardes = здравствуйте!

O.P. = *Obras Publicas* = общественные работы

Su atento y seguro servidor Su Alteza Real = Ваш покорный слуга Его Величество король!

Sobre toda España el cielo despejado = над всей Испанией солнце светит!

Как раз в этом месте Таша, словно поддавшись воздействию упражнения, засопела во сне. Она лежала спокойно, слегка зава-

лившись набок, подложив под голову пакет с ядом от грызунов: юбка малость задралась, выглядывало голубое исподнее. Поскольку второпях Таша забыла надеть трусики, они теперь торчали из кожмитного ридикуля. Я ненадолго умолк. Таша вовсе расслабилась, звонко испортила воздух, улыбнулась сквозь сон и засопела дальше. Луч весеннего солнца с любопытством глянул и стрельнул в ее ласточкино гнездо между ног, подбежала кошка и обнюхала его, однако, не найдя кладки, фыркнула и прыгнула в сторону. Я поправил ее наряд и продолжал (уже одному себе) чтение трактата вслух. Состояние сна для сонь самое священное в нашей юдоли слез. Оно же наилучшее средство против бессонницы и проч. нервных заболеваний.

Arteriae carotides - сонная артерия; без нее не обойдешься. Отлично знакома медикам и криминалистам. *Поражена сонная артерия. Ножевое ранение (прокол, прокус) сонной артерии.*

Продольная флейта. На продольной флейте сонь не играют. Вообще флейта не для игры, это *духовой* инструмент. Вернемся к артериям.

Сонные артерии для популяции *Glis Glis* чрезвычайно важны, они регулируют продолжительность сна. Нарушение зимней спячки для большинства сонь грозит летальным исходом. Подобные случаи неоднократно наблюдались. Продольная флейта - цилиндрический ствол с клювовидным отростком для вдувания воздуха.

Голоцен. Самая молодая эпоха четвертичного периода. Началась ок. 10 000 лет назад. Существует мнение, будто именно в голоцене произошел человек. См. *Max Frisch. Der Mensch erscheint im Holozän.* Человек появляется в голоцене. Этот Фриш втягивает одного гражданина в неприятную такую ситуацию. Мужик волею писателя в Швейцарских Альпах по причине метели отрезан от цивилизации. Примерно году в 1958-ом. Поскольку у него уйма свободного времени, человек обклеивает стены хижини всевозможными вырезками с цитатами, а также собственными заметками. Тут вам и становится ясно, *что человек возник в голоцене.* Потом он, кажется, засыпает и уже не просыпается. А может, вовсе не так, я подзабыл. Отличное чтение для сонь, сурков, троглодитов, кретинов, юберменчей и глистиков.

Аббревиатуры. Есть в них некое мистическое очарование. Никогда ничего не можешь знать до конца. Как и того факта, с кем в данный миг возитесь ваша *Glis Glis*. В закладывании мыслительных навыков формирующегося разума аббревиатуры нужны не меньше, чем витамины. Особенно это относится к редким сокращениям.

Соня, естественно GG - *Glis Glis*.

AA - *Анонимные алкоголики.*

BB - *Брижит Бардо, Бернардас Браздженис, Бертольт Брехт...*

CC - *carrissimae consugi*, а также *Claudia Cardinale.*

CD=DC - Corpo Diplomatico, District Columbia, Compaq Disc.
Fr. - Frau, Freitag, Frist. То есть: женщина, пятница, срок.
Можно продолжить, но зачем?

NST - Нелли Стапонкус (такая женщина). Однако *Nst* - новый стиль (по грегорианскому календарю; в голоцене не существовал, как не существовала и *NST*).

PLO - Palestine Liberation Organisation.

P.O.B - Post Office Box. Иногда сони и сурки впадают в спячку в почтовом ящике *P. O. B.*, следует отметить: редкий случай.

SS = CC, то есть, *Schutzstaffel*, а также *Sommersemester*.

SSSR - Селедка Советская Семь Рублей (Транслитерация лета 1940 г.), также *LTSR - Литовец, Тебя Сожрет Русский*.

S. R. K. T. - зашифрованная эстонская народная пословица: *Sittu ruttu - karu tuleb*. В переводе: Сри быстрее, медведь идет. Для эстонцев, быть может, актуально, для нас нет, но взять на заметку стоит.

Самка *Glis Glis*. Любопытна, назойлива, лицемерна. Типичный образец: Мария Антуанетта. Мстительная, плодовая, взбалмошная. Екатерина Вторая, Бонна Сфорца, Набелия также обладают типическими признаками.

Glis Glis. Явная принадлежность к отряду грызунов. Упрямство, мечтательность, эгоцентризм. Типические признаки, впрочем, не до конца установлены. Типические, но не полностью!

Взвешиваю: ого! На сей раз почти 51 кг. Лоснящаяся шкурка. Широкий таз. Ухоженные *CB = Срамные Волосы*. *С.В* - также *семейный врач*; *CB - (Citizen's Band)* - гражданский диапазон, радиосвязь. Не путать с *GP - General Purpose*, т.е. *общее пользование*. Большая *Glis Glis* есть *General Purpose*.

Glis Glis впадает в спячку, это счастье. Позже приписка: а также Таша. Бес в ребро. Посвящается *Glis Glis*. Трактат и веночек сонетов.

Dorno, dorno, cara mia. Спи, дорогуша.

Тем временем в Литве:

В 1707 году родился Иоганн Генрих Кунциманн. Лексикограф, сочинитель псалмов. Священник. Составил словарь литовских слов и выражений (дошел в виде рукописи). Перекладывал псалмы. Умер 27 ноя. 1755 г. в Сталупенай.

Некоторое время спустя:

13 января 1947 г. в Алитусе родился Юргис Кунчинас. Чуткий бытописатель, страдающий хроническим насморком юноша. Кроме того, репетитор, синоптик, санитар психоневрологического диспансера. В детстве перенес несколько операций по удалению полипов и тонзилл. Участвовал как наблюдатель в битвах при Грюнвальде и на реке Гороховой, в Вильне vyhаживал чумнобольных, воевал против шведов. В составе армии Суворова совершил переход через Альпы. Участник революции 1905 года, а также декабрьского переворота 1926-го. Состоит в невразумительных отношениях с космического происхождения существом

Grand Trix. Автор ряда трактатов. Наибольшую важность имеет его сочинение о популяции *Glis Glis* и смене времен года. Утверждает, будто жил и в эпоху *голоцена*. Дату своего рождения обозначает как 11 947 год, уверяя, будто в году тринадцать месяцев. Имеет прямое отношение к истории децивилизации. Содействовал дефенестрации, деколлажу и дефлорации.

В различные годы 13 января рождались и умирали также:

в 1831 году родился *Йонас Катяле*; в 1942 - *Петр Римкевич*; в 1869 - *Ядвига Юшките*; в 1880 - *Иоварас* (подл. *Ионас Крикциюнас*); в 1880 умер *Мотеюс Жутаутас*; в 1888 родился *Адомас Милка*; в 1900 - *Юозас Катинас*; в 1911 - *Казис Зупка-Кяциорис*; в 1920 - *Пранас Гудайтис*; в 1929 - родился *Винцас Гедра*; в 1934 - *Эдуардас Ионушас*; в 1986 умер *Элиас Билевич...* В тот день, стало быть, померли лишь *Мотеюс Жут.* и *Элиас Бил.* Остальные - родились. *Ad majore nata sum*. Так сказать, рожден для более важных дел.

Следуем дальше, милейший читатель трактата. Хотя, надо полагать, не столь ты мил, сколь я неискренен. Это вам не автографы раздавать: милейшему ... искренне! Стандартная мультипликация.

Моя *Glis Glis* спит. Плавно прибавляет в весе. Спит мозг, замедляется кровообращение. Исторические *Glis Glis*: *Сони Большие*: *Али Баба* - командир первого в мире отряда быстрого реагирования, *Диоген*, обитатель бочки; *А. Мюссе* - романтик; *Мусоргский* - участник ансамбля "Хованщина"; *Мустафа* - великий визирь Османской империи, достигший Вены; *Гейнц Гудериан* - воспитанник Казанского военного училища, впоследствии Главный танкист вермахта. Прочие: *Сенека*, *Эзон*, *Крылов*, *Д. Пош-ка*, *Ворошилов*, *Гете*.

Что касается Мустафы, Османского визиря: поляки утверждают, будто проиграй они битву при Вене, монголы заполонили бы Европу. Точно так же в XX веке: если бы не польские легионеры, большевики промаршировали бы от Вислы до Атлантики. Если бы не литовцы да поляки, НАТО и Европейское сообщество нынче были бы под властью Стамбула (бывш. Константинополь) - см. исследование Пашуты "Польско-литовские со-ни".

Nota bene: в 1870 году в куршском селении *Fräulein Preila* родилась народная поэтесса Набеля Путрюте-Путтерсен. Набель уверяет, будто это ее бабка (пра? прапра?) по отцовской линии. В крестильной метрике значит: *geboren Putriute*. По словам Набели, старушка была типичная *Glis Glis*. Печаталась в *Memeler Dampfboot* и *Königsberger Allgemeine*. Превосходный для своего времени тип эксгибиционистки: абсолютно нагая устраивалась посреди пасеки и пчелиными укусами лечила свой ревматизм, подагру и рассеянный склероз. В семье избегают о ней говорить. Подвергалась нападкам за пронемецкие и пронацистские мотивы в творчестве. Погибла в 1914-ом от попадания *авиационной*

стрелы в сокровенное место. Погребена в Прейле, за могилой ухаживает отпрыск рода Набелия. В литературных энциклопедиях и справочниках незаслуженно обойдена, хотя имеются сведения, что именно Путрюте позировала для *Таравской Аники*.

По существу *Glis Glis* всего-навсего мышь со всеми присущими грызунам свойствами, повадками, менталитетом и образом жизни (см. *Юозас Катинас. Мышь в жизни литовца. Тильзит, 1914*). Существует, впрочем, и ручная мышь, одомашненная. Всеядна и всегрызна. Церковная мышь. Амбарная мышь. Мышь мыши рознь. Жизнь мыши полна опасностей. Мышь в устном народном творчестве: *Кошке смех - мышке слезки*. А также: *Надулся, как мышь на крупу*. Или: *Мышка-то шмыг в норку*. Из этого вида мышей вышли *Мышонок Пик, Микимаус, Кутузов, Великий Малке* (см. *Гюнтер Грасс. Katz und Maus*). Справочная литература: Из серии *В помощь любителям кошек. Шарль Перро. Кот в сапогах*. Есть и иного рода фольклор - из категории профетикки: *Отольются кошке мышкены слезки*. И многое другое.

О кошках еще писали (кроме Шарля Перро): Йонас Билунас, Ромуалдас Гранаускас, Э. Т. Гофман, и почти все классики.

Glis Glis - слава Создателю - по-прежнему в спячке. Большая соня. Благоухает лавровыми рощами Сицилии. Малооблиственным южным лавролесьем. *Dorno, dorno, cara mia*. Как известно, *quandoque dormitat Homerus* - иной раз и Гомеру случается вздремнуть. Однако *sero venientibus - ossa* - опоздавшим кости. Не отсюда ли слово: *костюм*? Copyright ©1969 этого открытия принадлежит Викт. Бразаускасу и Стяпонасу В. Это они постоянно появлялись в костюмах, хотя и не опаздывали. В костюмах и при галстуках. Костюм еще называется: тройка (не путать с *Aй да тройка, снег пушистый...*). Костюмная тройка - пиджак, жилет и брюки. Или пиджак, брюки и галстук - тоже тройка. Костюм бывает выходной, рабочий, водолазный, спортивный. Костюм заключенного - роба. Еще ему полагается бушлат. Такое же название носит костюм моряка. *Деревянный бушлат* - это уже совсем другое. Как бы вечный костюм. Без костюма никак. Антоним костюма - нудизм, эксгибиционизм, люмпенпролетаризм, бомжатство.

Glis Glis как таковая. Значение в цивилизации, искусстве, культуре. *Glis Glis* в некоторой степени сродни людям искусства. В частности, сонливостью, эксцессами, эгоцентризмом. Художники, как правило, ни в чем не знают меры - в беспутстве, ничегонеделании, в работе. Зачастую в итоге оказывается бытовой секс, истощение, перерождение тканей и сомнительная слава. Примеров того сколько угодно и в наших краях. Нередко случается и *delirium tremens*. Лирика тут ни при чем. Кроме случаев экслирики. Как экс-премьер-министр. Экс-президент. *Экс-кававтор*. (Кто такой каватор? Знаете - скажите). *Экс-либрис*. *Экс-пресс*. *Экс-машина*. Это роковое вмешательство еще называется *Форс мажор*. А все от безмерной сонливости, безмерного бес-

путства, безмерного честолюбия, которого не чужды даже аскеты. Тем временем культура перенасыщена, как соляной раствор. Выпадающие в осадок кристаллы смахивают на раковые метастазы. Кристаллы эти множатся сами по себе, становясь *массовой культурой*. Мышевидные сони, как и люди, много говорят о культуре, кидаются именами и фамилиями (часто в контексте совместной пьянки, обеда, спанья, поездки в одном троллейбусе и пр.). *Потребление алкоголя* - вот еще одна общая черта у сонь и людей искусства. У русских даже существует понятие: тихий пьяница. Плакат в витрине гастронома: *Водку без меры пьешь - без времени помрешь*. На взлете Саюдиса* бытовал лозунг: *У пьяницы нет родины!* Был также создан шедевр *филумении* (так называется коллекционирование спичечных этикеток) с соответствующим текстом. И поэты взяли его на вооружение. См. *Юозас Эрлицкас. Книга. с. 46.*

Мало нам радости, дражайший братец, любезная сестрица, в том, что соня спит, будучи трезвой. *Trezvus absolutus*. Она млеет от собственно сна, от пошлых похвал, которые позволяет себе даже профессура. Однако значение сонь в развитии современной культуры нелегко выделить: сама культура является ближайшей соратницей и соложницей сонь. Тем не менее, несмотря на то, что оба существительных относятся к женскому роду, еще не стоит закидывать камешек в лесбийский огород. Правда, однажды в своей летней спальне я застал Набелию с культуртреггершей Мартой У. Голые, закутанные лишь в простыни, они были настолько поглощены томиком Катулла, что не услышали моего деликатного покашливания, и даже падение шкафа не произвело на них впечатления. Я провел подле них не меньше часа, щекотал подошвы, гладил лодыжки - никакой реакции. И лишь появление Онеги Мажгирдас (заглянула проверить домашние задания и нюхнуть махорки) вывело из транса утонченных распутниц. Позднее я столкнулся с подобным явлением: оно описано в издаваемом в Бад Содене (Гессен) литературном журнале *Der Literat*, трогательно отметившем 150-летие со дня рождения супруги Ф. Ницше - *Elisabeth Förster-Nietzsche*, также культуртреггерши... В статье приведен довольно похожий случай, который Фридриху Ницше рассказал друг его приятеля, драгунский офицер, а тому данный коллапс описал полковой конюх. С другой стороны, ничего страшного. Не криминал и не конец света. Не стоит переоценивать трезвенность и презирать крепкий, здоровый сон. И в том, и в другом случае следует готовиться к Страшному Суду, где кассационные жалобы не рассматриваются. Евангелист Лука настойчиво предостерегает: *Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не настиг вас внезапно. Ибо он, как есть, найдет на всех живущих, по всему лицу*

* Движение за восстановление независимости в Литве в 70-80 гг. XX в.

земному... (Лк. 21, 34-35). В качестве антитезы, как трезвости, так и бодрствования, можно назвать пьяную дремоту, которая обладает определенной порочностью, но не лишена и положительных свойств.

Отнюдь не всякий литовский сочинитель или перкуссист поражает художбой, как Набелия. Случается видеть нашего брата литератора в теле, причем бедного, как церковная мышь. Или по крайней мере таковым представляющегося. Бывают такие - *тучные, да несчастливые*. Они медлительны, сонливы и определенно несчастливы. Один толстый поэт в 1991-ом уснул в скверике у памятника С. Монюшко. Другой - в кафе *Эльдорадо*. Третий - в собственной постели, зато вечным сном.

Примечание. *Весной сони тем не менее выходят из спячки.
Употребляйте пасту "Балтика" -
Отрегулируется перистальтика!
Фасоль, бобы и дробь гороха -
Звучит перкуссия неплохо!*

В независимой Литве реклама сказочно обогатила не одного поэта, художника. Попадают истинные шедевры.

ЗАО "Оборванная струна" бесплатно оказывает ритуальные услуги каждому тринадцатому клиенту

Или:

**ОБНАРУЖИВ УТЕЧКУ ГАЗА,
ПЕРЕКРОЙ ПОДАЧУ СРАЗУ!**

*...pink pank Stein Stein grau grau die lange lange Strasse lang
Stein Stein grau blau flau so grau Wand Wand grüne Emaille
Schlechte Augen schnell behoben
Optiker Terboben
Im 2 Stockwerk oben*

В переводе эта в литературных целях использованная Вольфгангом Борхертом реклама звучит примерно так:

*...дзынь-дзынь камень сизо-лиловое бензинное пятно сизо-серое
потом сизо-голубое стена стеной зеленая эмаль*

*Ваше зрение исправит
Окулист Иоганн фон Браве.*

Неподалеку от базара Галле бросилась в глаза реклама:

*Замки, прокладки, смазка.
Все для порядка.
Предохранители, шпагат.
Сдается площадь. Открыт прокат.*

Явная самодеятельность. На этом много не зашибешь. Робкая попытка зарождающегося национального сексбизнеса привлечь внимание импотента.

Поблизости куда более лихо рекламируется полуподвальная лавка ХОЗТОВАРОВ.

*Гвозди, косы, топоры!
Шила, дрели, поролон.
Мыло, памперсы, бруски
Плоскогубцы, дрель, тиски.*

Беспомощная рифмовка, не наострились. Куда более искусно организована пропаганда ночной столовой:

*Выпьешь ты не натощак,
Если здесь поешь борща.*

Убедительно. Сразу ясно, для чего человеку дана ночь.

Хлопнула дверь. Я поднял глаза от текста. Вошла насквозь промокшая Таша, дератизатор. Взбешенный такой неожиданной помехой, я сунул ей в пасть стакан кальвадоса, и она рухнула на разработанный диван. Эта Крысница рокотала, как исполинский сверчок, а когда, устраиваясь удобнее, она приняла несколько фривольную позу, я заметил, что Таша опять без трусов. Где же она их обронила? Темно-багровая ложбинка пылала, как гончарная печь. Или пламенела, словно алая заря. Определенно она источала некий заманчивый для крыс аромат, потому что в открытую дверь скользнул известный всему Зверинцу крысией Принц. Я услышал радостное поскребывание коготков о диванный дерматин, глуховатый довольный смешок и к ужасу своему увидел, как мерзкий крысец втискивается между женских бедер, а та прикидывается, будто млеет. Принц зыркнул в мою сторону, однако, нимало не смутившись, впился в крысницыну срамную волосню, похотливо попискивая, сгорая от вожделения, всадил свой крысиный предмет в обширное Ташино устье и принялся производить фрикционные движения. Таша стонала, закрыв глаза. Она даже вонзила ногти в диванную обивку - точь-в-точь крыса. Ужасное предчувствие охватило меня, но я и с места не сдвинулся. Принцева спина - лоснящаяся сивая шкурка - покрылась крупной испариной, на затылке ерзала золотая цепочка, зверек блаженно сипел, едва не задыхался в экстазе. В тот миг я мог его прикончить, ухлопать единым выстрелом, однако - зачем? И Принц был *la stessa cosa* - одним из нас. И я продолжил чтение, а крысиный Принц наслаждался дальше, не думая остановиться. Я читал:

E la stessa cosa. Он такой же, как мы. В незначительной редакции, года этак с 1945, эта формула действовала при вступле-

нии в *Союз писателей Лит. ССР* новых членов. Нечто подобное произносилось и в других творческих союзах. После публичного допроса кандидата в советские писатели, взвесив и оценив факты его биографии и свойства характера, в виду отсутствия возражений, в кладбищенской тишине Председатель произносил, точно заклинание, эти слова: *он один из нас*. Понятно, он был не совсем как все остальные, но отныне договор действовал пожизненно. Горе было тому, кто так или иначе вдруг обнаруживал, что он не *stessa cosa*. Тут могли подставить ножку какие-нибудь стилистические выверты или особое отношение к пунктуации. Доставалось и рекомендовавшим. *Куда смотрели?* - вопрошал серый, как мышь, человек из комитета. Да нет же, не *Серый кардинал*, обычный надзиратель. Так сказать, попечитель. Поначалу сторонний, со временем внедренный в самый аппарат Союза писателей, что было гораздо удобнее в виду близости уха от негодных уст.

Ага, Принц наконец закончил свое мерзкое дело. В самое время. Над моим подоконником выросла новая темная тень. Почуввав ее, хромой развратник проворно скрылся. Тогда, еще не вполне все осознавая, Таша открыла правый глаз, а я обернулся: кто бы это вздумал пожаловать? И увидел в оконном проеме еще более жадно, чем крысией Принц, впившегося взглядом в Ташину пещерку - *стрибка** Микаса Лёнгинаса, соседа из дома Зяпаса Искупителя. Микас - имя этого сморщенного старца, а Лёнгинас его фамилия. Он пожирал ее глазами, словно никогда в своей жизни не видал живой шлюхи. Даже зресте забыл сказать, настолько его поглотило это зрелище. Мутная слюна свисала с отвисшей дряблой губы *борца с вооруженным бандитизмом*. Отрицательный герой соответствовал стереотипу - являл на редкость отталкивающий вид. Даже если бы его взгляд был устремлен не на Ташино сокровище, а на цветущий розовый куст, все равно противно. К тому же, он был с похмелья, душок перегара я ощутил спиной.

Я швырнул крысице ее трусы, рывкнул: здесь не вокзальный нужник, а *стрибку* задал коронный вопрос: *чего тебе?* Он крякнул, прикрыл рот кулачком и ничего не ответил. Он во все глаза глядел, как Таша надевает трусы - деловито, без тени смущения. Это уже было чересчур. Я отпихнул Микаса Лёнгинаса, и он навзничь пал в мураву - ослабел, однако же, от водки и курева. Бухнулся, точно гнилая доска, в истерзанный дождями бурьян - дом наш принципиально не признавал ни сточных труб, ни канав.

Перевела с литовского
Далия ЭПШТЕЙНАЙТЕ-КЫЙВ

* *Стрибками* (от русск. ястребок) в годы после Второй мировой войны народ называл членов истребительных отрядов по борьбе с антисоветским сопротивлением.

В январе 2007 года выставкой в Государственной библиотеке им. Мартинаса Мажвидаса в Вильнюсе было отмечено 60-летие со дня рождения Юргиса Кунчинаса, чья жизнь оборвалась на 55-м году. Выставка оказалась внушительной: романы, сборники рассказов, стихи, статьи, репортажи, книжки для детей. Переводы сочинений писателя на немецкий, шведский, эстонский языки... Русские переводы были представлены публикациями в журнале "Вильнюс", журнальными вариантами и романом "Передвижные рентгеновские установки". Вскоре после юбилея издательство Ивана Лимбаха в Санкт-Петербурге выпустило книгу "Тула", куда вошли одноименный роман и рассказы разных лет. Сегодня мы предлагаем читателям отрывки из романа "Зверинец - Заречье", который можно назвать важнейшей вехой в творчестве писателя. Здесь полностью раскрылись и филологические знания Кунчинаса, его огромная эрудиция, и мастерство современного прозаика, одного из первых в Литве писателей урбанистов, создавшего неповторимый стиль спонтанного повествования, который сегодня перенимают многие.

Трудно назвать другого литовского прозаика, кто бы так остро ощущал красоту и ужас бытия. В этом, можно сказать, феномен Юргиса Кунчинаса. Для него не существует обыденности - все в его восприятии ярко и все вопиет, все имеет право на существование, причем, равное право, и поэтому отсутствует грань между прекрасным и безобразным. Его герои - люди и мыши, птички и облака. Дворик неблагоустроенного дома, каких на свете множество, обретает образ модели мира. Холм на берегу речушки предстает в виде уникального геологического Обнажения, любимая женщина присутствует в его настоящей жизни и в прежних существованиях, он всегда находит ее. К какому направлению отнести сочинения этого писателя - его романы, его рассказы? Тут и прекрасные сюрреалистические описания вечера, цветущего дерева, плывущих облаков, и характеры обыкновенных и в то же время таких непростых людей, и пародийные воспроизведения научных трактатов - с латинскими обозначениями видов и отрядов полуреальных животных, в чьих образах герою видятся знакомые люди. Бытописание Кунчинаса в равной мере фантастично и реально. За основу писатель берет конкретные места, детали, типажи, однако воспроизводится и воспринимается все как поэзия и фантастика.

...Десятилетиями курсирует транспорт по улицам литовской столицы. Как в любом городе, в Вильнюсе существуют центр и окраины. Закономерно, что окраины соединяются с центром и что конечной остановкой многих линий бывает вокзал. Однако Юргис Кунчинас остановил свое внимание на автобусной линии, соединяющей два разделенных центром района - Зверинец и Заречье. Само название этих двух старинных районов не может оставить равнодушным. Зверинец! Большой полуост-

ров, почти остров, образованный причудливой петлей реки, на которой стоит Вильнюс. Когда город уже существовал как столица Литвы, этот район был сплошь покрыт лесом, здесь охотились на диких зверей - отсюда и название. Постепенно район застраивался и сделался чем-то вроде дачного поселка. По сей день сохранились деревянные одноэтажные домики с прилегающими огородами, не везде имеется водопровод. Двухэтажные дома, постройки вычурной архитектуры - то с островерхой кровлей в "закопанском" стиле - такие можно встретить в Карпатах, то с резными столбиками, подпирающими изящный балкончик, то длинные строения бывших тракторов - все это будни уходящего в прошлое самобытного района, застраиваемого современными коммерческими зданиями, вытесняющими былой уклад, былой контингент и нравы. И этот исторический в полном смысле район соединен автобусной линией с другой окраиной - районом Заречья, судьба которого во многом сходна с участью Зверинца, но удаленность от центра наложила свой отпечаток на его облик: сохранилась старинная архитектура, местами - водокачки на скрещении улиц, неряшливые палисадники и бедные огородики, обнесенные остатками досок, сетками железных кроватей. Юргис Кунчинас умиляется абсурдности ситуации, и автобус, курсирующий между двумя окраинами, вырастает в огромный, развернутый образ Бытия, подавляющего человека своим фатализмом и многообразием. Мир словно обрушивается на человека, заставляя подчиниться некоей незримой воле.

Идет ли речь о мире зла? Отнюдь! Этот мир, где человек отчаянно бьется, точно в бурливом водовороте, полон красоты и добра. Это очень важная особенность мировосприятия писателя. Люди, какими бы они ни были, всегда вызывают его симпатию. Вот уж поистине "ни иудея, ни эллина", Юргис Кунчинас любит всех. Мы проникаемся этой его любовью, и лишь путем пристального анализа творческого метода писателя постигаем секрет обаяния его персонажей - таких разных и по социальному положению, и по интеллекту, и по нравственным установкам.

Секрет - в мастерстве Юргиса Кунчинаса.

Самые невероятные ситуации у него убедительны. А ведь сколько слабых произведений пытались и пытаются оставаться в литературном обиходе, уверяя, что все описываемое - сущая правда. О, правда жизни и правда искусства! В вечном единоростве этих двух правд всегда побеждает вторая. *Arts longa, vita brevis*. Однако у хорошего писателя правда искусства становится правдой жизни, и в этом еще одна разгадка обаяния прозы Кунчинаса.

Правда искусства никогда не лежит на поверхности - она добывается. И Юргис Кунчинас извлек многое из правды литовской действительности. Силой своего таланта он заставляет нас стоять на берегу загрязненной речушки и видеть бре-

дущего по ней покровителя города Вильнюса - святого Христофора с посохом в виде могучего вырванного с корнем дерева в руке и ангелом на плече. В этом образном противопоставлении святого великана-силача и мелкой речушки, почти ручья, течение которого он одолевает с трудом, заключена мысль о тяжести Бытия, об ответственности перед людьми и перед собой.

При всем трагизме ситуаций и образов все комично и нелепо в этом абсурдном мире - наши серьезные стремления и пути их осуществления, наши потуги быть великими и наша беспомощность. И в то же время величие простых, маленьких достоинств - и оно вызывает улыбку.

Как находчив и тонок Юргис Кунчинас в эротических описаниях! Эрнест Хемингуэй полагал, что наиболее сложное и трудное в работе писателя - описания любви и смерти. Там, где у писателя вместо сцены любви или смерти стоит клякса, утверждал Хемингуэй, можно сказать, что произведение обречено. Эротические образы и сцены Юргиса Кунчинаса ошеломляют. Одной-двух деталей достаточно, чтобы сцена предстала как живая. Причем, это истинная эротика, и диву даешься, до чего она эффективна. Даже если она нереальна, как, например, соитие с самцом крысы! И не скаброзна, не шокирует. Не говоря уже о том, что иной раз даже без описания сцены секса создается насыщенная обстановка самого настоящего страстного возбуждения.

То же относится к мотивам смерти. Предчувствие близкого конца присутствует в романах и новеллах Ю. Кунчинаса почти неотвязно. То в явном, то в скрытом виде. Оно разлито в его пейзажах, в песнях, которые он щедро вставляет в свои прозаические произведения. Эта светлая печаль, надо полагать, спонтанная, неосознанная, примиряет с существованием. Возможно, она примиряла с неизбежностью конца и самого писателя, чья жизнь оборвалась внезапно, на пороге того самого дома, который описан в романе "Зверинец - Заречье".

Литовских читателей его рассказы и романы зовут бродить по городу, заново узнавая знакомые места: запрокинув голову, под стук теннисных мячей на близлежащих кортах простаивать на берегу Вилейки и вглядываться в поросший кустарниками невзрачный холм, в котором весенние ручьи прогрызли желтое песчаное русло, вообразить столетия напластований, древние битвы, корабли викингов, которые никогда не проплывали по этой узенькой речке. Никогда? Но не эта ли речушка унесла в 1933 году две юных жизни? А сколько тайн лежит на ее илистом дне! Не в эти ли воды сыплют пепел умерших вдали от родины литовских художников? Юргис Кунчинас дарит нам способность видеть незримое. И тем, кто никогда не бывал в Вильнюсе, оно должно показаться явью.

Даля КЫЙВ, 2008

АЛЬБЕРТ
СЕЛЬЧИНСКИЙ
ТЕЛЕКАМЕРА
ПОД КОПИРКУ

это было холодной осенью папа вздыхая подтапливал печку
мама мусоля во рту папиросину искала в балансе потерянную копеечку
окна слезились глядя на это где-то мяукал жалобно котик
и я возомнив себя поэтом гневный бумагу портил

1952-53 г.

ВАЛЬС ШОПЕНА

Ты тогда Шопеном бредила, Я - тобою,
И, конечно, ты заметила,
Что со мною.

Я прикидывался ангелом,
Авантюрно,
А глаза - два грустных факела
Средь ноктурна.

Я просил тебя: пожалуйста,
Вальс Бриллиантовый...
Ты играла так безжалостно,
Так талантливо.

1984 г. (?)

ИЗ ЦИКЛА “ТРУДЫ ПРАВЕДНЫЕ”

I

Телекаторга. Душепарилка.
На исходе воскресного дня
Телекамера под копірку
Размножает в квартирах меня.

Альберт Сельчинский (1936-2003), см. эссе Далии Кыйв “Дворец детей”, с. 186.

В пиджаке государственном, в гриме,
Собираю в кулак баритон,
Громыхаю словами чужими,
Соблюдаю положенный тон.

Уважаемый телескучатель,
На исходе воскресного дня
Нажимай поскорей выключатель,
Вырубай беспощадно меня!

II

Нет ничего страшнее жажды,
И это, впрочем, знает каждый.
В “Меркурий” я зашел однажды,
Чтоб скромно выпить двести грамм
(Филолук выпьет двести граммов),
И тут вошел в питейный храм
Живой герой семейных драм
И ненаписанных романов -
Мой друг по имени Абрам.

Облюбовав мой тихий столик,
Он зарычал: “Привет, соколик!
Да ты, я вижу, алкоголик,
Белугу хлещешь, стыд и срам!
Я перешел на коньячище.
Напиток несравненно чище,
Подливка для духовной пищи.
Бутылочку “КВ”, мадам!”

- Ну, как дела? - спросил он просто
И посмотрел в окно на звезды. -
А здесь ужасно спертый воздух
Где пропадал ты? Как дела?
И я ему ответил просто
И посмотрел на те же звезды:
- Ты прав, порядком спертый воздух...
Такие-то, Абрам, дела.

Мы выпили и закусили,
Потом добавки попросили.
Пока ее нам приносили,
Мы говорили про дела.
Под занавес нам стало жарко,
Самих себя, несчастных, жалко -
Зачем нас мама родила?
Чтоб прозябать в такой халтуре -
Да в нашей это ли натуре!

...Прекрасен кабачок “Меркурий” -
Какой уют, какой уют!
Подобия восточных блюд
Остервенело подают
Подобия восточных фурий.

Интеллигенты поддают.
1979-1980 г.

ДВОРЕЦ ДЕТЕЙ

Сегодня это полуразрушенное здание под горой Гедимины выглядит маленьким и жалким. С одного бока его теснит белокаменный комплекс Национального музея, с другого - громада возводимой Резиденции средневековых правителей. Исследования доказали, что при строительстве двухэтажного особняка купца Шлосберга в 19 веке были использованы части разрушенной той самой Резиденции, которую нынче восстанавливают по описаниям, старинным гравюрам. Потому было решено особняк Шлосберга снести и камни взять обратно, восстановив Резиденцию, а тем самым историческую справедливость. Тем более, что особняк в списках исторических или культурных памятников и не числится.

А ведь это - памятник, исторический и культурный. Если перечислить всех знаменитостей, чье имя связано с этим домом, на фасаде не хватило бы места для мемориальных досок. Здесь начинали звезда литовского балета Леокадия Ашкеловичюте, танцовщик Валерий Панов - сегодня руководитель Театра современного балета в Ашдоде (Израиль), в драматический кружок ходил школьником ныне известный артист театра и кино Эдуард Марцевич. В фотокружок ходил Володя Тарасов, он впоследствии нашел себя в джазе и сегодня известен всему миру. В шахматном занималась будущая чемпионка Литвы Илана Эпштейнайте и многие, впоследствии участники олимпиад и международных матчей.

В первые годы после Второй мировой войны это было единственное место, где дети могли мастерить, рисовать, петь, играть, исследовать. Здание называлось: Дворец пионеров и школьников, но мы, бегавшие туда дважды в неделю, называли это здание только Дворцом. Это и был наш Дворец - волшебное место, где сбывались мечты, где каждый чувствовал себя властелином. Новые гунны, возводящие Резиденцию средневековых правителей впритык к Кафедральному собору, да так, что и кошке между них не пробежать, оставили от нашего Дворца часть фасада да зал на втором этаже. Этот зал! Там размещалась балетная студия с огромными окнами и зеркалом во всю стену. Поднимались туда по ажурной чугунной лестнице - что оставят от нее! По субботам студия превращалась в танцкласс. Руководитель драматического кружка, артист театра Владимир Устинович Шальтис обучал бальным танцам математиков и звездочетов, авиамodelистов, хористов и, конечно, своих кружковцев, и даже балерин. Кто сегодня станцует падеспань или чардаш, кра-

ковья, мазурку? Этих субботних танцев ждали с нетерпением. Встречаясь в городе, участники разных кружков, не знакомые лично, обменивались узнающими взглядами. Мы все несли караул в нашем Дворце. Там завязывались и знакомства, иногда на годы, порой на всю жизнь.

После представления нашего маленького балета “Зимняя сказка”, где я танцевала Снегурочку, ко мне за кулисы явился мальчик из драмкружка.

- Ты играешь! - сказал он сурово. - Балетница должна играть!

Много позже я убедилась, что это не обязательно, даже нежелательно, и стала следить за своей мимикой. Но с Аликом подружилась. Нас сближала страсть к искусству. При отсутствии телевизора в нашем распоряжении были лишь книги, радио да кино. По поводу кино сразу наметились разногласия. Мое социальное и политическое чутье восставало против слащавых сталинских фильмов, я не ходила их смотреть, и так называемую советскую классику увидела совсем недавно, дивясь своей детской правоте. Алик смотрел все. И ходил в театр по многу раз на один и тот же спектакль. Это было понятно - он готовился стать актером.

В группе он и был самым одаренным и перспективным. Многие из этого кружка связали свою жизнь с театром, однако в те годы звездой театральной студии был Алик - Альберт Сельчинский. Его успеху ничуть не мешало то, что он не всегда играл положительных героев, ему удавались и отрицательные. В пьесе “Два капитана” (по роману В. Каверина) он был Ромашовым, отталкивающим мерзавцем Ромашкой, но как запомнился! Алик показал всю сложность характера этого несчастного подлеца. Некрасивый, заурядный, Ромашка мог бы тихо проползти по жизни, никого не обижая. Однако судьба послала ему испытание - любовь к царственной Кате, а еще - соперника в лице положительного, творческого, целеустремленного Сани Григорьева. Саня великодушен, а Ромашка подл. И он почти побеждает в их поединке! Все переживания, мечты и крах Ромашки заставляли публику сопереживать ему едва ли не больше, чем герою, поборнику справедливости. Двухтомник В. Каверина мы знали почти наизусть. Алик готовил роль Ромашки, советуясь и с моим отцом - до войны руководителем любительской театральной студии в городке Ионава. “Играя скупого, - излагал папа мысль великого режиссера, - ищи, где он щедрый”. Разговоры о Станиславском, штудирование труда С. Волконского “Выразительный человек”, постановка голоса - все это было темой наших ежедневных разговоров по дороге из школы домой и, особенно, по телефону. По-моему, он уже тогда стал для меня Голосом.

Кроме “дворцовых балов” у нас были и другие звездные часы. По четвергам из Москвы по радио транслировали оперные спектакли. Да, целиком, с чтением либретто. Мы замирали, слушая, как включали зал Большого театра, ловили гул в фойе, затем слушали, как “яму” заполняют оркестранты, начинается настройка и проба инструментов. В сумятице отдельных звуков вдруг всплеснет обрывок мелодии, пассаж, перебор арфы, трель

флейты. Хаос нарастает, становится все громче и вдруг - тишина. Появился дирижер. Аплодисменты публики и снова напряженная тишина: он поднял палочку, и - музыка! Так, прикинув к радиоприемнику, мы прослушали "Онегина", "Пиковую даму", "Бориса Годунова", "Князя Игоря", "Снегурочку", "Кармен". Причем, по несколько раз. Был "Онегин" с Лемешевым, был и с Козловским. Все это обсуждалось в подробностях немедленно после трансляции или на завтра после школы, то есть в пятницу. А следующим вечером - бальный зал и чардаш, падеспань, вальс! И бесконечные беседы возле угла дома, потом, выждав полчаса, пока Алик не придет домой, продолжение этих бесед по телефону.

У него была и своя жизнь помимо нашей дружбы. Он играл в футбол, разбирался со своими братьями, бегал за девочками. Я к этому не имела никакого отношения.

Испытанием нашего единомыслия стал 1953 год. "Дело врачей" было воспринято одинаково и однозначно: мы не поверили. Тогда я впервые узнала, что отец Алика еврей. Я поведала, что слышала, будто всех нас будут вывозить в Биробиджан - так говорили дома. Было тяжело и скверно на душе, хотя во Дворце продолжались и занятия, и танцевальные вечера. Кажется, прекратились трансляции опер. Оставались концерты в Филармонии, спектакли. Мы все больше говорили о политике. Освобождение врачей и все, что за этим следовало, заставило нас пересмотреть свое отношение к авторитетам в искусстве. Я вдруг увидела совершенно в ином свете любимую балерину, танцевавшую перед Сталиным. Алик доказывал, что ради искусства можно идти на компромисс: "Париж стоит мессы". Нам тогда было по шестнадцать лет, девятый класс.

Удар последовал вовсе не с той стороны, с которой ожидали. Не конкурсы в московских вузах, где не жаловали евреев, не интриги и отсутствие блата, о котором мы и слышать не желали. Алика скрутила страшная болезнь.

Я прочитала о рассеянном склерозе все, что было доступно в библиотеке соседа - врача-дерматолога. Было ясно, что болезнь неизлечима. В школе я плакала, уткнувшись лицом в парту, учителя и одноклассницы сочувствовали, не задавая вопросов.

Мы кончали школу, сдавали экзамены, - Алик лежал в больницах, потом в Институте им. Бехтерева в Ленинграде. Отец напомнил мне о своем любимом рассказе А. Куприна - "Гамбринус", где гениальный скрипач, потерявший на войне руку, продолжает чаровать всех игрой на каком-то специально изобретенном инструменте типа свистульки. "Человека можно искалечить, но искусство все перетерпит и все победит", - цитировал папа. Я горестно возражала, что свистулька - не скрипка.

Болезнь Алика то затаивалась, то вновь обострялась - это ее свойство. Тем не менее, он и школу закончил, и в университет поступил, и с отличием закончил его. О сцене пришлось забыть. Но забыть было невозможно, и Алик, с его заплетающимися ногами, стал разрабатывать свой и без того замечательный голос. Он работал диктором на радио, и многие включали приемник ради того, чтобы услышать "Последние известия" именно

в его чтении. Он появлялся на экране - вел информационную программу, произносил официозные тексты. Служба на радио и ТВ была не столько способом зарабатывать на жизнь, сколько возможностью жить искусством, отрешаясь от содержания того, что произносишь. По его стихам той поры - полусерьезным, полунасмешливым, можно судить, что вопрос участия или неучастия в духовном сопротивлении режиму его глубоко волновал. Стихи стали документом эпохи, когда и здоровые, и молодые не могли быть полностью счастливыми в условиях удушающего режима. Алик озвучивал литературные передачи, иногда это бывали мои переводы. Материалы были стандартные, забытые штампами, переводить их было скучно, озвучивать тоже не слишком радостно. Однажды довелось переводить передачу о народных песнях. Она была написана искренне, со вкусом, и я вложила в нее и чувство, и фантазию, зарифмовала стихотворные вставки. После передачи Алик пришел в комнату переводчиков, что было нелегко, так как кабинет находился в другом флигеле.

- Получается! - сказал он. - У меня прямо горло перехватило.

Вспомнили "Гамбринус".

Было ясно, что одним лишь чтением чужих текстов не унять тоску по истинному искусству. И Алик стал сам готовить свою культурную программу на Литовском радио. Это была литературная передача, в основном о поэзии. Несколько лет подряд наслаждались слушатели его блестящим умом, увлекательными рассказами о творчестве поэтов. Алик вернул в наш обиход имя Степана Щипачева, почему-то иронически воспринимавшееся читателями 50-х годов. Многие давали его юмористические зарисовки "Витамин С" (т.е. смех - Д.К.). В летнее время эта дневная передача заставляла меня на садовом участке, и он словно рядом полол морковку, добродушно разговаривая и ободряя тысячи людей.

Все труднее становилось ездить на службу, чтобы дважды в день выходить в эфир на десять минут с "Известиями", и Алик стал редактором русского литературного журнала "Вильнюс". За короткое время он сделал журнал интересным, да и время было подходящее - "перестроечное". "Вильнюсу" принадлежит заслуга первой публикации книги О.В. Ивинской "В плену времени. Годы жизни с Борисом Пастернаком", в Литве легитимно увидел свет и роман Б. Пастернака "Доктор Живаго". Сегодня этим никого не удивишь, а тогда это было событием. Стараниями Алика читатели журнала познакомились с личностью и трудами философа Л. П. Карсавина.

Однажды в редакции я увидела на его письменном столе листок со стихами. Название "Вальс Шопена" побудило меня прочесть трехстишие. Вспомнилась большая сумрачная комната, мой дряхлый рояль с западавшими клавишами, и "Вальс № 3", который я наигрывала Алику в девятом классе.

Его лютая болезнь делала свое страшное дело. К 2003 году нам, его друзьям, стало ясно, что его дни сочтены. Старались, как могли, скрасить его последние месяцы, недели. Собирались у него дома. Кто умел, развлекал беседой, я взяла за привычку готовить редкие, непривычные блюда. Убеждала его, что пора

узнать, какова на вкус пресловутая чечевичная похлебка! Достала чечевицу, проштудировала рецепты и приготовила. Торопясь к нему, в автобусе сочиняла какую-нибудь нелепицу. Например, оду в виде “онегинской строфы”, приветствие ко дню рождения общего знакомого. Алик участвовал в этой игре, смеялся. Он и прежде общался со всеми на равных, не выдавая ни своих физических страданий, ни отчаяния, отшучивался. Я наметила ко дню его рождения - 6 мая изготовить крапивные щи, но состояние Алика ухудшилось, и в больнице было не до щей. Он умер летом 2003 года. Сохранилась кассета, где Алик читает свои стихи. Обычно в памятные дни принято прослушать такую кассету, и мы попытались это сделать. Это было очень горько и тяжело. Запись, какой бы совершенной она ни была, не воссоздает звучание живого голоса, и это было словно вторые похороны. Но странное дело: когда я вижу стихи Алика напечатанными, то будто слышу его подлинный голос и ощущаю его присутствие. “Человека можно искалечить, - вспоминается. - Его можно убить, но искусство все перетерпит и все победит”.

*Далия КЫЙВ
Вильнюс*

Далия Эпштейнайте-Кыйв более сорока лет активно работает как переводчик с литовского и французского языков. С 1975 по 2006 систематически публиковала свои переводы в литературном журнале “Вильнюс”. С ее подачи на русский язык в литовских и российских издательствах вышли книги Римантаса Будриса, Казиса Боруты, Владаса Даутартаса, Раймондаса Кашаускаса, Шатриеса Раганы, Йонаса Мачюкявичюса, Альфонсаса Беляускаса и др. Составитель и главный редактор альманаха “Еврейский музей” (2001-2005), автор многочисленных статей по еврейской истории и культурологических эссе.

ИННА
РОСТОВЦЕВА

**СЧАСТЛИВ,
КТО
ПОСЕТИЛ
СЕЙ МИР...**

Томас Венцлова - литовский поэт, эссеист, переводчик. С 1977 года живет в США, читает курсы по русской и польской литературе в Йельском университете. В 1995 защитил докторскую диссертацию по теме: "Неустойчивое равновесие: восемь русских поэтических текстов" - разбор стихотворений в манере лотмановской школы, к которой он, по его словам, "довольно близок". Автор многочисленных научных работ. В конце XX столетия в издательстве "Прогресс" вышла книга его публицистики "Свобода и правда", которая сразу же привлекла внимание журнальной и газетной критики, послужив основанием для бесед с этим самым "приключенческим" человеком современной литературы, как он представлен в "Ex libris НГ" (02.02.1999).

Книга же статей о русской литературе "Собеседники на пиру"*; изданная в Вильнюсе в переводе на русский язык, осталась в тени. Отчасти по той причине, что в силу незначительного тиража просто не дошла до Москвы и не попала в руки заинтересованного читателя. Мне повезло: в 1998 году я оказалась в Вильнюсе на Международной конференции "Русская литература в постсоветском пространстве", и преподаватель кафедры славянских литератур доцент Вильнюсского университета Галина Михайлова подарила мне "Собеседников" Томаса Венцловы. Вот я и получила счастливую возможность - хотя с опозданием - высказаться об этом, может быть, сегодня еще более актуальном труде.

Кажется, поэты вняли предупреждению Поля Валери о том, что каждый будет оцениваться по тому, какой "сидел" в нем собственный критик, и один за другим стали показывать нам этого, глубоко запрятанного, "сидельца".

Вслед за томом статей и эссе И. Бродского появилась книга его литовского друга Томаса Венцловы. По-

Инна Ростовцева (Москва) - поэт, критик, переводчица с немецкого, член Союза российских писателей; наш постоянный автор.

* Baltos Lankos, 1997, Printed Lithuania.

эт, эссеист и переводчик, он в чем-то внешне и на свой лад повторил судьбу сотоварища: в 1977 году эмигрировал в США; стал читать курсы лекций по русской литературе в Йельском университете; защитил докторскую диссертацию.

В книгу “Собеседники на пиру” вошли двенадцать статей по русской литературе, ранее печатавшихся в разных научных изданиях на русском и английском языках и практически недоступных широкому читателю.

Тютчевская строка *“Счастлив, кто посетил сей мир// В его минуты роковые!// Его призвали всеблагие// Как собеседника на пир”*, которую поэт избрал камертоном для книги, оказалась в свою очередь скорректирована “сидевшим” в нем ученым. Томас Венцлова делает акцент не на себе, которого призвали “всеблагие”, а на них - своих собеседниках. Толстой, Чехов, Пастернак, Мандельштам, Цветаева, Бродский; менее известные - Вячеслав Иванов, Иннокентий Анненский, Федор Сологуб, и совсем неизвестный - граф Василий Алексеевич Комаровский.

Выигрышная позиция поэта с ее самовыражением и рефлексией, смутными догадками и случайными прозрениями, спонтанностью и атакой стилем уступает здесь место тактике ученого, с ее отстраненностью от объекта, исследованию и наблюдению, научному вопросу “о” - о текстовой омонимии, о мифотворчестве (Вяч. Иванова), о русской мифологической трагедии, о некоторых подтекстах... Точность, сухость, корректность мышления создают особую элегантность стиля. Когда не забывают о таких “мелочах”, как вернуть или напомнить имя первооткрывателя того или иного термина, введенного в научный оборот и незаметно - от частого употребления - утратившего своего “хозяина”. Скажем, “школа гармонической точности” - определение, принадлежащее Лидии Гинзбург, автору книги “О лирике”, - таким образом, кстати, отчетливо становится видно, какие понятия остаются живыми и циркулируют в быстротечном, меняющемся потоке литературной науки. Или вспомнить 27-летней давности “превосходную”, отмеченную еще Надеждой Мандельштам статью Ирины Семенко “Мандельштам - переводчик Петrarки”, мимоходом отметив работу иностранного исследователя Данаты Муредду, в которой, увы, есть заимствования из Семенко, а кроме того, ряд неточностей, в частности, Муредду, по словам автора, “не различает Ольгу Ваксель и Ольгу Арбенину” (это мы уже находим в примечаниях). Или оброненное мимоходом, что “царскосельский круг идей”, которому причастны

русские поэты Серебряного века, что отмечалось в литературной науке многократно, - это формула Н. Гумилева, что отмечается гораздо реже, хотя сам Гумилев всегда сохранял верность этому “кругу”. Или соотнесение высказывания, согласно которому такие поэты, как Гр. В.А. Комаровский, М. Лозинский, Вл. Шилейко, осуществляли “сознательный выбор маргинальной позиции”, что во многом определило их своеобразие, - с именем современного ученого и исследователя Владимира Топорова.*

Окликакая старые и новые, забытые и полузабытые, востребованные и невостребованные формулы, определяя внутренний смысл произведения “игрой и снятием оппозиций”, чертя даже график, показывающий “ритуальную симметричность структуры”, как в случае с трагедиями Вяч. Иванова “Прометей” и “Тантал”, Венцлова пытается упорядочить хаотическое литературное поле, которое, по мысли Блока, сплошь и рядом завалено, как буреломом, разного рода фактами и фактиками, крупными и мелкими. Заслоняющими исторические перспективы.

В пары становятся и произведения, разделенные большим историческим временем и пространством (“Путешествие в страну гуигнгнмов” Свифта и “Холстомер” Толстого), и имена - в пределах одного исторического времени - “Серебряного века” (Вяч. Иванов и М. Цветаева) и одной проблемы: русская мифологическая традиция, Вяч. Иванов и О. Мандельштам - перед лицом общей переводческой задачи (Петрарка), и даже образы: тень и статуя у двух созвучных в демонологии русского символизма авторов - Сологуба и Анненского.

Если опереться на сказанное Венцловой об эссе “Путешествие в Стамбул” Бродского, то можно определить и главное впечатление от его собственной книги - “широта исторического и культурного горизонта, свобода в общении с материалом самых разных времен, зоркость в улавливании и аналогии и структурного сходства между удаленными друг от друга на диахронической оси феноменами”. Добавим к этому оригинальность в выборе незамеченных или пропущенных, или невостребованных в науке проблем, точность сжатой мысли, которой способствует остраивающий взгляд наблюдателя (“из наблюдений над поэтикой”, “о некоторых подтекстах...”, “к вопросу о текстовой омонимии...”).

“Интертекстуальность всего интересней тем, что если сопоставление двух текстов правильно, оно выводит

** Первый лауреат премии Александра Солженицына (1998). Его не стало в декабре 2005 года.*

далеко за их пределы”, - считает автор предисловия Вяч. Вс. Иванов.

Но еще интереснее и значительнее она оказывается, на наш взгляд, в том случае, когда происходит без ранее существовавшей в науке “подсказки”, как, например, имевшее место в понаписанном о Толстом положение о “полусвифтовской форме” применительно к “Холстомеру”. Подсказки, оказавшейся достаточной для того, чтобы развернуть ее в самостоятельное исследование - “К вопросу о текстовой омонимии: “Путешествие в страну гуингнмов” и “Холстомер”, - выявившее отличие глубинной структуры Толстого от глубинной структуры Свифта. “У Свифта отвратительная биологическая жизнь непримиримо враждебна жестокому разуму; у Толстого жизнь, где плоть и разум примирены и не скованы цепями ложных знаков, не только мыслима, но и необходима. Свифт неизбежно драматичен, как Аристофан, как Еврипид; Толстой победительно эпичен, как Гомер”.

К такого рода новому сопоставлению, без подсказки ранее, на которое исследователь набрел совершенно самостоятельно и которое можно числить его собственным открытием, следует отнести статью “О Чехове как представителе “реального искусства”.

Одно дело, когда интертекстуальность прослеживается и осуществляется в пределах одного Серебряного века и одного символистского стиля (И. Анненский и Ф. Сологуб), русской мифологической трагедии (Вяч. Иванов и М. Цветаева); другое дело, когда предпринимается попытка показать родство реалиста Чехова и поэтов модерна - обериутов. Такого рода попытка совершенно с неожиданной стороны напоминает нам о том, что Чехов не только законченный представитель века XIX-го, но он “зашел” и в век XX-ый, физически прожив в нем всего четыре года, но духовно успев ощутить пряный вкус его и ошеломительную новизну. Уже эпиграф к статье из монолога Нины Заречной в “Чайке”: *“Люди, львы, орлы и куропатки...”*, и - как продолжение - слова обериута Александра Введенского: *“медведи волки тигры звери// еноты бабушки и двери”* (“На смерть теософки”) заставляют вздрогнуть: неожиданность сходства - словно проиграна знакомая музыкальная фраза, взятая в одной тональности. Она как ключ к самой возможности сопоставления. Но есть и другое. Можно вспомнить отзыв Бунина из его воспоминаний о Чехове: “Какой тонкий поэт”. Реалист в Чехове долгое время заслонял от исследователей поэта в Чехове, и более того - *символистскую природу его поэтики...*

Объективная возможность аналогии кроется и в особенностях творчества раннего Чехова-юмориста, “Антоши Чехонте”, - таких его произведений, как анекдоты, сценки, пародии, объявления, календари, подписи к картинкам и т.д. В них, по точному наблюдению Венцловы, отрабатывались и опробовались многие приемы - паралогизм, введение “нулевой информации”, стык разных семантических рядов и т.д., позднее вошедшие в самое нутро так называемой поэтики абсурда.

В сочинениях Чехова попадают целые фразы, которые своим отчаянным тупоумием, скрытым за видимой логичностью, почти совпадают с размышлениями персонажей Хармса и Введенского. Так, фраза типа “трехэтажный дворник ищет место гувернантки” (“Перепутанные объявления”), кажется, пришла к Чехову из поэзии... Введенского, а не наоборот - ведь, как замечает Венцлова, игровой абсурдизм Антоши Чехонте следует считать частью той почвы, из которой проросло зерно “реального искусства”.

Убедителен с этой точки зрения анализ чеховского рассказа “Сапоги в смятку” (само его название бессмыслица), где сходство с творчеством обериутов просматривается Венцловой не только на уровне отдельных приемов, но и в более широком смысле - на уровне структуры и функции. “Сапоги в смятку”, написанные в 1886 году, типичный образец домашней, альбомной литературы, они вырастают из игровой атмосферы; характерна сама маска героя Архипа Индейкина, с одной стороны, восходящая к классическим маскам Козьмы Пруtkова, с другой, предвосхищающая обериутские маски. Походя Венцлова намечает ряд интереснейших тем для специальных исследований - имена героев у раннего Чехова и у обериутов; марионеточные персонажи; нарочитые нарушения синтаксиса (“Брючкины жили богато; у них в конюшне была лошадь, которая быстро бегающая” - сравним с “Елкой у Ивановых” Введенского, а также интертекстуальную связь “Елки” с рассказом Чехова “Спать хочется”).

“Чехов в “Сапогах в смятку”, - пишет Венцлова, - делает, в сущности, то же, что и во многих своих зрелых произведениях - деконструирует механизмы быта, языка и мышления, дискредитирует авторитетную идеологическую речь, навязанные смыслы, устойчивые схемы бытия. Параллель с творчеством обериутов здесь очевидна. И в одном, и в другом случае мы имеем дело с реализмом, доведенным до предела и отрицающим самого себя...”

Заканчивая разговор “О Чехове” как представителе “реального искусства”, автор книги прямо подводит нас к тому определению чеховского реализма, которое дал Андрей Белый в очерке “А.П. Чехов”: “сначала он (Чехов - И.Р.) разлагает действительность на отдельные атомы, потом совершает незаметную перегруппировку этих атомов и складывает из них образ, неотличимый от образа действительности, но говорящий нам о чем-то ином, чего не сознают ни сам Чехов, ни его герои”. По мысли Андрея Белого, Чехов сам не знал, во что превратится его реализм, к какой точке привел он реализм русской литературы. Белый считал, что это - “опрозраченный реализм, непроизвольно сросшийся с символизмом”; “в нем Тургенев и Толстой соприкасаются с Метерлинком и Гамсуном”.

Сам того не ведая, но своими замечаниями о “совершенно обратной форме последних произведений Чехова”, о том, что “она - условна”, что “образы чеховского реализма, извне стилизованные и изнутри соприкоснувшиеся с символизмом”, Белый как бы наметил новые линии для дальнейшего сопоставления Чехова с русской поэзией XX века. “Чехов и обериуты” - только начальная глава, блистательно выполненная Венцловой, этого большого и увлекательного исследования.

“В спокойных пригородах снег сгребают дворники лопатами” (1913) - это еще чеховская Россия у Мандельштама, чеховский пейзаж, с трактирами, где “самоваров розы алые горят”, с чеховским ощущением вещи и времени: “От вторника и до субботы одна пустыня пролегла”. “Есть книга чудная, где с каждой страницей галлюцинации таинственно слиты”, - кажется, это сказано о “Черном монахе” Чехова, а его финал проигран в музыке следующих Мандельштамовских строк: “Смычка заслушавшись тоскливо, волна горит, а луч померк, - и в тени душевные залива вот-вот ворвется фейерверк” (“Villa nazionale”).

Чехов присутствует в художественном сознании Иннокентия Анненского - в его “радуге конченных мук” - там, где красота страдания, жизни и смерти живут на грани символа, в котором есть теплота сплывающей тайны. В тексте зрелого Чехова, где “Чехов созерцает распад” (Ходасевич), скажем, так: “Листья кленов выделялись на желтом песке аллея, кругом было далеко видно белое и черное, деревья склоняли свои ветви над белым...” (“Ионыч”) - уже таится вопрошание недосказанности, которое задает и переводит на язык символа И. Анненский: “Зачем у ночи вырвал луч, засыпав блеском, ветку клена?” (“Электрический свет в аллее”).

Тот факт, что сразу же за Чеховым Томас Венцлова “захватывает” для исследования эпоху и пространство русского символизма с его восходящими и кризисными явлениями и берет себе в “собеседники” И. Анненского и Ф. Сологуба, созвучных символизму и друг другу (статья “Тень и статуя”), говорит о том, что автор книги идет не тривиальным путем “столбовой дороги” XX века, а точно угадывает и описывает те содержательные “пустоты”, которые очень долго лишали картину литературы XX века ее “цветущей сложности”.

Фигура поэта графа Василия Комаровского (1881-1914), “примерного царскосела и великого лицеиста”, друга Н. Гумилева, члена Цеха поэтов, автора единственного прижизненного сборника стихов “Первая пристань” (1913) и неизданной большей частью прозы, выбрана как нельзя более удачно - она лучше всего среди поэтов начала века выпадает из своего времени и не может быть причислена ни к “чистым символистам”, ни к “чистым акмеистам”.

Склонный к упорядочению явлений искусства, Венцлова считает, что поэтика Комаровского, как и родственная ему, но во многом и противопоставленная Иннокентия Анненского, является неким переходным феноменом на стыке двух школ или даже “третьим путем”, не получившим в случае Комаровского продолжения (к этому же “третьему пути” могут быть отнесены и некоторые иные имена, например, Михаил Лозинский и в особенности Владимир Шилейко, осуществлявшие “сознательный выбор маргинальной позиции”). Дмитрий Святополк-Мирский, автор воспоминаний “Памяти гр. В.А. Комаровского” (1924), так же задумываясь о месте поэта в истории русской литературы (это волновало и тогда его современников: “Помню, Комаровский мне рассказывал, как Гумилев приставал к нему: “Да к чьей же, наконец, школе вы принадлежите, к моей или Бунина? К школе Анненского, мог бы ответить Комаровский, если ответить было бы делом жизни и смерти”), предлагает иной - не научный, но широкий и человечный взгляд на оригинального автора, которому современники “не простят его оригинальности”. Он пишет: “Комаровский не был гением, и его “оригинальность” не была из таких, которые будут со временем оценены и станут пищей общечеловеческой. Она была эксцентрична, необъяснима и для человечества не нужна. В творческом потоке развития он был странным завитком в сторону, никуда не ведущим. Но именно такая оригинальность, совершенно бескорыстная с эволюционной точки зрения, и есть утверждение абсо-

лютной свободы, проявление какой-то божественной игры, избытка сил “творческой эволюции”.

Проведенный Венцловой тонкий и скрупулезный анализ “показательного” для Комаровского стихотворения “В Царском Селе” (1912), обнаруживший отсылку к царскосельским мифологемам, разработанным Пушкиным, и к собственным произведениям (автоцитаты, циклический повтор и т.д.), подводит автора книги к важному для него выводу: “Стихи Комаровского - постоянная игра различных смысловых планов - “своего” и “не своего”. Они находятся на пересечении подражания, *pastiche*, пародии и палимпсеста: трансформация “не своего” текста здесь может оказаться и прямым повторением, глубинным совпадением с ним, воскрешением его, интерпретируемым в терминах экзистенциального и метафорического опыта”. Отсюда, оказывается, рукой подать до осторожного заключения о том, что творчество Комаровского, выпавшего из своей эпохи и ставшего “крайним новатором”, можно, пожалуй, “назвать отдаленным предвестником постмодернизма”.

Но, сознаемся, что-то мешает признать в этом случае безоговорочной такую жестковатую формулу и классификацию, даже имея в виду ее научную направленность. Возможно, в этом виноваты отдельные строки из других, не показательных стихов Комаровского, приводимые в статье и поражающие какой-то особой классически-бунинской и анненской (не так уж был и далек от истины Гумилев) красотой, особенно в эпитете: “Дорогой северной и яркой”; “В телесной белизне коралловых цветов// Мне плоть мерещится изрубленных бойцов”; “Тоска ветров и мокрый плен аллеи”; “То летний жар, то солнца глаз пурпурный” - и приводимые Святополком-Мирским в уже упомянутых воспоминаниях последние стихи поэта, оставшиеся в черной тетради, написанные накануне Первой мировой войны:

Июль был яростный и пыльно-бирюзовый,
Сегодня целый день я слышу из окна
Дождя осеннего пленительные зовы;
Сегодня целый день и запахи земли
Волнуют душу мне томительно и сладко,
И, если дни мои еще вчера текли
В однообразии порядка...

Возможно, от постмодернистской “принадлежности”, даже отдаленной, поэта спасает трагизм его личной биографии и судьбы, где все всерьез. Ведь “игры” Комаровского разыгрывались над бездной, не так для

стиха, а буквально - “над вечной, ежедневной возможностью сумасшествия” (Д. Святополк-Мирский). Он и умер сумасшедшим, как Батюшков, не смешав искусство с хаосом подсознательных предчувствий. Стихи его, как и стоящая особняком проза, сохраняя привкус эпохи, еще ждут переиздания, изучения, внимательного отношения и бережения от излишнего осовременивания и прокрустова ложа научных концепций... Мы еще не успели насладиться ими так, как они того заслуживают, а наука уже спешит забрать их в мир жестких регламентаций и предписаний... Нет ли здесь противостояния между Венцловой-ученым и Венцловой-поэтом?

Что же тогда приходится на долю поэта в этой книге, вобравшей лучшие достижения русской и западной школ и выполненной, воспользуемся словами автора применительно к произведениям любимого им Вяч. Иванова, “на том уровне научной строгости, который был доступен в его эпоху”? В чем Томас Венцлова-поэт обогащает, дополняет, корректирует Венцлову-ученого, критика? Можно поставить вопрос по-другому: почему Томасу Венцлове так импонирует Вячеслав Иванов? Пять статей в композиции книги - вся ее середина, костяк - посвящена ему. Только ли потому, что на примере его творчества он исследует кризис русского символизма, мифотворчество, поведение русской мифологической традиции (трагедии), взяв за основу (и в качестве эпиграфа) собственное признание поэта: “Мне кажется, что никто из моих современников так не живет чувством мифа, как я. Вот в чем моя сила, вот в чем я человек нового, начинающегося периода” (из беседы Вячеслава Иванова с Моисеем Альтманом 20 декабря 1921 года). Вероятно, еще и потому, что этот ивановский тип поэта, где художественная интуиция корректируется взглядом филолога и философа, продолжая оставаться для него остро современным и притягательным и для “новейшего периода” конца XX века, зеркально отражает композицию, нерв его собственной книги. “Методику Иванова, - пишет Венцлова, - можно назвать исследованиями мифа средствами искусства. Трагедия Иванова, возрождая древний миф, одновременно является как бы его научным описанием. Статьи-комментарии к трагедиям тем более осуществляют это единство научного описания и поэтического произведения. Описание мифа Ивановым находится вполне на уровне научных теорий и представлений его времени. Более того, он порою предугадывает и более поздние способы описания мифа, вплоть до структуралистских” (стр. 153).

Но, вероятно, эти точные постулаты так бы и оста-

лись на уровне сугубо научных истин, если бы не были уравновешены сугубо живым, современным критическим прочтением автором книги смысла образов ивановских трагедий: “Тантал трагичен не умением обрести, он растрчивает себя и приходит к состоянию смерти в бессмертии, к адской муке, из которой нет выхода к жизни” (стр. 145). Прометей же “не полон хотя бы потому, что от него отделена Пандора, его женское начало (Дионис андрогинен), он заковывает Пандору и потому сам оказывается з а к о в а н н ы м (разрядка наша - *И.Р.*); сотворив людей, он вместе с ними оказывается в состоянии несвободы в свободе, в некоей дурной бесконечности, где царят Кратос и Бия - власть и сила” (стр. 145).

Кто скажет, что это написано о мертвых, мифических, а не о живых героях и характерах, несущих - каждый по своему поучительно - энергию заблуждения. Но в этом уже заслуга Томаса Венцловы, а не только Вяч. Иванова, воспринимавшего миф извне.

Если Вяч. Иванов, воспринимающий миф извне и исследующий его научным или пара-научным образом, “звучит” в книге столь современно, то Цветаева, живущая в самой стихии мифа, повторяющая его “всем текстом своего творчества и жизни”, как бы вовсе не нуждается в добавочных усилителях современного имиджа. Венцлова, видя различия обоих поэтов, не отдает предпочтения тому или иному подходу к мифу, считая их “равновозможными” в культуре XX века.

Хотя в статье о другой паре: Вяч. Иванов - О. Мандельштам (они рассматриваются в книге как переводчики Петрарки, на примере сонета ССС XI), также подчеркивая различие двух поэтик - поэтики узнавания и поэтики новизны, смятения, экспрессии, Венцлова роняет характерное замечание: “Сегодня многие, если не все, предпочитают вторую поэтику”. И это замечание мимоходом, обмолвка поэта, остро чувствующего, где проходит нерв современного искусства, не остается просто обмолвкой. Слова Мандельштама “Я думаю, что страна и народ уже оправдали себя, если они создали хоть одного совершенно свободного человека”, становятся последним аргументом в споре с концепцией Бродского в его эссе “Путешествие в Стамбул” и последней точкой, завершающей книгу статей не только о русской поэзии и поэтах, но и о произведениях искусства, которые, если они подлинные, - “всегда только чудо”...

Неудивительно, что статьями о Пастернаке и Бродском, сохраняющих статус современного искусства, заканчивается книга. Удивительнее другое: и в этих ра-

ботах, особенно в статье о Бродском, с которым автора связывала личная дружба, сохраняется масштаб сопоставлений произведений, присущий всей книге в целом. Неслучайно с сочувствием приводятся слова Бродского о том, что поэзия, выражая глубинную сущность человека как вида, “основана на сходстве”. В то же время наше внимание обращается на то, что “новый текст, если он эстетически отмечен, нацелен на то, чтобы констатировать в используемом им литературном материале повторяемость и прервать ее” (Игорь Смирнов).

Топос “пира”, относящийся к наиболее глубинным и устойчивым в мировой и русской литературе, исследуется Венцловой на примере раннего произведения Пастернака “Пиры” (1928), обычно редко привлекаемого для анализа.

Пью горечь тубероз, небес осенних горечь.

Венцлова обнаруживает в пастернаковских образах, таких, казалось бы, современных, отмеченных печатью новой поэтики, не прозрачных, темных, глубокие корни, связующие материю его стиха с опытом русского Золотого и Серебряного века, и делает это с таким врожденным чувством поэтического вкуса, который редко кому удается в подобного рода исследованиях. Только поэт мог заметить и нам показать самую запоминающуюся строку Пастернаковского стихотворения “*В сахарнице, как мышь, копается анапест*”: “она поражает свежестью: другого такого олицетворения стихотворной формы, возможно, нет в русской поэзии”. Однако секрет воздействия строки, по мысли Венцловой, еще и в том, что мотив мыши отличается семантической архаичностью и глубиной. По всей видимости, здесь присутствует еще пушкинский подтекст - “мышь” соотносится с пушкинской строкой “*жизни мышья беготня*” и популярной, возможно, известной Пастернаку, статьей М. Волошина “Аполлон и мышь” (1911).

Венцлова показывает - и читатель присутствует при этом открытии, - что “Пиры” насквозь пропитаны ассоциациями с классической русской поэзией; пастернаковский текст устанавливает даже квазидialog между “Пиром во время чумы” Пушкина и тютчевским стихотворением “*Mal’agia*”; что он, оказывается, может иметь еще один тютчевский подтекст - “*Кончен пир, умолкли хоры...*”

Воистину, новый текст, если он эстетически отмечен, как пастернаковский, “нацелен на то, чтобы констатировать в используемом им литературном материале повторяемость и прервать ее” (И. Смирнов).

...Следя за исследовательской мыслью Венцловой,

вдруг начинаешь понимать, сколь многомерно, символично и оправданно название книги. Как органически точно автор сумел связать единичный фрагмент (те же некоторые подтексты “Пиров” Пастернака) с общей целостной концепцией книги и включиться в диалог проникновения в знаковый мир собеседника, подобие тому как любимый Вячеслав Иванов бережным включением в свою речь элементов чужой речи стремился преодолеть, по его собственному выражению, “основную ложь нашей расчлененной и разбросанной культурной эпохи, бессильной поразить соборное сознание”, где соборность оказывается противовесом духовной энтропии и отчужденности (стр. 110).

Эта концепция собеседования и собеседников, призывания и призванных связует и читателя с возможностью побывать на пиру поэтической мысли...

Такая согласованность, завершенность, артистизм - обычно привилегия художественного произведения и “художественного” автора, и то, что она случилась в строгом научном исследовании, лишь придает книге Венцловы дополнительный блеск и обаяние.



НЕТ ПРИРОДНОГО РУБЕЖА



Для меня, литовца, Калининградская область - не просто соседняя земля, но и сложный психологический комплекс.

Между областью и Литвой нет явного природного рубежа - разве что неширокий Неман, и то лишь на севере. До гитлеровских времен по обе стороны границы можно было услышать тот же язык и те же песни: литовцы, хотя и в небольшом количестве, жили вокруг Тильзита или Гумбиннена (теперешних Советска и Гусева). Все же рубеж был и остался очень ощутимым.

До войны, переехав границу, путешественник из Литвы попадал в мир более высокой цивилизации: каменные дома вместо деревянных, куда более ухоженные поля, уютные европейские городки вместо убогих порою деревень и местечек, асфальтированные дороги вместо грунтовых.

Сейчас разница тоже заметна, но уже в пользу Литвы.

От военных разрушений пострадала и Литва. Пожалуй, не меньше она пострадала от послевоенных сталинских репрессий. Но большинство людей в Литве все же остались на прежних местах и, невзирая ни на что, чувствовали себя похозяйски. Калининградскую область заполнили переселенцы, среди которых поначалу господствовала ненависть ко

Из очерка Татьяны Ясинской "Нарушитель мифов" ("Вышгород" 2-3, 2006): "...литовский поэт, переводчик, ученый-семиотик, профессор ряда американских университетов, литературовед и эссеист Томас Венцлова в самом полном смысле - человек мира. Преподает в одном из самых престижных университетов США - Йеле; пишет на четырех, а публикуется на многих языках; живет между Нью-Хейвенем, Вильнюсом и Краковом..." Первая публикация у нас - интервью Т.Я. "Наш семейный жанр" ("Вышгород" 5,98). В 2006-2007 печатали его стихи в переводах Виктора Куллэ и Константина Русанова. Надеемся и на обещанные нам его мемуары об учебе в Тарту и о Ю.М. Лотмане.

всему здесь прежде бывшему, немецкому. После тяжелой войны она была понятна, но ее подогревали и власти. Позднее ненависть поблекла, но остались чувство неукорененности и равнодушие.

Это было свойственно едва ли не всей России - сталинский и послесталинский режимы сорвали в ней с мест миллионы людей, искалечили их судьбы, невзирая на все патристические заклинания, искажали и замалчивали прошлое. Но Калининградская область даже на этом фоне была исключительным случаем. Здесь исчезли все старые названия мест. После войны существовали, пускай порою в плачевном состоянии, многие здешние замки, храмы, дворцы, городские ландшафты - почти все это было бессмысленно разрушено или доведено до ручки многолетней бесхозяйственностью.

Часть Восточной Пруссии, как известно, отошла к Польше, другая часть (Клайпедский край) - к Литве. Эти части пострадали от войны нисколько не меньше, но разница между ними и Калининградской областью сейчас очевидна. Увы, с каждым годом все заметнее, что эта земля стала аномалией.

Я часто приезжал в Калининград в юности. Даже служил один месяц в черняховских казармах в звании младшего сержанта. К службе в Советской Армии я относился вполне скептически - это была армия тоталитарного, чужого для меня государства. Недавно я стал опять пересекать границу Калининградской области - то с Польшей, то с Литвой. Пересечения эти очень памятные. Поезд Калининград-Гданьск напомнил мне поезда, описанные в романах о Гражданской войне. В автобусе Советск-Таураге я даже занялся контрабандой. Некая девушка-литовка раздала пассажирам десяток бутылок водки, а на литовской стороне опять собрала их в свою сумку: одну бутылку на время приютил и я - что ж, дело житейское.

Но все это не столь существенно и со временем, видимо, сойдет на нет. Существеннее другое: земля эта уже не та, которую я помню с юности. В ней есть и развалины, и одичавшие поля, и - что, может быть, хуже - бездарные стандартные здания или чудовищный Дом Советов на месте Кёнигсбергского замка, руины которого я некогда видел. Но заметно, что здешние люди начали ощущать связь с Европой. Собственно говоря, они туда стремятся, как это происходит и в Литве. Некоторые уже не отрезаны наглухо и от истории края. Это освоение прошлого также есть часть стремления к Европе.

Как это ни трудно, вряд ли можно сомневаться, что возвращение в Европу произойдет. Здесь, пожалуй, не столь важны юридические моменты: важно, чтобы земля бывшего Кёнигсберга перестала быть аномалией на фоне своих со-

седей и тем более на фоне преуспевающих стран. Для Литвы, тем более для самого Калининграда, сейчас это едва ли не самый значительный вопрос. И поэтому стоит спокойно, без излишней риторики и подозрительности разобраться в наших отношениях.

“Русская часть” в истории Калининградской области невелика: она исчисляется с 1945 года (если не считать эпизода в восемнадцатом веке). “Литовская часть”, напротив, заметна, хотя юридически литовскому государству эти земли никогда не принадлежали. Прошлое Литвы и прошлое Кёнигсберга связаны такими крепкими нитями, что разорвать их немислимо.

Многие в Калининграде, видимо, подозревают Литву в территориальных претензиях. Дескать, именно поэтому литовцы пытаются здесь раздуть свое незначительное присутствие и подчеркивать свои следы, чему необходимо препятствовать. Правительство Литвы много раз заявляло, что территориальных притязаний к соседям не имеет. Но в Литве на самом деле есть круги - скорее даже отдельные люди, - которые своими словами и действиями могут усиливать иное мнение.

Литовцы часто называют Калининградскую область (и примыкающий к ней Клайпедский край) Малой Литвой. Это название не выдуманно современными националистами: оно известно, по крайней мере, с шестнадцатого века. Тысячу лет назад вся эта земля была заселена балтскими племенами. На западе это были пруссы, которые позднее смешались с пришельцами из Германии и сами превратились в немцев. К востоку и северу, начиная примерно с теперешнего Полесска и Черняховска, земли пруссов, видимо, плавно переходили в земли, населенные близкими родственниками пруссов - литовцами. Прусский язык (остались три на нем изданные книги) примерно так же сходен с литовским, как польский и даже украинский с русским.

Ни литовцы, ни пруссы не были славянами. Правда, балтские и славянские языки родственны, но это все же две разные языковые группы. После войны во многих изданиях утверждали, что Калининградская область - исконно славянская земля. Почему это делали - понятно: переселенцам пытались внушить, что эти места для них не чужие. Однако литовцы не без основания считали и продолжают считать это обидой. Путаница в этом, даже если она возникает без злого умысла, воспринимается ими как империализм. Сейчас, насколько я знаю, миф о славянском прошлом области сходит на нет. Но некоторым литовским деятелям удобно об этом мифе сталинских времен постоянно напоминать - чтобы не исчезла обида и страх перед “злостным русским империализмом”.

Пруссy долго и всерьез воевали с германскими рыцарями. Литва воспринимает эту прусскую войну как часть своей истории, тем более что после крушения пруссов ей пришлось самой воевать с Тевтонским орденом без малого двести лет. В советское время была написана и поставлена пьеса о прусском восстании Мантаса, по ней был сделан очень популярный фильм. След пруссов остался в географических названиях (увы, сейчас это уже не так), в городищах, а в одном месте даже в архитектуре. Калининградские друзья недавно свозили меня в село Романово (по-пруссски Пабетай): там стоят руины кирхи - единственной, о которой известно, что в ней молились на прусском языке. Настоятель этой кирхи издал самую обширную из трех сохранившихся прусских книг. Было бы прекрасным жестом, если бы ее восстановили (может быть, с помощью Литвы) и устроили в селе музей погибшего народа.

Литовцы в отличие от пруссов держались в восточной половине области много дольше. В шестнадцатом веке они, как и все здешние жители, перешли из католичества в лютеранство, а лютеране стремились проповедовать религию на местных языках. Поэтому именно в Кёнигсберге были напечатаны первая литовская книга, первый букварь, первый перевод Библии. На этих же землях появились первая литовская грамматика, первые стихи, первая книга басен, первая газета, первые научные труды, первый сборник фольклора. Именно в Кёнигсбергском университете была основана первая в мире кафедра литовского языка. В селе Тольмингкемен (по-литовски Тольминкемис, ныне Чистые Пруды) жил современник Державина, поэт Донелайтис - первый литовский автор, который обрел европейскую известность. Я помню времена, когда кирха, в которой он служил, находилась ничуть не в лучшем состоянии, чем кирха в Романове. Однако еще при советской власти ее отстроили - она и сейчас украшает село.

На основе диалекта Донелайтиса возник литовский литературный язык. Когда царские власти запретили печать на литовском языке, она была организована на германской территории. Первая литовская освободительная газета "Аушра" издавалась в Рагните и Тильзите. Дата основания "Аушры", 1883 год, обычно считается датой рождения современного литовского народа.

Забыть обо всем этом народ не может, да и не должен. Совершенно таким же образом русские никогда не забудут об Украине летописца Нестора, Гоголя и Михаила Булгакова. Из этого еще не следует, что Украина должна быть присоединена к России, а Калининградская область - к Литве.

Систематическое германизирование привело к тому, что в начале двадцатого столетия литовцы стали в Восточной

Пруссии не слишком заметным меньшинством. Правда, сохранились остатки языка и фольклора. В Тильзите жил литовский писатель Видунас. Фигура это была своеобразная - его можно сопоставить с Николаем Рерихом. У Видунаса в Литве много поклонников и последователей, и я рад, что его дом в Советске сейчас отмечен мемориальной доской.

Были литовцы, которые во время Первой мировой войны и после нее мечтали о присоединении восточно-прусских земель к новому (возникшему в 1918 году) литовскому государству. Кончилось это тем, что к Литве отошел Клайпедский край. Но южнее Немана восстановление прежних литовских корней было уже нереально. Эти корни окончательно подрубил Гитлер. Надо сказать, что не один местный литовец - и к югу от Немана, и в Клайпедском крае - оказался на стороне нацистов и к Литве добрых чувств не испытывал. Были и другие, но вряд ли они были в большинстве.

Пожалуй, в конце Второй мировой войны на территории нынешней Калининградской области оставалось процента три населения, которое можно было считать литовцами. Многие из них погибли при занятии области советскими войсками, другие ушли или были выселены вместе с немцами.

Здесь я коснусь одного острого вопроса. Известно, что Сталин, мягко говоря, смотрел сквозь пальцы на дурное обращение советских войск с мирными германскими жителями. "Законная месть" не просто допускалась, но и возводилась в принцип. Было совершено немало преступлений. Есть литовцы, которые, основываясь на этих фактах (и на старых материалах немецкой пропаганды), говорят и пишут о геноциде немецкого и литовского народов в Восточной Пруссии. Преступления замалчивать нельзя, кем бы они ни творились. Но мне претит, когда память о них используется для пропагандистских игр - опять же, кем бы это ни делалось.

Некоторые восточно-прусские литовцы, оказавшиеся на Западе, продолжают настаивать на том, что Калининградская область есть исконно литовская территория. Об этом писались и пишутся акты, обращения и протесты. Сейчас это маргинальная деятельность, вряд ли имеющая политическое значение (хотя ее и поддерживают определенные круги в Литве). Более осмысленная работа - издание книг, фиксирующих литовское и вообще балтское прошлое края.

Кстати говоря, в советское время существовали проекты объединения Калининграда с Литвой. Утверждают, что Сталин предлагал литовскому советскому правительству Калининград в 1944-1946, а Хрущев - в 1958-1959 (Антанас Снечкус, литовский генсек, якобы два раза отказался). Эти утверждения, в общем, легендарны. Однако совсем недавно

обнаружены архивные материалы 1961 года, которые доказывают, что советская Литва действительно создавала план присоединения теперешних Советска, Немана и Славска, а также всего Куршского залива и косы - по образцу того, как к Украине был присоединен Крым. Москва этот план не одобрила.

Интереснее то, что литовцы в Калининградской области все же сохранились как национальное меньшинство и почти в тех же масштабах, как до войны. Говорят, осталось даже несколько довоенных семейств. Прочие - переселенцы, как и русские. В последние годы их деятельность оживилась - в определенной мере возрождается положение, имевшее место в донацистские времена. Это не только соответствует демократическим стандартам, но и придает больший интерес и разнообразие краю, а в будущем может послужить и его процветанию.

У Литвы нет и не должно быть территориальных притязаний к России и Калининграду, однако в судьбе этого края мы заинтересованы. Нам важно, чтобы он развивался свободно, разумно и успешно, становясь частью Европы не только географически, но и по существу. В случае Калининграда можно говорить об экономическом интересе Литвы, об экологическом интересе (Куршская коса и залив, разумеется, наше общее дело), но прежде всего об интересе культурно-историческом.

Определяя судьбу этой области, Сталин не справлялся о мнении окружающих народов, в том числе и русского. Его интересовало прежде всего стратегическое положение края. Союзники согласились отдать область России как компенсацию за потери во Второй мировой войне, и можно сказать, что это отчасти справедливо - конечно, если вообще принимать принцип территориальных компенсаций. По сегодняшним нормам - и вообще по человеческим нормам - выселение прежних жителей области, тем более сталинскими методами, было недопустимой практикой. Однако, что произошло, то произошло, и лечить это прежними методами нельзя.

Этнографические карты древних веков, которыми любят оперировать литовские ученые и некоторые политики, стали чисто историческим документом. К реальности двадцать первого века они не имеют отношения. Более того, они не имели отношения к реальности уже во времена Первой мировой войны. Можно - и даже надлежит - чувствовать моральное негодование по поводу уничтожения древних жителей края, но область морали и область политических решений не совпадают.

О Литве в теперешней Европе будут судить по ее зрелости, а не амбициозности. Также и с Россией будут считаться

не потому, что она сильна и грозна, замкнута и строго централизована: будут считаться только в том случае, если она займет конструктивную позицию. Российская империя - будь она царской, сталинской или какой-либо иной, - дело прошлого. Я не берусь судить, как отразится демократическое развитие России на дальнейшей судьбе Калининградской области, но я твердо знаю, что решающее слово будет - и должно - принадлежать живущим здесь людям. Знаю и то, что границы в мире должны постепенно терять значение - не дай Бог их вновь укреплять и закрывать на замок.

В бывшей Восточной Пруссии произошло много печального. Но сердиться на историю - примерно то же самое, что сердиться на земное тяготение. Лучше историю преодолевать (так люди преодолели тяготение, создав летательные аппараты). Каждому литовцу важно, чтобы сохранялось культурное наследие так называемой Малой Литвы. В деле его сохранения можно сделать много больше - было бы желание. Говорят, что этого желания у калининградцев нет. Возможно, литовцы часто принимают за злой умысел обычную бюрократическую неразбериху и бездеятельность. Но многое смягчилось бы, если бы мы полностью "открыли тему" - почаще вместе откровенно и цивилизованно говорили обо всех проблемах и обидах.

Взять хотя бы вопрос традиционных географических названий. Я решительно не понимаю, почему великий европейский город Кёнигсберг должен называться именем деятеля, заслуги которого весьма сомнительны. Почему Тильзит, известный в мировой истории, должен напоминать своим теперешним именем о системе, которая вряд ли принесла русскому народу много хорошего? Понятно желание увековечить погибших воинов, но есть много достойных способов хранить память о Багратионе, Черняховском или Гусеве, кроме переименования городов. Однако я знаю, что и здесь решение должно принадлежать самим жителям края.

Все же больше меня занимает другое. Я думаю о людях - например, о девушке-контрабандистке, курсирующей между Советском и Таураге, о парнях в калининградском баре, о школьнике, которому довелось расти где-нибудь в Чистых Прудах или Романове. Мне хочется, чтобы они жили более зажиточно, спокойно, а прежде всего, более осмысленно. Хочется, чтобы они лучше понимали, где живут, и захотели улучшать места, с которыми связана их судьба.

**ВИТАУТАС В.
ЛАНДСБЕРГИС**

**СКАЗКА
О КОРОЛЕ
КАРОЛЕ**



В африканском королевстве Бимбабве жил-был король по имени Кароль. И была у этого короля одна странная странность - он был невероятно трудолюбив. Хотя у Кароля было множество слуг, он им не разрешал работать - делал всё сам.

Вставал Кароль в шесть часов утра с первыми страусами, потом шел в свои многочисленные загоны, откуда выгребал навоз за слонами и бегемотами, грузил его на повозки, запряженные быстроногими жирафами, и вывозил удобрение на банановые и всякие разные манговые плантации.

Сказать по правде, слуги короля Кароля тоже были очень работающими бимбабвийцами и часто просились помочь своему королю Каролю вывезти страусиный навоз, но король категорически запрещал им это делать, оттого что очень любил своих слуг и не желал, чтобы те перетруждались: он хотел их видеть весёлыми и беспечными... И если король заставлял кого-нибудь из слуг за работой на банановой плантации, он тут же запирает его в какой-нибудь китайский ресторан, или приковывал наручниками к игровому компьютеру, или насильно отводил его в один из кинотеатров Бимбабве, где заставлял смотреть разные страшные боевики про всяких рембо, терминаторов и прочих монстров.

Витаутас В. Ландсбергис - поэт, прозаик, драматург. Родился 25.05.1962 в Вильнюсе. Окончил факультет литовской филологии Вильнюсского университета, учился кинорежиссуре в Тбилисском театральном институте им. Шота Руставели, стажировался у Йонаса Мекаса в Нью-Йорке ("Anthology Film Archives"), затем в Польше - у К. Кеслёвского и К. Занусси. Выпустил три книги стихов, пять сборников сказок для детей. Автор четырех пьес, три из которых сам поставил в нескольких литовских театрах. В 1993 "Истории о Буруносике" признаны лучшей детской книгой года. В.В. Ландсбергис основал кино- и видеостудию "A PROPOS", на которой создаются документальные и игровые фильмы. За пятнадцать лет работы в кинематографе В.В. Ландсбергис поставил восемнадцать документальных и два игровых фильма. С 2005 - член Союза писателей Литвы.

Бимбабвийцы лили слёзы и всё это терпели, но сделать ничего не могли. Многие из них смирились с таким положением и не совали нос на банановую плантацию. Сидели тогда грустные бимбабвийцы на берегу Нила, окунув носы в реку, и от нечего делать сочиняли разные небылицы. Чаще всего они играли в одну такую старинную бимбабвийскую игру - крокодилью дразнилку. Правила этой игры очень просты: в реку Нил погружается кончик носа, и когда какой-нибудь изголодавшийся крокодил пытается за него ухватиться, бимбабвиец тут же сморкается... Это, мягко говоря, неприличие очень злит крокодила, и он уплывает прочь. Зато бимбабвийцам весело и приятно.

Единственным неудобством этой игры было то, что у игрока обязательно должен быть насморк, иначе не напугаешь крокодила. А в Африке, как известно, заполучить насморк не так-то просто, поскольку там жарко, как в сауне...

Поэтому бимбабвийцы пускались на всякие хитрости. Излюбленный способ заполучить насморк был - пойти на манговые плантации убирать навоз и там орать во всю глотку какую-нибудь песню, чтоб король Кароль поскорее заметил. Король Кароль, естественно, в срочном порядке хватал такого бимбабвийца и запирал в китайском ресторане. А в китайском ресторане можно было отведать очень холодного китайского мороженого *ан-чхи-чау* с самого-пресамого севера Китая. Бывало, запрет бимбабвийский король Кароль изворотливого бимбабвийца, а несчастный узник времени даром не тратит - наедается ледяного китайского мороженого, аж за ушами начинает мороз трещать. Примерно через пять-десять минут его нос превращается в сосульку, и бедолага подхватывает насморк. Подхватив насморк, он идет, громко чихая, и опускает нос в реку Нил. Начинается старинная народная бимбабвийская игра *Обсморкай крокодила*, о которой мы уже упоминали выше. Однако лучше поговорим о том, как королю Каролю удавалось в ту пору королевствовать.

Король Кароль трудился без выходных, часто работал даже по ночам, поэтому заботливые бимбабвийцы не на шутку встревожились, как бы Кароль не перетрутился, не подхватил насморк и не умер.

- Кто тогда будет о нас заботиться и выращивать для нас бананы, - забеспокоились они. И решили добрые бимбабвийцы: надо что-то придумать. Уселись они на пень баобаба и стали думать, но от китайских ресторанов, компьютерных игр и кинотеатров мысли в голову уже не лезли. Едва они задумывались, как у них начинали течь слюни, капать из носа, стрелять в голове, а всякие рембо

и прочие чудища принимались орать на разные голоса.

И решили тогда бимбабвийцы отправиться в самые джунгли, где в избушке на страусовой ножке проживала ведьма Казимира де Артаньян, поселившаяся тут сразу после Многолетней войны.

Сказано - сделано: оседлали льва и отправились в путь. Ехали верхом дней семь, может, даже все восемь - теперь трудно это определить, ведь после китайских ресторанов, компьютера и кинотеатров бимбабвийцы разучились считать.

Прибыла делегация бимбабвийцев к дому глубокоуважаемой ведьмы Казимиры де Артаньян и постучалась в бамбуковую дверцу. Казимира отперла засовы, окинула бимбабвийцев пронзительным ведьминским взором и всё поняла. Пригласила уставших путников в избушку, дала им напиток страусиного молока и жирафьего кефира и говорит:

- Ну-ка, выкладывайте всё по порядку.

Бимбабвийцы выложили на стол все привезенные изумруды и бриллианты и спрашивают:

- Хватит ли?

- Хватит, хватит, - успокоила их добросердечная Казимира де Артаньян, - ну, почти хватит.

Тогда один из бимбабвийцев, сердце которого было золотым, а зубы серебряными, вынул свои зубы и положил их на стол. Казимира сгребла всё со стола в карманы и спрашивает:

- Теперь рассказывайте, что привело вас ко мне.

- Мы продирались сквозь джунгли, - стали жаловаться бимбабвийцы, - мимо большого баобаба, потом брели по пустыне...

- Не о том спрашиваю, - прервала их ведьма. - Что вам от меня нужно?

- Нам нужно, чтобы король Кароль меньше трудился. Он ведь трудится один-одинёшенек день и ночь напролет, а нам не позволяет помогать...

- А почему он вам не позволяет помогать? - спросила тонюсеньким голоском ведьма Казимира, которая иногда любила прикидываться, будто она дурочка и не всё видит насквозь.* Даже сквозь стенку.

- Дело в том, что король Кароль очень беспокоится, как бы мы не устали. Но ведь мы тоже беспокоимся, как бы он не перетрутился, как бы не захворал и не умер. Ведь если он умрет, у нас никогда не будет такого чудесного короля Кароля, - в один голос выпалили бимбабвийцы и все как один расплакались.

* Это обычный трюк африканских ведьм, который весьма по нраву ее клиентам - слонам, бегемотам и некоторым породам макак.

- Ну, будет, не ревите вы все как один, - велела им великодушная Казимира, - ревите, как будто вас двое или максимум трое... А я тем временем подумаю, что вам делать.

Тогда бимбабвийцы стали реветь в три голоса, как велела ведьма, а Казимира отправилась во двор, подергала за усы льва и, вернувшись домой, взбила густой коктейль из кокосового молока, жирафьего кефира и львиных усов. Обычно после такого коктейля у нее наступало прозрение. Так случилось и на этот раз - как только ведьма выпила коктейль, внутри нее заработал мощный мотор - ведьма схватила метлу, уселась на нее и, проломив бамбуковую дверцу, взметнулась в небеса.

Бимбабвийцы выбежали на порог и едва успели разглядеть, как ведьма де Артаньян уходит в облака. Всё это наблюдал из кустов лев, смущенно прикрывший лапой верхнюю губу: он боялся, что кто-нибудь увидит его безусого.*

Но эта сказка не про львов, поэтому вернемся скорее к нашей любезной ведьме Казимире де Артаньян.

Вернулась Казимира из поднебесья дней через пять, и по выражению ее ведьминского лица было ясно, что ей всё ясно.

- Я летала, всё увидела и теперь поняла все ваши дела, - отрапортовала она. - Вашему королю нужно влюбиться. И когда он в кого-нибудь влюбится, ему захочется только любить и любить, и тогда он забудет про какой-то вонючий навоз.

- А как это сделать? - поинтересовались обрадованные бимбабвийцы.

- Я могу замешать такое, что чуть ваш король его выпьет - сразу полюбит ту, которая поднесет ему этот коктейль.

- А кто поднесет ему этот коктейль? - не унимались наивные и простодушные бимбабвийцы.

- Кто-кто! Понятное дело: я... - ответила, не моргнув глазом, Казимира.

- Но ведь вы ведьма...

- Ну и что? Если кто-нибудь - ведьма, так уже и любить нельзя?

- Мы так не думаем, что вы... - смутились бимбабвийцы. - Но ведь у вас и кроме короля множество дел...

- Тоже мне дело - влюбиться, - успокоила их Казимира де Артаньян, - это не работа, а одно удовольствие. Если смешать коктейль...

* Надо думать, что вышеупомянутый лев был очень стыдлив, и в таких случаях он почти две недели скрывался в глубине джунглей, пока усы не отрастали. И напрасно! Ведь он король джунглей, ему не положено быть робким и вести себя не по-львиному, а, скажем, по-жирафьему.

Выкрасилась Казимира в боевые цвета, понатыкала в разные места перьев, чтобы выглядеть по-ведьмачески. Потом отправилась в саванну. Там она поймала в кустах того же льва, дрожавшего от стыда, что усы еще не успели отрасти... Обнаружив это, ведьма отпустила бедолагу назад в кустарник, тут же схватила скучающего неподалеку тигра и без всякого сожаления вырвала у него усы. Тигр не успел даже ойкнуть.

- Но ведь это не лев, а тигр, - недоумевали бимбабвийцы.

- Ну и что, - успокоила их ведьма. - Сойдут и тигриные усы.

Развела ведьма костёр посреди двора и сварила тигриные усы. Потом насыпала в варево всяких манговых корочек, обезьяньих хвостиков, добавила бегемотного сока, всё смешала и вылила в скорлупу кокосового ореха.

- Ну вот, всё готово, можем отправляться в путь, - произнесла она, и все весело последовали за ней.

Шли они долго, пока не миновали баобаб, перешли пустыню и достигли королевства Бимбабве.

А король Бимбабве Кароль тем временем удобрял свои манговые плантации. День был жаркий, король вспотел, и по всему было видно, что он вскоре захочет пить.

- Ждите меня здесь, - шепнула бимбабвийцам ведьма, а сама расчесала волосы рыбьей гребенкой, умылась водой из Нила и с кокосовым орехом в руках направилась к королю Каролю.

- А нет ли у тебя, девица-красавица, чего-нибудь попить? - едва завидев Казимиру, без церемоний поинтересовался король.

- А чего бы вы желали, ваше величество? - сладким голоском, похожим на страусиный, осведомилась ведьма.

- Мне сейчас все равно: кока-кола, бомбалбола или тимпампола...

- Ни кока-колы, ни бомбалболы, ни тимпамполы у меня нет, но кое-что имеется, - таинственно ответила Казимира де Артаньян и подсунула королю кокосовый орех.

Король запрокинул орех и выпил всё содержимое в мгновение ока.* Не прошло и минуты, как у него внутри заработал мощный мотор любви - он схватил ведьму мускулистой рукой и зашвырнул ее на верхушку бамбука. А когда ведьма шлёпнулась наземь, король обратился к ней:

- Не знаю даже, как тебя отблагодарить.

- Поцелуй меня, коли не знаешь, - посоветовала ведьма.

Король послушал ведьму и поцеловал ее. Потом поцеловал ее еще раз, а потом еще и еще.

* В мгновение ока - это значит так быстро, как мигнуть.

- Ну и как? - спросила ведьма.

- Знаешь, совсем неплохо, - ответил король, - мне кажется: я в тебя влюбился.

- Как мило, - рассмеялась ведьма и добавила: - Раз ты влюбился, может, сегодня уже не будешь работать, а будешь только любить меня?

- Что ты, - удивился король Кароль, - с сегодняшнего дня я буду трудиться в три раза больше, потому что хочу построить тебе золотой дворец с хрустальными оконцами и алмазным туалетом.

- Как мило, - повторила ведьма, а сама тем временем с тревогой подумала, что напиток был немного крепковат... Или тигровые усы не годились для такого коктейля?

- Спасибо тебе, я пошел работать, а когда закончу всю работу, мы опять поцелуемся. А потом...

- Что потом? - наострила уши Казимира де Артаньян.

- А потом я снова пойду работать.

С этими словами король Кароль вновь принялся за работу, а Казимира нырнула в воды Нила, желая отвлечься и понежить свое уставшее в дороге стройное ведьмовское тело, которое только что полюбил король Кароль.

Купаясь в Ниле, она вдруг заметила невесть откуда взявшегося крокодила Ундарока, который уже нацеливался сожрать ее.

- Ты меня не ешь, а лучше подскажи, как мне быть, - тонюсеньким голоском попросила ведьма Казимира. Она иногда любила прикидываться простушкой.

- Ладно уж, ладно, не стану сразу есть тебя, - очарованный ее наивностью, согласился Ундарок, - спрашивай, все мои советы к твоим услугам...

- Так вот, милый Ундарок, - сладким голоском какаду зашебетала де Артаньян, - я должна сделать так, чтоб король Кароль не работал как ненормальный, а работал как нормальный.

- Надо, чтобы король заболел королевской болезнью, - изложил свои выводы крокодил после долгих и тяжелых размышлений. - Тогда он, точно, не будет работать, а будет целый день лежать на диване перед телевизором, как и полагается настоящему королю.

- А как заболеть этой королевской болезнью? - в надежде поинтересовалась Казимира.

- Этой болезнью проще всего заразиться от другого короля, который уже болен, - пояснил Ундарок.

- Благодарю тебя, несравненный Ундарок, - Казимира поцеловала крокодила в морду и стремительно выпрыгнула из Нила, чтобы крокодил ненароком не съел ее. - Будь здоров.

- Жаль, что не съел тебя, - сказал ей на прощанье крокодил, - но такова уж моя несчастливая карма.* Съем тебя в другой раз. Пока...

Сказав это, он всплеснул хвостом и нырнул глубоко в воды Нила, где паслись заплывшие из Балтийского моря два угря - Юрате и Каститис. Крокодил тут же их проглотил, однако его карма от этого не переменялась в лучшую сторону.

Тем временем ведьма Казимира де Артаньян уже летела на своей метле в другую африканскую страну Тумбараконию, король которой Тумбаракон как раз и был болен страшной королевской болезнью.

Когда Казимира де Артаньян прилетела во дворец его величества Тумбаракона, заплаканный король лежал в постели у телевизора и смотрел две тысячи пятьсот сороковую серию фильма под названием *Любовь коротка*. В фильме все героини героически целовались, потом расходились и примерно десять-пятнадцать минут не целовались. А в конце фильма они вновь встречались и продолжали целоваться. В тех местах, где действующие лица расставались и до конца фильма не целовались, король Тумбаракон горько плакал: ему хотелось, чтобы героини героически целовались на протяжении всего фильма.

Увидав такую картину, Казимира де Артаньян сразу сообразила, что король всерьез болен королевской болезнью, и стала размышлять, как бы от него заразиться. Прикидывала так и этак. Так нехорошо, а вот этак - может, очень даже ничего. И решила она заразиться естественным путем, подошла она к королю и промолвила:

- Ваше величество, не могли бы мы с вами немного поцеловаться, если вашему величеству это не в тягость.

- Чего я только для вас, ведьм, ни делал, - приветливо ответил король и пригласил ведьму Казимиру сесть поближе на край кровати. Когда ведьма присела, он стал ее целовать и целовал приблизительно шестьдесят пять часов, четырнадцать минут и тридцать две секунды. На сорок пятом часе поцелуя ведьма почувствовала, что уже заразилась королевской болезнью, и тут же захотела поскорее лететь домой. Только она не понимала, как это сделать - ведь неудобно прерывать короля. Она была воспитанной ведьмой и знала, как подобает себя вести... Поэтому она решила терпеливо ждать завершения поцелуя и дождалась спустя тридцать часов восемнадцать минут.

* Карма - особенная бимбабвийская традиция. Действует примерно так: если ты кому-то дал в нос, рано или поздно получишь сдачи. Или - если, скажем, крокодил съел некоего мужа, то вскоре крокодила съест родня этого мужа. В общем: карма крокодила убывает, когда он съедает мужа, а карма мужа, наоборот, увеличивается.

Когда король нацеловался, ведьма Казимира вытерла свои припухшие губы и, учтиво поблагодарив короля Тумбаракона, улетела домой.

Когда она прилетела в Бимбабве, было уже без пяти минут четыре. Король Кароль как обычно пахал свое поле, а в конце поля стоял уже почти достроенный золотой дворец с еще недоделанным алмазным туалетом.

- Здравствуй, мое сердечко, - радостно воскликнул король Кароль, увидев спускавшуюся с неба Казимиру, и кинулся всячески ее целовать. Целовал он ее, целовал, пока не почувствовал, что неплохо бы пойти прилечь на диван и поглазеть в телевизор или еще куда-нибудь...

- Давай пойдем приляжем где-нибудь и посмотрим телевизор, - предложил он Казимире, и она с радостью согласилась.

Бимбабвийцы, увидев подобные чудеса, возрадовались и, хлопая в ладоши, разошлись по домам. А король Кароль отправился со своей Казимирой в недостроенный дворец, устроился поудобней в постельке и принялся смотреть телевизор. Смотрел он его год, смотрел два, всё никак не мог насмотреться. Банановые и манговые плантации заросли бамбуком, а жирафы и бегемоты проломил двери хлева и убежали в джунгли и саванны, где их тут же заклевали мерзкие грифы и прочие гиены.

Бимбабвийцы забеспокоились - видят: без труда не вынешь рыбку из пруда, а если и попадетсЯ какая мелочь, так только грифам и гиенам заморить червячка...

Пошли бимбабвийцы снова к ведьме Казимире и говорят:

- Милая ведьма Казимира де Артаньян...

- Ну, выкладывайте, что у вас там.

Бимбабвийцы выложили всё, что у них было - кто фарфоровые зубы, кто - клык свирепого рогоноса.

- Достаточно будет?

- Достаточно, достаточно, - успокоила их великодушная Казимира де Артаньян, - ну, почти достаточно. Всё ли выложили?

Тогда один из бимбабвийцев, у которого была теща с золотым сердцем и серебряными зубами, вынул эти зубы и положил на стол. Сгребла Казимира всё в карманы и спрашивает:

- Чего вам еще недостает?

- Нам не хватает манго и бананов.

- Так ступайте и выращивайте, вон сколько непаханой земли вдоль Нила, - махнула рукой Казимира де Артаньян и переключила телик на другой канал.

- Но мы не умеем выращивать, мы не умеем пахать, ведь король Кароль нам никогда не позволял это делать,

и мы не научились, - объяснили несчастные бимбабвийцы. - Король всё делал за нас, и теперь, когда он заболел королевской болезнью, мы умираем с голода.

И тут же, словно в подтверждение этих слов, один из бимбабвийцев внезапно упал и умер на месте. Лежал он посреди недостроенных королевских покоев на хрустальном полу, как неживой укор, и всем сделалось ужасно неловко. Тогда ведьма Казимира оживила его и сказала:

- Умирать неприлично... Что мне теперь с вами делать, ведь король неизлечимо болен, я, право, и не знаю. Пойду-ка искупаюсь в Ниле.

Сказано - сделано: пошла к Нилу, нырнула и ждет, когда на нее набросится какой-нибудь крокодил. Вскоре откуда ни возьмись появился тот самый местный крокодил Ундарок.

- Ты меня не ешь, а лучше подскажи, как быть, - медовым слоновьим голоском сказала ведьма, - в прошлый раз я послушалась твоего умного совета и заразила короля Кароля королевской болезнью... И вот уже несколько лет, как он ничего не делает, только валяется в постели и смотрит телевизор. Но теперь нужно что-то предпринять, чтоб король работал, как ненормальный, потому что все его бимбабвийцы скоро вымрут от голода.

- Понимаешь, ведьма, - ответил крокодил Ундарок, - если я опять не съем тебя, я останусь голодным, вроде непутевого крокодила Васи. Не знаю, как тут и быть...

- А ты дай мне совет, - пыталась подольститься к крокодилу ведьма де Артаньян, - а потом съешь, раз так надо.

- Ну ладно, так и быть, дам тебе совет... Нужно, чтобы твой король Кароль заболел трудолюбием, - после долгих и мучительных раздумий изложил свои выводы крокодил. - Тогда он, уж точно, не станет лежать у телевизора, а пойдет трудиться, как ненормальный.

- А как заболеть этой болезнью? - с надеждой поинтересовалась Казимира.

- Этой болезнью проще всего заразиться от кого-нибудь, кто уже болен...

- Благодарю тебя, несравненный крокодил, - воскликнула Казимира и стремительно выпрыгнула из реки, чтоб крокодил Ундарок ненароком не съел ее. - Бывай.

- погоди, ты ведь обещала, что я съем тебя, - взвыл крокодил и больно ударил хвостом по водной глади Нила.

- Девичьим обетам не верь зимой и летом, - хихикнула ведьма, стряхнула с себя речные капли и оседлала волшебную метлу. - К тому же я очень невкусная, салака гораздо вкуснее...

- Обманула ты меня, ох, обманула... - заохал крокодил Ундарок, всплеснул хвостом и нырнул вглубь Нила, где паслись две легкомысленные салаки, заплывшие из Балтийского моря в поисках легких заработков - Наталья и Моника. Крокодил их слопал, и его настроение заметно улучшилось.

А ведьма Казимира де Артаньян тем временем летела на своей метле в другое африканское королевство Бамбукву, где густо росли бамбуковые леса.

Опустилась ведьма Казимира в Бамбукве у большой фабрики и прошмыгнула внутрь, никем не замечена. А там трудились работники. И трудились они очень старательно, поскольку изготавливали из бамбука зубочистки и палочки для тщательного ковыряния пупков и других мест; потом эти палочки вывозили на кораблях из Бамбуквы в Америку, Латвию и прочие развитые страны... Работая, бамбукийцы напевали бамбуквинскую народную песню:

*А ну-ка, ну-ка, ну-ка, подайте нам бамбука,
Нам с дорогим бамбуком немислима разлука,
Ведь он такая штука, ведь он такая штука!*

Вариант:

*Строгал я зубочистки из бамбука.
О, если б знали вы - какая это мука!
Зуб ковырять, живот чесать -
Гораздо более приятная наука...*

Затесавшись среди фабричных работников, Казимира стала, как ненормальная, строгать все попавшиеся под руку бамбучины... Но она была неопытная работница, потому нечаянно вместо бамбука схватила баобаба. А пока она из баобаба выстругивала зубочистку, - так утомилась, что, бедняжка, едва не упала замертво...

Очнулась Казимира в больнице для рабочих и поняла: она уже заразилась неизлечимой болезнью трудолюбиков, потому что ей нестерпимо хотелось что-нибудь вытачивать или строгать. Усилием воли Казимира пыталась удержать себя в постели, надеясь, что эта тяга пройдет и всё будет как прежде, но где там... Непреодолимая тяга к труду взяла верх - Казимира вскочила с постели, схватила нож и принялась строгать дверные ручки и скрести стены. Врачи, увидав такую картину, решили, что ведьма Казимира де Артаньян абсолютно здорова и выписали ее не куда-нибудь, а в родимую Бимбабве.

Вернулась Казимира в Бимбабве, глядит - а ее милый король Кароль всё еще валяется в постели и смотрит телевизор.

- Вставай, Кароль, нас ждут великие полевые работы, - осторожно, будто в шутку, сказала ему Казимира.

- Сама иди, я не пойду, - ответил ей король Кароль и переключил канал.

Ведьма Казимира стала гадать, как же теперь заразить короля трудолюбием - она подошла и выдернула из розетки шнур телевизора, потом выкинула и сам телевизор. Король Кароль, само собой разумеется, тут же упал в обморок и был срочно доставлен в центральную больницу Бимбабве, где его положили в обморочное отделение. Очнувшись, он почувствовал себя неважно.

- Может, у вас найдется для меня какая-нибудь работа? - поинтересовался он у докторов на утреннем обходе.

- Что вы, что вы, ваше величество, - пытались успокоить короля доктора, - зачем вам работа? Вы же король.

- Я повелеваю пристроить меня к работе, иначе отрублю всем головы, - уже не шутя заявил король, и доктора тут же исполнили приказ. Королю было велено вычистить все больничные туалеты, нарвать в джунглях цветов и украсить ими палаты. А когда король исполнил эту работу, доктора поспешно выписали его из больницы, чтобы он ненароком не поотрубал им головы.

Вернулся король Кароль домой, поцеловал свою милую Казимиру и молвил ей:

- Не знаю, как тебя и отблагодарить.

- Поцелуй меня, раз не знаешь, - посоветовала ведьма.

Король послушался ее совета и поцеловал ведьму. Потом поцеловал еще раз, потом еще раза два.

- Ну и как? - спросила ведьма.

- Знаешь, совсем неплохо, - отвечал ей король, - мне кажется: я в тебя влюбился.

- О, как это мило, - рассмеялась ведьма и добавила: - Раз уж влюбился, так, может, ты уже сегодня выйдешь на работу.

- Непременно, дорогая. Ведь я должен закончить для тебя строительство золотого дворца с хрустальными полами и алмазным туалетом.

- Но, дорогой, ты прежде прополи свои банановые и манговые плантации - глянь, сколько там разных бамбуков понаросло. И посели в хлеву бегемотов и жирафов, ведь твои бывшие бегемоты и жирафы уже давно издохли, - посоветовала Казимира де Артаньян.

Как велела Казимира, так Кароль и сделал. И жизнь вернулась в старую колею - король Кароль вставал в шесть утра с первыми страусами, шел в свои королевские хлева, откуда выносил слоновий и бегемотовый навоз. После грузил его на телеги, запряженные быстроногими жирафами, и вывозил удобрение на королевские банановые и манговые плантации.

А слуги короля Кароля с утра до вечера сидели где-ни-

будь в китайском ресторане и ели мороженое под названием *ап-чхи-чау*.

Увидев, что дела бимбабвийцев пошли на лад, ведьма Казимира де Артаньян собралась домой в свою избушку на страусовой ножке. Однако бимбабвийцы стали плакать и молить Казимиру не уезжать. А король даже слышать не хотел о расставании:

- Если уедешь, отрублю тебе голову, будешь знать...

- Ладно уж, не поеду никуда, но только с одним условием: ты обязан на мне жениться.

- Могу и жениться, подумаешь, - ответил король и, как ни в чем не бывало, женился на Казимире де Артаньян. Так ведьма Казимира стала королевой Казимирой де Артаньян и осталась жить в Бимбабве.

*Перевела с литовского
Тамара ПЕРУНОВА*



GINTARAS

прямо в море
ледовый настил
говоришь
слезами Юрате
настыл

при вмёрзших звёздах

зато
вдыхаем
без химии воздух
предрождественских зорь

художник-дружок

шторм-шквал
оборвал провода
телефон молчит
сочиняю шепча
при керосиновой лампе
стишок

что люблю
ну да! ну да!

Фенноскандию *смол*

какой-то
(пищу с твоих слов)
катаклизм их смёл
какой-то потоп их
замыл

Нил Нерлин - член Союза российских писателей (Москва). Автор десяти книг стихов и прозы. Живет в Таллинне с 1980.

но
потаённый
землёй голубою

божественный запах

шлифовками
камня
взмыл

рук
твоих
мастерскою

теперь исхожу тоскою

полешками перебегает
хищной памяти
синь-мотылёк

мечется
красивый
керосиновый
а всё нитью проволоки
фитилёк

потому чадит

прикручу

ветер
поутих

чу

может
гостя моя
шинами
шебаршит

в дощатую
конурку
торкается

выхожу
во тьму гляжу
толку что

вместо нас
только сосен
танцующий лес
чудит

1978

ВЗМАХ
РЕСНИЦ

утробно вой всё гуще
пéплом даты

внутри огня
страшнее хиросим

Исход решён
сейсмолог: - Да
когда ты
лишь человек

чей гнев
неугасим

1979

Ключи-Камчатка

ХОСПИС

А.С.Р.

I

зайди
подай попить
сказала в телефон
работами с утра
сверхзанятому
сыну

полуденный
апрельски
ярко синий
посёлок
поспешив
едва ли видел он

всё ж
как всегда
к подушкам прислонясь
она ждала
пока
открыв бутылку

нальёт воды
ладонь
прижмёт к затылку
от облучений голому

глоток

и нет её

такой
холодный ток
через него
немеющего рядом
настиг всех нас
давно безродных
адам

14.4.09

17 ч

2

Урал
(Кыштым)
тайн
тьмами
взорвалось
чернобылей под сто

сравнят сейчас

вот “ось
политики”
покойных
.....
.....
сосунки
содомов
чуя
что за синяки
сжигают кожу
(казнями поврозь)

с Толяном
стонем

Рак?
мне - Тоня:
Брось!

урановые руды
(Изумруд)
подземной
ночи
прикровенный
труд

горнячки твой

чуть свет
бегом бегом
.....
.....
.....
покорны
пеклу
заместив богов
спаситель Атом
или чародей

рычу вдруг матом

друг
чужих идей
рыдаю вот

песками
замели
забыться
равных

ранами Земли

17 апр 2009

15 ч

3

теснится память-качка
столбами ноет нить
маяк нам водокачка
добрость и пить и пить

взрывную правду засух
бескормицы людской
с войны хоронит заступ
разжившимся доской

вспять время замани-ка
из-под скрипучих зим
спасая земляника
мир милостям своим

шептанию старушки
Георгий внял с небес
нам тёмных лоз плетушки
нам необорный лес

чуть колкою тропинкой
скользнуть сквозь рожь тайком
о память страсти пылкой
умолкни о таком

повдоль двух рельс дорога
на Океан куда
решётками подолгу
поились поезда

расстрелянного деда
сожжён портрет в печи
за кем была победа
зачем убит молчи

свеча почти пригасла
нет вспыхнула опять
в ней запах сена в яслях
в ней нежный сон опят

22.4.2009

Resümee

Ajakirja "Võšgorod" järjekordne erinumber ilmub projekti "Euroopa Liit: meie naabrid ja sõbrad" raames. Numbri avaloo autor on Leedu Vabariigi suursaadik Eestis Juozas Bernatonis.

Eesti, Leedu ja Läti rahvastel on sarnane saatus. Seepärast on neil ühised valusad teemad: iseseisvuse kaotus, küüditamised, vastupanu. Sellest on juttu 30-ndate aastate silmapaistva avaliku elu tegelase Valentinas Gustainise memuaarides, kes ise oli arreteeritud 14. juunil 1941. Sellest on ka Tatjana Jassinskaja usutus poet ja tõlkija Ramute Skučaitega, kes sai vene keele selgeks, kui oli lapsena küüditatud Siberisse.

Metsavendade ajalugu Marius Ivackevičiuse sulest transformeerub poleemiliseks romaaniks „Rohelised“. Samasugune ebatraditsiooniline moodne kirjanik Jurgis Kunčinas muutis ehtsaks intellektuaalseks farsiks meie tänapäeva: "BLANCHISSERIE ehk loomaaed - ülejõe". "Elu lumesajus" on suure sõnameistri Danieliaus Mušinskase novell.

Luulet esindavad mitme põlvkonna autorid: Justinas Marcinkevičiaus, Marcelijaus Martinaitis, Georgi Jefremov, Albert Seltšinski (Dalija Kõivu essee temast) ja Nil Nerlin (Tallinn).

Tuntud klassik Tomas Venclova esineb seekord kui publitsist ja arutleb Kaliningrad-Königsbergi tänapäevast ja tulevikust. Literaat ja tõlkija Inna Rostovtseva (Moskva) kirjutab Venclova enda raamatust "Vestluskaaslased peolaas".

Erinumbri konteksti sulas orgaaniliselt sisse Vytautas Landsbergis-juniori "Muinasjutt kuningas Karolist".

Tõlkisid Tatjana Jassinskaja (Leedu-poolne numbriga organiseerija ja koostaja), Tamara Perunova, Dalija Epšteinaite-Kõiv, Georgi Jefremov.

Summary

We've been keeping the project "The European Union: our Neighbours and Friends" on. This special issue of *Vyshgorod* is on Lithuania. The introductory - from Extraordinary and Plenipotentiary Ambassador of the Republic of Lithuania to Estonia Juozas Bernatonis.

The issue comprises the themes equally actual for the Baltic states' - Estonia, Lithuania and Latvia - past: the loss of the independence, mass deportation, resistance. The reminiscences of a prominent public figure of the 30s Valentinas Gustainis (arrested on June 14, 1941) is a case in point. So is the interview with a translator Ramute Skučaitė, who being a child, learned Russian in Siberia, among the exiles. (The interviewer - Tatjana Yasinskaya.)

Marius Ivashkevichus succeeded in making the history of "forest brothers" into polemic novel *The Greens*. Another extraordinary, modern writer Jurgis Kunchinas turned current realities into intellectual farce *Blanchisserie*. Novella *Life at the Time of Snowfall* is by Danielius Mushinskas, an author with the same approach.

Different generations of poets give us the picture of the Lithuanian

poetry: Yustinas Martsinkevichus, Martselius Martinaitis, Georgy Yefremov, Albert Selchinsky (the essay about him from Daliya Kyiv). Here's also a poet from Tallinn Nil Nerlin.

A renowned classicist Tomas Venclova is represented as a publicist thinking the now and the future of Kaliningrad-Königsberg. Inna Rostovtseva (Moscow) writes about *Interlocutors at the Feast* which Venclova authored. *A Fairy-tale about King Karol* by Vytautas Landsbergis (junior) is a natural part of this issue's context.

Translated: a compiler of the issue from Lithuania Tatjana Yasinskaya, Tamara Perunova, Daliya Epshteinaite-Kyiv, Georgy Yefremov.

Reziūme

Išskirtinis žurnalo „Višgorod“ leidinys parengtas pagal projektą „Europos Sąjunga: mūsų kaimynai ir draugai“.

Leidinį pradžioje pristato Lietuvos Respublikos ambasadorius Estijoje Juozas Bernatonis.

Trijų Baltijos valstybių – Estijos, Lietuvos ir Latvijos – tautų likimai yra labai panašūs. Todėl neatsitiktinai yra tos pačios ir skaudžios temos – nepriklausomybės praradimas, okupacija, masinės deportacijos, pasipriešinimo judėjimas. Apie tai rašoma žymaus visuomenės veikėjo, areštuoto 1941 metų birželio 14 dieną, Valentino Gustaičio prisiminimuose. Apie tai kalbama Tatjanos Jasinskajos interviu su poete ir vertėja Ramute Skučaite, kuri vaikystėje rusų kalbą išmoko tremtinių barake Sibire.

„Miško brolių“ istoriją Marius Ivaškevičius aprašo poleminiame romane „Žali“. Taip pat netradicinis šiuolaikinis rašytojas Jurgis Kunčinas nūdienos tikrovę pavertė intelektualiu farsu kūrinyje „Blanchisserie, arba Žvėrynas – Užupis“. Novelė „Gyvenimas sningant“ – parašyta puikaus šio žanro meistro Danieliaus Mušinsko.

Leidinyje taip pat supažindinama su Justino Marcinkevičiaus, Marcelijaus Martinaičio, Georgijaus Jefremovo, Alberto Selčinskio ir Nilo Nerlino (Talinas) poezija.

Pripažintas klasikas Tomas Venclova kaip publicistas samprotauja apie Kaliningrado – Karaliaučiaus nūdieną ir ateitį, o vertėja Ina Rostovceva apie pačio Venclovos knygą.

Taip pat į šį leidinį įtraukta ir Vytauto V. Landsbergio „Pasaka apie karalių Karolį“.

Vertėjai: Tatjana Jasinskaja (leidinio organizatorė ir sudarytoja), Tamara Perunova, Dalija Epšteinaitė-Kyiv, Georgijus Jefremovas.

СОДЕРЖАНИЕ

ЮОЗАС БЕРНАТОНИС.

Братья по судьбе.

Вступительное слово Чрезвычайного
и Полномочного Посла Литовской Республики в Эстонии.

5

ЮСТИНАС МАРЦИНКЯВИЧЮС.

Ночью, застигнут молнией.

Стихи.

Перевел с литовского ГЕОРГИЙ ЕФРЕМОВ.

7

ВАЛЕНТИНАС ГУСТАЙНИС.

“...пусть даже неприличные”.

Воспоминания бывшего ссыльного.

Перевела с литовского ТАМАРА ПЕРУНОВА.

10

РАМУТЕ СКУЧАЙТЕ.

Обоюдоострая Марина.

Интервью ТАТЬЯНЫ ЯСИНСКОЙ.

19

МАРЦЕЛИЮС МАРТИНАЙТИС.

К.Б. о виртуальной реальности.

Стихи.

Перевел с литовского ГЕОРГИЙ ЕФРЕМОВ.

35

МАРЮС ИВАШКЯВИЧЮС.

Зелёная черта. Главы из романа.

Перевел с литовского ГЕОРГИЙ ЕФРЕМОВ.

42

ГЕОРГИЙ ЕФРЕМОВ.

Балтийский путь.

Стихи.

143

ДАНИЕЛЮС МУШИНСКАС.

Жизнь в снегопад.

Новелла.

Перевела с литовского ДАЛИЯ ЭПШТЕЙНАЙТЕ-КЫЙВ.

151

КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ЗАРЕЧЬЕ.

Карнавальный жанр.

155

ЮРГИС КУНЧИНАС.

BLANCHISSERIE, или Зверинец-Заречье.

Роман, часть I.

Перевод и послесловие ДАЛИИ КЫЙВ.

157

АЛЬБЕРТ СЕЛЬЧИНСКИЙ.

Телекамера под копирку.

Стихи.

184

ДАЛИЯ КЫЙВ.

“Дворец детей”. Эссе.

186

ПЕРЕКЛИЧКА ЧЕРЕЗ ВЕКА.

ИННА РОСТОВЦЕВА.

Счастлив, кто посетил сей мир...

191

ЕВРОПЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ.

ТОМАС ВЕНЦЛОВА.

Нет природного рубежа.

203

ВИТАУТАС В. ЛАНДСБЕРГИС.

Сказка о короле Кароле.

Перевела с литовского ТАМАРА ПЕРУНОВА.

210

НИЛ НЕРЛИН.

Ранами Земли.

Стихи.

222

см. также: www.veneportaal.ee/vyshgorod

Фотоиллюстрации ТАТЬЯНЫ ЯСИНСКОЙ.

На обложке:

I. Ангел на площади (фрагмент);

II. Ундина;

Вильнюсский дворик - с. 3;

Плакат “Res-Publika” - с. 156.

НАД
НОМЕРОМ
РАБОТАЛИ

Людмила Глушковская

главный редактор

Юрий Зотов

зам. гл. редактора

Владислав Станишевский

художник

Олег Костанди

технический редактор

Алла МалOVERьян

корректор



ЭСТОНСКИЙ
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

•РУССКАЯ
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ•

АДРЕС

а/я 1016, "Вышгород", 10302, Таллинн

ТЕЛЕФОН

6 403 945

E-MAIL

Nil.Vysgorod@mail.ee

Напечатано в Таллиннской книжной типографии